ОЛЬГА КАВЕЦКАЯ

VIA CRUCIS

ЖИЗНЬ ТОМАСА ЭДВАРДА ЛОУРЕНСА

ТОМ II

Ольга Кавецкая

VIA CRUCIS:

ЖИЗНЬ ТОМАСА ЭДВАРДА ЛОУРЕНСА

ТОМ II

2018

Ольга Кавецкая, «Via Crucis: жизнь Томаса Эдварда Лоуренса». Том второй

[Olga Kawecka, *Via Crucis: the Life of Thomas Edward Lawrence*. Volume II]

Published in the USA by Createspace (www.createspace.com)

Томас Эдвард Лоуренс – кто он? Писатель? Военный? Ученый? Все сразу и в то же время – ни одно сполна. Сполна он был человеком, и значение его как исторической личности – «в природе его существа». Показать эту природу и является задачей автора. Освобождая его личность от наращений легенд, автор старается явить читателю настоящего Лоуренса, основной чертой характера и жизни которого была человечность.

ISBN: 9798292835608

© Ольга Кавецкая, текст, оформление, макет, 2018 г.

Глава LXVII

Завершение пути. – Благо неприятности. – Стратегия Лоуренса.

На рассвете путники достигли Вади Рейми, где надеялись найти воду. Найти ее удалось – по запаху. Наполнив бурдюки и отдохнув два часа, они отправились дальше. Путь вел их, словно сквозь горнило, через раскаленные серые скалы, черно-синие лавовые поля и бесконечный песок. К полудню был сделан еще один привал, в долине, где выход лавы окружал небольшие заросли колючего кустарника. Дно вади покрывали белый песок и кварцевый щебень, от которых ослепительно отражались солнечные лучи.

Лоуренса продолжал мучить внутренний жар, ставший почти непереносимым в зное. «Моя слабость настолько возросла, что разум с трудом противостоял ей. Порывы лихорадочного ветра, как опаляющие ладони, ударяли в лицо, обжигая глаза. Страдание заставило меня ловить воздух открытым ртом. От ветра губы потрескались, и горло пересохло, так что я не мог говорить, и пить стало мучительно. Однако я нуждался в питье, потому что жажда не позволяла лежать и находить тот покой, в котором я так нуждался. Бедствием были мухи»[1]... Даже собственное страдание трудно представить после того, как оно пройдет, что же говорить о чужом – телесном или духовном, – застывшем словами двух книг, написанных сквозь усилие в отчаянной надежде быть услышанным!

Вечером отряд встретил группу бедуинов, поставивших свои шатры на открытом пространстве гладкого лавового поля, пересеченного участками земли. Это были шейх Фахад эль Ханша и его люди, участники похода на Вэджх и первого набега Гарланда. У них Лоуренс и его спутники остановились. Гостеприимный шейх засыпал Лоуренса множеством вопросов и поил – чашка за чашкой – верблюжьим молоком, обладавшим сильным диуретическим действием. Позднее гостям был предложен плов. Лоуренс поел из вежливости, завернулся в плащ и крепко уснул, в изнеможении «после многих часов перехода –

столь плохого, насколько возможно себе представить».[2] Но болезнь и усталость оживили его воображение, не позволив отдохнуть даже во сне. Лоуренс грезил, как он идет обнаженный со своими спутниками сквозь темную вечность по нескончаемому лавовому полю, режущему ноги, и некий ужас – быть может, убитый Хамид – неотступно следует за ними...

Наутро путь повел вдоль металлически острой лавы, по песчаным руслам, мимо неожиданно живых участков почвы, поросших деревцами и травой. В одном месте встретился клочок возделанной земли в восемь акров, как «молчаливое свидетельство мужества и упорства арабов».[3] После Вади Кетл начиналось лавовое поле с неровной, словно застывший порыв страха, поверхностью, усеянной верблюжьими костями. И этот отряд потерял здесь одного из верблюдов.

К сумеркам превратности закончились, и путники продолжали езду уже по более легким долинам. Вади Аис было недалеко, и Лоуренс радовался. Он чувствовал себя очень плохо, но больше, чем болезни, боялся лечения, которому арабы подвергали страждущих. Они обычно прижигали какую-нибудь часть тела, которая, как они полагали, была своего рода средоточием болезни. Такая яростная «фонтанель» могла принести некоторое утешение верящему в ее действенность, но для того, кто не верил, она оказывалась пыткой.

Утром 13 марта отряд, наконец, достиг Вади Аис и остановился в Абу Марке, куда Абдулла только что прибыл со своего прежнего расположения в Бир эль Амри. Лоуренс передал ему документы от Фейсала и отправился отдыхать в раскинутый для него шатер. Борьба с полуобморочной слабостью закончилась: «Я чувствовал, что еще один час добил бы меня».[4] Однако печальное состояние Лоуренса имело неожиданно счастливое следствие.

«Как обычно в таких обстоятельствах, мой разум прояснился, чувства стали острее, и я начал, наконец, думать...»[5] Он пролежал в шатре десять дней с тяжелой малярией, и это вынужденное бездействие дало ему возможность поразмышлять в промежутках между бредом над

сложившимся положением в Аравии и в итоге разработать свою собственную стратегию.

Знание военной истории и теории Лоуренс приобрел в юношеские годы, когда мечта об освобождении арабского народа заставила его искать к этому пути. Следуя своей сущности и влечению смутной грезы, он заинтересовался «философией» войны, метафизической стороной дела. Свое изучение он начал издалека – с технических трактатов по вопросам постройки замков и ведения осад, затем перешел к Клаузевицу и его школе, к Кемереру, Мольтке, Гольцу и некоторым из французских военных авторов, работавших после 1870 года. Их трактовка показалась ему весьма односторонней, и, ознакомившись с трудами Жомини и Виллизена, он перешел к Сэксу, Гилберту и авторам восемнадцатого века. Постепенно добравшись до Наполеона, он нашел у него определение стратегии как «изучение сообщений», что произвело на него сильное впечатление. Лоуренс решил ознакомиться с учебниками, по которым Наполеон изучал военное дело, и так подошел к Гиберу, Бурсе и Морицу Саксонскому, чьи взгляды он счел более широкими. Он выделил Морица Саксонского и позднее, по приобретении практического опыта, считал его «величайшим мастером военного дела».

Таким образом, он обладал достаточной теоретической подготовкой. Однако не в знании сила, но в его применении. Лоуренс умел использовать свои знания на практике. В немалой степени этому помог его «иррегулярный» ум, неостановленный никакой догмой. Догма, как ледяная корка, способна сковать всякое движение, всякую жизнь и обратить выигрышное положение в поражение – будь то в войне или в духовной области. Лоуренс вспомнил изученную теорию и историю, проанализировал, выбрал то, что подходило к данным условиям, и его собственная теория совпала с практикой, как точно отточенная деталь, вставшая на свое место.

До сих пор как для англичан, так и для арабов была наваждением Медина. Взять ее во что бы то ни стало – эта идея не подвергалась сомнению, пока однажды днем Лоуренс не пробудился от тяжелого сна весь в поту и не спро-

сил себя: «А зачем ее брать?» Необходимость этого существовала тогда, когда инициатива была у турок, и они угрожали выступить из Медины на Мекку. Теперь расстановка сил переменилась: атакующими стали арабы, а турки могли только обороняться. Мединский гарнизон не представлял угрозы, и, следовательно, победа над ним не оказалась бы большим успехом: он уже потерпел поражение. Так Лоуренс вдруг понял, что война в Хиджазе выиграна – после взятия Вэджха, как инициативы. Теперь было необходимо разработать для нее стратегию.

Война, как она обычно велась в Европе, была войной на уничтожение, и ее характерным идеологом являлся Фош, постулировавший ее как проверку силой двух несовместимых точек зрения. Это принцип Лоуренс справедливо назвал «идиотским», поскольку «правильность» взгляда зависела в данном случае не от его смысла, но от боеспособности армии.

Доказывать правоту арабов кровью в прямом противостоянии с турками было недопустимым. Сохранить жизнь арабов – это Лоуренс клал в основу своей стратегии. Зимой он словно не задумываясь сказал Викери, что восстание является скорее миром, чем войной. Если в абсолютном значении его тезис оспорим (иное восстание перерастает в войну гражданскую), то применительно к арабскому движению он был справедлив и нес в себе зерно новой идеи Лоуренса. Эта война не могла быть войной в обычном смысле слова. Открытое сражение («последнее прибежище дураков», как писал Лоуренс в 1929 году) было не только неприемлемо, но и не являлось необходимым. Сами условия Аравии и качества арабов предоставляли выбор.

Турки могли бы удержать огромные пространства Аравии, если бы война была позиционной. Но они оказывались бессильными против врага, атакующего, как неуловимая идея. Недостижимость вездесущего противника парализовала бы их регулярные войска и поставила бы их в нелепое положение – «всюду фланги и никакого фронта». Повсеместным присутствием в отсутствии – вот чем должна была стать арабская армия-«призрак».

Для того чтобы обороняться от ее атак, турки были бы вынуждены, как рассчитал Лоуренс, разместить на каждых четырех квадратных милях укрепленные посты с отрядом не менее чем в двадцать человек. Таким образом, им потребовалось бы общим счетом шестьсот тысяч человек. Арабов, готовых сражаться за свою свободу, было на тот момент около пятидесяти тысяч. Численное неравенство не имело значения при этой тактике рассеивания. Турки стали бы отвечать на атаки, как на войне, а по отношению к восстанию это «все равно что есть суп ножом».[6]

Арабы не только не должны были оказываться целью сами, – турки также не должны были становиться ею. Материальное имущество было у неприятеля скудным, а потому более дорогим, чем люди, которыми его армия обладала в достаточном числе. Следовательно, было необходимо наносить удары по этому слабому месту – в противоречие общепринятой тогда теории Клаузевица «основные силы против сильнейшего места врага».

Таким образом, эта война должна была стать диверсионной, в которой основным принципом была бы тактика «булавочных уколов», наносимых «неуловимым привидением». Хорошо налаженная разведка становилась жизненной необходимостью, действенная пропаганда – залогом успеха, а скорость и время – преимуществом.

Арабы являлись идеальным «материалом» для этой тактики, будучи независимыми от коммуникаций и баз. Каждый снабжал себя сам, имея в седле запас провизии на шесть недель – пол-мешка муки весом в сорок пять фунтов, из которой он сам выпекал себе хлеб. Это предоставляло подвижность, необходимую для осуществления теории Лоуренса.

Турки, в свою очередь, были хорошим противником, так как были глупы, а стоявшие за ними немцы – прочно догматизированы. Все это давало уверенность в победе.

Так Лоуренс сумел извлечь выгоду из географических условий, слабости противника и особенностей своей армии и создать собственную стратегию, не копируя и не

комбинируя никакие из известных ему военных теорий. В этом и есть польза знания: не повторять, но использовать его как почву для строения своей конструкции.

«Моим личным долгом являлось командование, а командир, как главный архитектор, ответственен за все».[7] Хотя командование Лоуренса ни в то время, ни позднее не было непосредственным (верховное руководство принадлежало Фейсалу), он был разумом восстания – неявленной движущей силой, счастливо соединенной с влиянием Фейсала. Осуществление же теории Лоуренса – заслуга шерифа Назира.

А движущей силой самого Лоуренса было его чувство к Дахуму. В этом значение его усилий: важно не то, что он сделал, а для чего он это сделал. Несмотря на конечное поражение, его крестный путь в Аравии стал неоспоримым утверждением правоты богоданной любви.

Глава LXVIII

В первый набег. – Станция Аба эль-Наам. – Изменение планов. – Минирование. – Подрыв. – Итоги набега.

22 марта Лоуренс отправил одному из британских офицеров послание, в котором просил передать Фейсалу некоторые сведения – в частности, о своем положении и задержке еще на некоторое время. Теперь было необходимо заставить турок отказаться от намерения эвакуировать гарнизон Медины, чего можно было достичь посредством набегов на железную дорогу, и Лоуренс решил внести свой вклад. Едва оправившись от болезни, он встретился с Абдуллой, чтобы обсудить будущие действия.

Абдулла оказался лениво равнодушным: дух восстания был ему чужд и скучен. Однако энтузиазм Лоуренса разделил шериф Шакир, заместитель Абдуллы. Он обещал собрать отряд, а Лоуренсу предстояло отправиться вперед, чтобы найти подходящую цель. Вместе с Лоурен-

сом шел алжирский офицер Рахо, а проводником был выбран Мохаммед эль Кади, восемнадцатилетний сын Дакиль-Аллаха, законодателя джухейны. Их должен был сопровождать шериф Фаузан эль Харит с отрядом в двадцать атейб и несколько джухейн.

В поход выступили 26 марта. Через двое суток отряд достиг станции Аба эль-Наам и остановился в трех милях от нее. С вершины высокого отвесного холма, на который Лоуренс взобрался со многими остановками, был произведен обзор. Станция была видна оттуда как на ладони. На ней располагались два больших двухэтажных здания из базальта, круглая водонапорная башня и другие строения, а также казармы, палатки и траншеи. На станции было около четырехсот турок. Местность вокруг являла собой обычный холмистый пейзаж с острыми отрогами, желтыми скалистыми склонами, зарослями колючего кустарника там, где было достаточно почвы, и со светлой травой высотой по колено, росшей пучками из одного корня, среди которой серебрилась более короткая поросль. Волны дрожи пробегали по траве от каждого порыва ветра.

Было известно, что эти турки патрулируют окрестности по ночам. Поэтому к станции были направлены два человека с заданием произвести несколько выстрелов у блокгаузов с наступлением темноты; что и было сделано. «Противник, думая, что это начало атаки, всю ночь бдил в траншеях, в то время как мы спокойно спали».[1]

На рассвете их разбудил холод. Однако через час, когда был вновь занят наблюдательный пункт, из-за туч вынырнуло солнце, и стало жарко.

С вершины можно было видеть, как казавшиеся крошечными турки выстраивались на смотр, как к станции подошел словно игрушечный поезд и как по склону холма в сторону засады направлялся мальчик-пастух со стадом овец. Двое джухейн поймали его и привели к отряду. Фаузан тщетно пытался расспросить пастушка о его турецких хозяевах: все его мысли были заняты разбредшимся по склону стадом, и позднее он был отпущен.

Вечером Лоуренс и Фаузан нашли подходящую огне-

вую позицию, а по возвращении в отряд увидели, что прибыл Шакир и с ним около трехсот человек – вместо обещанных восьмисот-девятисот. Из-за этого пришлось менять план: вместо взятия станции предполагалось провести в целях устрашения фронтальную огневую атаку в то время, как другая часть отряда должна была заминировать железную дорогу с двух сторон от станции в надежде поймать в ловушку остановившийся поезд. Для работы с северной стороны был отобран отряд подготовленных Гарландом подрывников, тогда как Лоуренс отправился к югу с пулеметной командой и взрывчаткой, чтобы заложить мину с той стороны, с которой турки могли ожидать подкрепления.

Отряд Лоуренса вел Мохаммед эль Кади. К полуночи они добрались до пустынного участка линии, и здесь Лоуренс впервые коснулся напряженно гудевших рельс. В течение часа была заложена мина, для взрыва которой использовался затвор ружья Мартини – по способу, применявшемуся англичанами в бурской войне. В четырехстах ярдах была укрыта пулеметная команда. После этого Лоуренс отправился с четырьмя джухейнами срезать телеграфные провода и через полчаса нашел подходящее место. Забраться на столб не мог никто, кроме него, и он полез, превозмогая слабость. После третьего срезанного провода шаткий столб покачнулся, и Лоуренс, потеряв хватку, соскользнул с высоты шестнадцати футов. От падения на камни его спас Мохаммед.

В расположение они прибыли как раз тогда, когда там готовились выступать. На укладывание мины было затрачено на четыре часа больше, чем ожидалось, и это опоздание ставило отряд Лоуренса перед выбором – либо не отдыхать вовсе, либо позволить основной части сил выходить без них. Было выбрано первое, и Лоуренс, чувствовавший, что без отдыха он будет совершенно разбит, прилег под деревьями для короткого сна. Неподалеку устроился Мохаммед. Через час, на тяжелом рассвете, Мохаммед, желавший посмотреть атаку, проснулся и, чтобы разбудить Лоуренса, прокричал ему в ухо призыв к молитве. Этот внезапный вопль показался тому смерти подобным.

На его недовольство мальчик отвечал, что сражения бывают не каждый день. Они взобрались на верблюдов и прибыли к станции в тот момент, когда был открыт огонь. Оба основных строения, башня и цистерна были повреждены, а один из снарядов попал в поезд, стоявший на запасном пути, отчего вспыхнуло неистовое пламя. Паровоз отцепился и поехал к югу, где была заложена мина. Когда он проходил над ней, взвилось облако пыли. Локомотив остановился, и ехавшие в нем турки выскочили ремонтировать передние колеса. Пулеметная же команда молчала... Спустя полчаса паровоз, хотя медленно и с грохотом, но поехал дальше. Позднее выяснилось, что пулеметчики, опасаясь своего одиночества, ушли к основным силам, когда те начали наступление.

Под прикрытием дыма от горевших товарных вагонов люди Шакира захватили два прилегавших к станции поста, но на штурм самой станции не решились, и прекратили атаку, взяв в плен тридцать человек. Потери неприятеля убитыми и ранеными составили семьдесят человек, тогда как из арабов только один был ранен – и не опасно. Движение на железной дороге было остановлено на три дня для ремонта.

Глава LXIX

Во второй набег. – Буря в пустыне. – На откосах. – Закладка мины. – Холод. – Ожидание в засаде. – Намаз на рельсах. – Поиск мины. – Произведение разрушений. – Успех.

Два отряда были оставлены разрушать железную дорогу, а остальные с триумфом вернулись 1 апреля в лагерь Абдуллы. На следующий день Лоуренс решил совершить еще один набег, чтобы лучше испытать автоматическую мину. Взяв с собой сорок джухейн, в том числе Дакиль-Аллаха и Мохаммеда, и пулеметный расчет из тринадцати человек, он отправился к железной дороге.

Проехав по Вади Аис почти до Хамда, они свернули к

песчаной равнине и остановились там на ночь, а утром, жарким и ясным, выехали на обширное пространство, где с Хамдом соединялись еще три вади. С каждым часом зной усиливался, так что к полудню Лоуренс уже не мог ходить на привалах босиком и был вынужден обуть сандалии, что позабавило джухейн, способных ступать босыми ногами даже по тлеющим углям.

Все утро в холмах рокотал гром. Свет постепенно тускнел, а жар давил, словно плотная осязаемая масса. Возвышавшиеся на отдалении два горных пика Серд и Джасим были окутаны неподвижным синим и желтым паром, который все сгущался и сгущался, пока от Серда не отделилось желтое облако размером с холм. Оно начало продвигаться через равнину по направлению к отряду, поднимая у своего основания пыльные завихрения, тогда как перед ним крутились два симметричных смерча.

Дакиль-Аллах с тревогой огляделся в поисках убежища, но его не было. Переменившийся ветер обдавал ледяным холодом. Солнце скрылось в желтой мгле, и зловещий свет, охристый и мерцающий, окружал людей на огромной пустынной равнине. Облако, ставшее коричневым и непроницаемым, надвигалось со скрежещущим шумом и через несколько минут ударило прибоем песка и пыли. Всадники развернули верблюдов спиной к буре, но это не улучшило положения. Внутренние вихри разворачивали и сталкивали беспомощных животных, вырывали из рук крепко удерживаемые плащи, били в лицо песком и в своем головокружительном dance macabre лишали людей всякого чувства направления. В воздухе, полном летящего песка и щебня, проносились вырванные с корнем кусты, трава и даже небольшие деревца.

Буря бушевала треть часа, а затем откатилась столь же внезапно, как и налетела, оставив отряд рассеянным на участке в квадратную милю. Одежда была полна песка и грязи, равно как и шерсть верблюдов. Затем начался пронзительный ливень с резкими порывами ветра, и скоро по равнине помчались мутные ручьи. Пока отряд добирался до противоположной стороны равнины, все промокли насквозь и замерзли.

В середине дня они достигли линии холмов и выехали в другую долину, бесплодную и бесприютную. Проехав по ней несколько миль, они спешились и начали взбираться на отрог, за которым проходила железная дорога. На высоте леденящий ветер сквозил с неистовой силой, раздувая одеяния и мешая цепляться за скользкие, ненадежные камни. Лоуренс, бывший впереди остальных, снял плащ и рубашку и оставшийся путь проделал полуобнаженный и замерзший до онемения. Однако его усилия оказались напрасными: видимость оказалась почти нулевая. Весь в царапинах и ушибах, он полез вниз, где присоединился к другим, и вместе они продолжили опасный спуск по мокрым скалам. При этом один из них поскользнулся и сорвался с высоты в сорок футов. Спустившись, Лоуренс лег на землю, не в состоянии более владеть своим замерзшим телом, и пролежал, дрожа, около часа, пока остальные хоронили погибшего.

Только к десяти часам вечера отряд вышел к железной дороге, близ станции Мадахридж. Лоуренс наугад выбрал километр 1 121 от Дамаска и заложил мину, на что потребовалось четыре часа. На земле осталось множество следов, скрыть которые было невозможно. Поэтому отряд вместе с верблюдами бродил взад и вперед, пока следы не стали выглядеть так, будто линию пересекла целая армия, отчего место закладки мины сделалось незаметным. Затем, отойдя на безопасное расстояние, начали ждать рассвета, дрожа от холода. Лоуренса бил такой озноб, что он надеялся, чтобы ничего не происходило, пока он не отогреется. Даже легкий холод был мучителен для него и приводил в оцепенение все его жизненные силы, а теперь он находился на открытом пространстве, сыром после дождя, в мокрой одежде, даже без надежды согреться... Однако к полудню снова стало жарко, как до вчерашней бури.

В шесть часов утра над миной спокойно прошла дрезина – к всеобщему облегчению, потому что не имело смысла подрывать пять турок. Позднее со стороны Мадахриджа появились шестьдесят человек и приступили к восстановлению опрокинутых бурей телеграфных столбов.

В половине восьмого по линии прошел патруль, тщательно осматривая рельсы. Сидевшие в засаде напряженно наблюдали... Мина не была обнаружена. Затем показался поезд, девять вагонов которого были полны эвакуированных из Медины женщин и детей. Мина промолчала – к облегчению Лоуренса, но и к досаде, так как он начал сомневаться в том, что она заложена правильно.

Между тем, пригорок, на котором лежали затаившись Лоуренс и Дакиль-Аллах, стал слишком многолюдным: любопытные джухейны высыпали из укрытия на вершину, как только завидели вдалеке этот поезд. Турки их заметили и открыли огонь, безвредный на расстоянии. Обнаружение было неприятно, поскольку противник имел численное превосходство, поэтому отряд немного отошел. Посовещавшись, пулеметчиков, бывших верхом на мулах, отправили обратно в Вади Аис в сопровождении еще пятнадцати человек. Теперь отряд стал более подвижным и опять вернулся к линии.

Жаркие часы арабы провели в легкой тени деревьев, вне досягаемости турок, которые весь день продолжали постреливать в них. К пяти часам вечера неприятель прекратил это занятие, и отряд направился верхом через открытую долину к железной дороге. Огонь начался снова – и снова безвредный. Достигнув линии, арабы спешились, опустились на колени и... совершили вечерний намаз. Турки из удивления прекратили стрельбу. Это стало первым и последним разом, когда Лоуренс молился в Аравии как мусульманин.

С наступлением темноты Лоуренс решил проверить, почему не сработала мина. Джухейны тоже были заинтересованы в этом и толпились вокруг него, пока он с дрожью и бьющимся в горле сердцем обследовал в кромешной тьме участок в сотню ярдов, пытаясь найти свою мину. Перед его глазами стояла страшная картина взрыва, готовая в любой момент стать явью.

Наконец, мину удалось отыскать. Как оказалось, она залегала глубже, чем следовало: то ли из-за оседания почвы, то ли так была заложена. После того, как Лоуренс переложил ее, отряд подорвал небольшой мост и разобрал

в некоторых местах рельсы для приманки ремонтной команды, а Лоуренс с Мохаммедом срезали телеграфные провода. Закончив, они устремились к Хамду. Настроение у всех было оживленным, отчего отряд превратился в шумную орду и, когда часа через три нагнал своих пулеметчиков, те решили, что это мчится неприятель, и развернули на сотоварищей орудие, которое, к счастью, не сработало.

На следующий день, находясь на привале в устье Вади Аис, арабы услышали отдаленный гул взрыва. Два человека были отправлены на разведку, в то время как остальные продолжили путь. Вскоре их догнали разведчики с известием, что мина взорвалась под поездом с ремонтной командой. Дело было сделано.

Глава LXX

Портрет Абдуллы. – Послание от Фейсала. – В обратный путь. – Мужество арабов в страдании. – Неудачное соревнование.

Более близкое знакомство с Абдуллой подтвердило те выводы, которые Лоуренс сделал после первой встречи, а резкое противопоставление между действиями и образом жизни Фейсала и тем, что он наблюдал у Абдуллы, только усилило его нерасположение к последнему. То было различие между человеком духа и человеком плоти, между пророком и фарисеем.

Абдулла любил удовольствия и веселье, любил самого себя и делал все возможное, чтобы походные условия ничем его не обременили и ничего не лишили. Под предлогом недомоганий он избегал лишних усилий, а чрезмерный досуг заполнял развлечениями. «Он читал газеты, старательно ел, спал»,[1] иногда выезжал на охоту, откуда возвращался крайне утомленным и укрывался в своем шатре для массажа. Также он живо интересовался европейской политикой, любил песни и танцы, не был

равнодушен к истории и литературе, ценил арабскую поэзию и часто принимал у себя местных поэтов. Эти увлечения сочетались у него с любовью к грубым играм и шуткам. Вместе со своими друзьями он проводил большую часть дня и вечера в забавах с придворным дурачком. Они кололи его шипами, бросали ему за шиворот раскаленные на солнце камни, сажали на угли, а однажды Абдулла упражнялся в меткости, стреляя с двадцати ярдов в чашки, стоявшие на голове страдальца.

Вся сущность Абдуллы была пронизана неискренностью. Внешняя приветливость оказалась в действительности капризом, проявлявшаяся временами решительность – приступами своеволия, веселый нрав – любовью к легкой жизни. Он был способен на создание яркого замысла, но его осуществлению всегда препятствовала леность. Веселая леность – именно она была обычным настроением дней Абдуллы, как упорное усилие было лейтмотивом бытия Фейсала.

Доступ в шатер Абдуллы был открыт только друзьям, а остальные довольствовались коротким приемом после полудня. Все дела снабжения и разнообразная секретарская работа были возложены на шейха Отмана, йеменского ученого, который трудился без передышки, не имея даже помощника. В распоряжении Абдуллы (и фактически в ведении Шакира) находились три тысячи человек, в основном племени атейба, с более чем скудным вооружением – в пять пулеметов и две гаубицы.

В военном деле Абдулла разбирался плохо и едва ли желал задумываться над ним. Его беспокоило положение в Европе, и он внимательно следил за боевыми действиями и за курсом европейской политики. Что же касалось Хиджаза, то он полагал, что арабская автономия обеспечена его отцу англичанами, и не заботился о будущем, а тактическую ситуацию считал делом Фейсала. Одной из целей Лоуренса было узнать, почему Абдулла бездействует: он и не собирался действовать и пришел в Вади Аис только оттого, чтобы не противоречить Фейсалу. Уходить оттуда он не намеревался, а в совершении набегов видел опасность подвергнуться сравнению со своим бра-

том. Еще прошлой осенью он был героем, завоевавшим Таиф, а Фейсал – несчастным неудачником в мединских холмах. Новое положение не могло не вызывать у Абдуллы неприятного чувства.

Все это было глубоко противно Лоуренсу. «Я приехал прямиком из штабквартиры Фейсала, где человек живет в неизменной атмосфере усилия и напряженного обдумывания того, как лучше вести войну, – и контраст с этим любящим удовольствие смеющимся окружением Абдуллы слишком силен, чтобы быть приятным».[2]

Месяц прошел с того дня, как Лоуренс уехал из Вэджха. Фейсал не мог больше ждать и, чтобы поторопить его, прислал письмо, которое Лоуренс нашел по возвращении из второго набега. «Мой любимый, нежный друг, я очень хочу увидеть тебя, так как мне надо многое тебе сказать... Разрушение дороги идет легко. Майор Гарланд уже прибыл, и мы можем отправить его для этой цели. Ты нужен здесь больше, чем разрушение линии, потому что я нахожусь в очень большом затруднении, которого не ожидал...» Подпись была: «Твой любящий друг Фейсал». Ни политических, ни военных трудностей в то время у Фейсала не было. Причиной неожиданного и смущающего затруднения мог стать только Лоуренс, необходимый тому «больше, чем разрушение линии».

Лоуренс сам желал поскорее вернуться, но апатия Абдуллы вынуждала действовать за него. Теперь, когда эвакуация Медины была предотвращена, а письмо торопило, он больше не медлил и 10 апреля собрался в обратный путь. На прощание он сказал Абдулле несколько «весьма сильных вещей по поводу настроения его лагеря»,[3] но тот не обиделся, и они расстались друзьями.

Лоуренса сопровождали его три аджейля, один сириец и шесть джухейн. Проводником был Мохаммед эль Кади. Вечером они остановились в шатрах жены Дакиль-Аллаха. Здесь Мохаммед помылся, переоделся в чистые одежды, заново заплел свои роскошные волосы и такой свеженький оказывал Лоуренсу знаки внимания, считая это своим

долгом. Когда к полуночи был приготовлен плов, он отложил с общего блюда часть в отдельную миску для Лоуренса и себя, отправив остальное другим.

Наутро путники добрались до Вади Хамд. Его русло покрывал песок, поросший редким серым кустарником, а местами блестели водоемчики, оставшиеся после дождей. Самый большой из них, в триста футов длиной и весьма глубокий, оказался пригодным для купания. После этого здесь помедлили еще, «продлевая телесное удовольствие», а в сумерках вновь были в седле.

На другой день привал был сделан в Угиле, где майор Росс создал аэродром. После отдыха все были оживлены, и в пути джухейны начали соревноваться в верховой езде. На каменистой дороге игра закончилась плачевно: под одним парнем верблюдица поскользнулась, и он, упав, сломал себе руку. Мохаммед перевязал его при помощи подручного материала, и его оставили, чтобы он вернулся в Угилу. Арабы спокойно относились к повреждениям подобного рода. Лоуренс видел в лагере Абдуллы юношу со сломанным предплечьем. Его перелом сросся вкривь, и тот сам разрезал кинжалом плоть до кости, вновь сломал ее и соединил должным образом. Затем, наложив на руку целебного мха и закрепив все это глиной, лежал в своей палатке, ожидая, когда рука заживет.

В последние сутки пути они выехали к началу равнины, простиравшейся до Вэджха. Земля была исчерчена следами автомобилей. Джухейны оживились и заторопились поскорее увидеть новые чудеса армии Фейсала. В порыве вдохновения отряд совершил восьмичасовой переход без отдыха, что было редкостью для хиджазских бедуинов. Когда позднее воодушевление угасло, Мохаммед предложил пробежать наперегонки три четверти мили и подал пример, которому последовали другие. Однако намеченное оказалось свыше сил Мохаммеда. Неровная дорога в гору изнурила его, и хотя он нашел силы добраться до своей цели, у него тотчас хлынула кровь сразу носом и горлом. Лоуренс испугался за него, но после часового отдыха и чашки кофе мальчик пришел в себя и последние шесть часов до Вэджха был столь же весел, как прежде,

продолжая свои маленькие шалости, оживлявшие весь этот долгий путь и забавлявшие Лоуренса. Одной из проделок было пришпорить верблюда, мирно идущего впереди, так что тот бросался галопом, вызывая недоумение своего седока.

В Вэджх они прибыли 14 апреля.

Глава LXXI

Ауда абу Тайи. – Случай с зубами. – План взятия Медины и возражения Лоуренса. – Идея Лоуренса занять Акабу.

Остановившись близ Вэджха, Лоуренс переоделся и только затем предстал перед Фейсалом. Там находился и Назир, отдыхавший между набегами.

У Фейсала все шло хорошо. Переговоры с вождями велись успешно, разрушение железной дороги осуществлялось день и ночь, из Египта были присланы дополнительные автомобили, а из Рабега переведены аэропланы под командованием майора Росса. Недавно приехал Шарраф с новой пулеметной командой интересного происхождения. В Янбо была брошена куча негодного оружия, а в госпитале оставлены тридцать раненых и больных. Два английских сержанта починили пулеметы и обучили выздоровевших пациентов обращению с ними. Так получилось одно из лучших подразделений.

Выслушав новости, Лоуренс собрался наконец-то отдохнуть, когда вдруг узнал, что прибыл Ауда. «Ауда абу Тайи!» – воскликнул он. В тот же миг полог шатра был отброшен, и в проеме появилась с громогласными приветствиями высокая фигура знаменитого воина. Фейсал вскочил на ноги, а Ауда, взяв его руку, поцеловал ее. Лоуренс восхищенно смотрел на них. «Великолепно непохожие, представлявшие лучшее, что было в Аравии – Фейсал, пророк, и Ауда, воин, – они создавали в своем союзе совершенство и тотчас поняли один другого и понрави-

лись друг другу».[1]

Лоуренс, умевший определять сущность человека по нескольким характерным чертам внешности и поведения, сразу понял, что помощь Ауды принесет успех восстанию. Его сила, прямота и явное стремление исполнить свой долг не оставляли в этом сомнения.

Ауде было за пятьдесят, он был силен и крепок, в простом белом одеянии и красной куфии. Его большие глаза были выразительны и глубоки, в черных волосах серебрилась седина, а трагическое худое лицо имело отпечаток пережитого горя: Ауда потерял в сражении любимого сына, в котором желал увидеть наследника величия Абу Тайи.

Ауда ярко представлял собою тип древнего племени ховейтатов, считавших себя истинными бедуинами. Он был необычайно щедр, так что сам всегда жил бедно, несмотря на многие успешные набеги. Их территория была очень обширна, и он старался поддерживать вражду со столь большим числом племен, как только было возможно, чтобы иметь достаточное пространство действия. Под его предводительством племя стало самым воинственным в пустыне. Ауда убил в боях семьдесят пять человек и был ранен тринадцать раз.

Слава его набегов и побед сохранялась в стихах и длинных эпических повествованиях, которыми была полна его память. Он любил обрушивать их на первого подходящего слушателя, а если таковой отсутствовал, пел их для себя самого, голосом звучным и сильным. О себе он говорил в третьем лице и нередко рассказывал истории против себя.

Будучи отчаянным и горячим, он был подвержен приступам яростной страсти, во время которых едва ли мог собою владеть, и тогда его присутствия старались избегать. Несмотря на это, он был скромным, прямодушным, честным, добрым и простым до ребячливости.

За обедом, когда Лоуренс рассказывал о странностях лагеря Абдуллы и о «радости подрыва железной дороги», Ауда вдруг поднялся и с громким «Боже упаси!» выбежал из шатра. Присутствовавшие переглянулись, а снаружи

послышался стук. Лоуренс выглянул и увидел, что Ауда разбивает камнем на скале свои вставные зубы. «Я совсем забыл, – объяснил он, – ведь их мне дал Джемаль-паша! Я ел хлеб своего господина турецкими зубами!» Своих у него было мало, поэтому бедный Ауда несколько месяцев жил впроголодь. В августе Лоуренс, перечисляя в письме к Клейтону нужды армии (радио, деньги, дополнительные части), внес в этот список и зубы для Ауды. Вингейт прислал тому зубного врача из Египта.

Теория, разработанная Лоуренсом в Вади Аис, нашла слушателей, – но не сторонников. Англичане по-прежнему готовились взять Медину. Так, согласно плану Ньюкомба, основывавшемуся частично на прежней схеме Лоуренса, часть арабов должна была захватить форт и станцию в Муаддаме, а затем армии Фейсала следовало перерезать и удерживать железнодорожную линию близ Медайн-Салиха и таким образом принудить мединский гарнизон к сдаче. Вильсон поддержал эту идею, и Дэвенпорт готовил египетские войска для оказания помощи арабам.

Тактические возражения Лоуренса против этого намерения заключались в том, что иррегулярные войска не могли ни атаковать, ни удерживать позиции, и таковое их использование оказалось бы растратой их силы, которая состояла в подвижности, скорости, выносливости и знании местности. Задачей арабов являлось «находить слабейшие звенья противника и нажимать до тех пор, пока не разрушится вся цепь».[2] Следовательно, было необходимо максимально расширить фронт, заставив турок перейти к пассивной обороне, и наносить удары при помощи летучего отряда. Тактика концентрации была гибельной для арабов, тогда как тактика рассеивания делала их непобедимыми. Так война стала бы чрезвычайно дорогостоящей для турок и почти бескровной для арабов. Стратегически же Лоуренс стремился развить восстание на возможно большей территории, ведущей к северу – к Дамаску. Турки в Медине оказывались не просто безвредными, но даже полезными: необходимость снабжать гарнизон продовольствием заставила бы поддерживать работу железной

дороги, а это предоставило бы идеальную область применения его теории.

Возражения Лоуренса против старой схемы, как и обоснование преимуществ новой стратегии были заслушаны с таким же равнодушием при продолжении подготовки к захвату Медины. Лоуренс не мог допустить совершения промаха и поэтому совместно с Аудой разработал план взятия Акабы. В случае успеха это открыло бы врата к Дамаску, завершив аравийский этап войны.

План состоял из двух стадий: обходное движение в шестьсот миль через пустыню до весенних пастбищ ховейтатов в Сирийской пустыне и затем – атака на Акабу с незащищенного тыла. Акаба имела линию сопротивления только со стороны моря, тогда как подходы с суши были настолько труднодоступными, сокрытыми в тесных лабиринтах ущелий, что турки не могли даже ожидать угрозы с той стороны.

Если рассматривать атаку на Акабу тактически, то нападение с тыла не требовало исключительных военных способностей, но рассмотренная стратегически она являет весь военный гений Лоуренса. Другие англичане видели ближайшую цель и шли медленно и упорно к ее достижению. Лоуренс смог оценить достоинства своих средств и видел ближайшие цели только как звенья одной цепи. Контекстное видение – вот, что можно назвать гениальным в нем. Это видение могло сделать из него выдающегося ученого и создало блестящего стратега.

Фейсал согласился с его замыслом. Он уже поддерживал сношения с племенами, жившими близ Акабы, и был уверен в их помощи. Так что Лоуренс написал Клейтону письмо, «полное извинений» и объясняющее, что его «намерения были самыми лучшими»,[3] и отправился в поход.

Глава LXXII

Картина положения в Палестине и Хиджазе с декабря 1916 до мая 1917 года.

Теперь возвратимся немного назад и посмотрим, как действовали англичане на ближневосточном фронте.

После битвы на Сомме, длившейся с 1 июля по 19 ноября 1916 года, стоившей жизни 419 654 англичанам и 194 451 французу и принесшей самое большее десять километров земли, дух союзников упал. Прежний порыв самопожертвования и самоубийственного оптимизма, пылавший с начала войны, уступил место чудовищной усталости как армий, так и тыла. Больше не было надежды на скорую победу. Война стала неуправляемой поглощающей машиной на кровавых бездорожьях истории.

В декабре того года Ллойд Джордж, только что вступивший в должность премьер-министра, начал настаивать на развитии наступательных действий на Востоке, чтобы возможными успехами ободрить союзников. Робертсон был против, так как это нарушало принцип о «сосредоточении сил на основном участке». Запрос Мюррея о двух дополнительных дивизиях усилил его возражения, и 12 декабря он отвечал генералу, что до конца зимы эта просьба не может быть удовлетворена. На следующий день Мюррей прислал телеграмму, сообщавшую, что он рассчитывал использовать три дивизии только для пассивной защиты линий сообщения. Робертсон дал директиву: «Вашей основной задачей по защите Египта должно быть максимальное развитие наступательных операций войсками, имеющимися в Вашем распоряжении». И выразил недоумение, почему Мюррею требуются такие силы на линиях сообщений.

В то время, когда Мюррей получил эти указания, он готовился, медленно и верно, к занятию Эль-Ариша. Утром 21 декабря английские войска вступили в город, который оказался пуст. Гарнизон, состоявший из тысячи шестисот пехотинцев, отошел после того, как стало известно о предстоящей атаке и задержке подкреплений.

23 декабря отступивший противник был обнаружен в Вади Эль-Ариш и разгромлен летучим отрядом. Однако через несколько дней новая турецкая колонна укрепилась на турецко-египетской границе близ Рафы, рассчитывая перекрыть путь англичанам, продвигавшимся на восток по старой караванной дороге. 9 января Чэтвуд с частями Шовеля и еще одной бригадой занял Рафу. Турки отступили к Газе, где заняли новую позицию.

Эль-Ариш был сделан английской базой. К 4 января 1917 года было завершено строительство железной дороги до этого пункта. В следующем месяце продолжилось проведение линии дальше вдоль побережья как подготовительной меры к будущему наступлению.

Против трех английских пехотных и двух кавалерийских дивизий турки могли противопоставить одну слабую дивизию и остатки другой. В феврале они сумели подтянуть еще одну дивизию, тоже слабую. Но и теперь соотношение сил составляло тринадцать тысяч турок против сорока тысяч англичан. Перед англичанами открывалась земля обетованная. И именно тогда, когда представилась возможность воодушевляющего успеха, поступили известия о намерениях турок эвакуировать Медину.

26 марта английские войска попытались взять штурмом Газу, но при известии о приближении турецких подкреплений, угрожавших правому флангу, отступили. В первой половине апреля турки укрепляли свои позиции, тогда как англичане готовили вторую атаку. Она была начата 16 апреля. После обстрела турецких укреплений выступила пехота, перед которой двигались танки. Вскоре одни машины были подбиты, другие заглохли сами. Пехота, преодолев три тысячи ярдов по совершенно гладкой равнине, наткнулась на неразрезанную проволоку и была скошена пулеметным огнем, повторив участь своих соотечественников, сражавшихся на Сомме. Мертвецы оставались лежать там, где упали, в продолжении шести месяцев, пока их не похоронили английские отряды после третьей битвы при Газе.

В Хиджазе, когда после взятия Вэджха расширился фланг, английские офицеры – Ньюкомб, Гарланд и Хорн-

би – провели ряд согласованных набегов на железную дорогу между Медайн-Салихом и Эль-Улой, чтобы воспрепятствовать доставке припасов в Медину и тем самым ослабить находившихся там турок.

Первым совершил набег Гарланд. Он выступил из Вэджха 12 февраля с отрядом в пятьдесят арабов и после восьмидневного перехода достиг железной дороги близ станции Гувейра. Арабы утверждали, что поезда ходят теперь только днем, и он, считая, что имеет достаточно времени, чтобы в темноте не торопясь разрушить полотно, приступил к делу. Одну часть отряда он отправил для закладки подрывных шашек под мостом, а сам начал готовить к подрыву участок немного дальше по линии, как вдруг услышал шум приближающегося поезда. Успев заложить несколько шашек, он бросился прочь от линии. Когда он был на расстоянии метров в двести, произошел взрыв, опрокинувший паровоз с насыпи. На станции была поднята тревога, и турецкий гарнизон устремился к месту происшествия. Отряд смог спастись только благодаря одному арабу, который должен был подорвать мост, но не сделал этого, пока Гарланд с отрядом не перебрались на другую сторону.

В ночь на 3 марта Ньюкомб напал на Дар-эль-Хамра, где разрушил станцию и часть полотна и взял в плен пятнадцать турок. Он был теперь в образе араба – так же, как и Хорнби, тоже прославившийся дерзкими набегами на железную дорогу. Позднее свой вклад внесли Джойс и Дэвенпорт. Лоуренс, уловивший сущность арабского народа столь же хорошо, как он определял природу отдельного человека, создал для офицеров, работавших с арабами, своего рода инструкцию, названную «Двадцать семь статей», в которой изложил схему поведения.

В апреле египетские и арабские регулярные части были переведены из Рабега в Вэджх, тогда как войска французской миссии были продвинуты только до Янбо, где оказывали помощь частям Али и Абдуллы. Однако Хуссейн и Абдулла подозревали обоих союзников в корыстных мотивах и старались спровоцировать между ними разногласия.

В то время, когда Лоуренс выступил на Акабу, англичане вели окопную войну близ Газы.

Глава LXXIII

На Акабу. – Потерянный сад. – Отдых в оазисе. – Арабский язык Лоуренса. – Лоуренс и Назир. – Снова малярия. – Встреча в Вади Джизиль. – Дауд и Фаррадж.

В полдень 9 мая 1917 года под прощальные напутствия Фейсала Лоуренс с небольшим отрядом выступил в долгий поход на Акабу. Впервые ему пришлось принять столь большую ответственность, а вместе с тем и часть верховенства Фейсала, оставшегося в Вэджхе.

Руководителем экспедиции и проводником был шериф Назир. Когда ему предложили эту роль, он слегка вздохнул и согласился без раздумий. Он был очень утомлен физически после многих месяцев несения службы в авангарде и подавлен духовно. Его прежняя жизнь закончилась: война перевернула привычный уклад и принудила к чуждому и напряженному существованию борющейся песчинки в охваченной восстанием пустыне.

В отряд входили Ауда с его родственниками; Незиб эль Бекри из Дамаска, обладавший политическим чутьем и долженствовавший представлять Фейсала селянам Сирии, и его сотоварищ Зеки, сирийский офицер; тридцать пять аджейлей под командованием уединенного в себе ибн Дейтира и сопровождение Лоуренса – три аджейля, сельский мальчик из Хаурана и Газим из Маана.

Фейсал предоставил двадцать тысяч фунтов стерлингов золотом для платы новым сторонникам. Каждый имел сорок пять фунтов муки в расчете на шесть недель – то было наилучшей провизией. Поначалу это не оценили и захватили с собой еще и рис – на случай приема гостей. Его сами и съели «с огромным удовольствием, потому что жесткая диета хлеба и воды – неделя за неделей – стала невдохновляющей».[1] Из вооружения имелось немного

винтовок и динамит, погруженный на шесть верблюдов.

Первый привал был сделан неподалеку от Вэджха, у Калаат Себейля. Оттуда выступили около полуночи по направлению к оазису Эль Курр, где собирались сделать следующую остановку. По дороге сквозь бесприютные пространства, озаренные луной, Назир вспомнил свой дом и с ночной открытостью рассказывал Лоуренсу о нем и про свой чудесный сад, полный многообразных фруктовых деревьев. Там тенистые тропы хранили восхитительную прохладу даже в палящий зной, а сложная система орошения питала сад, начинаясь от колодца, колесо которого поскрипывало под тягой волов на протяжении шести столетий. Во дворе виноградом увитые решетки укрывали бассейн, в котором так любили купаться Назир и домочадцы его брата, а неподалеку весело журчали фонтаны... Деревья, вода и прохлада – главное богатство в знойных краях, где раскаленные солнцем скалы пышут жаром, словно выхваченные из адова горнила, и безнадежный песок устилает бесконечные просторы.

Меланхолия лунного света обострила воспоминания и чувства, и Назир спрашивал себя, почему он, некогда богатый эмир Медины, все бросил и стал вождем горстки отчаянных авантюристов, который сражался в прошедшие два года на последних рубежах армии Фейсала, избирался для самых рискованных заданий и был первопроходцем в каждом новом продвижении. Он знал, почему... Тот «величественный храм» свободы, рисовавшийся в воображении Лоуренса, будто мираж на пустынном горизонте, манил и его – равно, как и многих других, ставших такими же песчинками в охватившей их буре. А тем временем турки разорили дом Назира и уничтожили сад его отдохновения. Древнее колесо замолчало, и обожженная земля растрескалась, став столь же бесплодной, как мертвая пустыня. Впереди туманилась греза, а позади оставалась могила его прошлого, его самого прежнего. Назир тосковал по дому и своей еще недавней, но уже неповторимой жизни. Совсем молодой (всего лет двадцать восемь!), он уже прощался – и тяжело – со своей молодостью, ибо она кончилась с гибелью того сада, с разруше-

нием его маленького мира. Душа Назира стремительно старилась от усталости из-за неослабевавшего напряжения и боли. На то же была обречена и душа Лоуренса, жившая в то время одной неистовой надеждой и таившая в глубине тоску о спокойном холме над золотой излучиной. Когда порыв сошел на нет, а храм «о семи столпах» оказался лежащим в руинах, она стала столь же выжженной, как мертвый сад Назира. Лоуренс и Назир, они могли понять друг друга. Под горячей порывистостью одного и под внешней веселостью другого нарастала одна боль.

Через четыре часа отряд остановился для двухчасового привала, а с восходом солнца продолжил путь. Белый песок отражал яростное солнце, а от скал катились волны душного жара, вызывая головную боль и головокружение, так что к одиннадцати часам отряд спешился вопреки желанию Ауды. Пролежав до половины третьего пополудни в изменчивой скудной тени, падавшей от одеял, наброшенных на ветки кустарника, выступили снова и спустя три часа добрались до оазиса Эль Курр.

Здесь задержались на два дня. Лоуренс блаженствовал. Его лихорадка обрушилась с большей силой, чем в Вади Аис, а внутренний жар при внешнем мучителен вдвойне. Поэтому продвижение стало для него одним усилием напряженной воли, и дополнительный отдых был благословением.

Оазис принадлежал семье одного старика-бедуина, жившего в роскошестве умеренности, радовавшегося своим пальмам и решительно не понимавшего, что за свободу собирается завоевывать этот неожиданно посетивший его отряд. В оазисе находились люди из армии Фейсала, в том числе Мавлюд. У него были музыканты, и по вечерам вокруг костра звучали песни – «но не монотонный гортанный рев племен и не возбуждающая гармония аджейлей, а четвертные тона фальцета и трели городской Сирии».[2] Временами Незиб эль Бекри доставал томик песен Селима эль Джезаири, арабского революционера, писавшего о свободе, и вдохновенно распевал их с сотоварищами, а когда их песня замолкала, сидевшие у

костра тихонько вздыхали.

Отряд покинул оазис в глубокой тьме после полуночи. На этот раз проводником был Ауда. Неразличимый впереди, он громко пел одну из песен ховейтата, и она, гулом катясь среди невидимых скал, указывала направление.

«Во время этого долгого пути шериф Назир и Мохаммед эль Дейлан, невесело улыбавшийся двоюродный брат Ауды, взяли на себя труд исправлять мой арабский язык, давая по очереди уроки классической мединской речи и живого языка пустыни. Поначалу мой арабский представлял собой неловкое владение диалектами племен Среднего Евфрата (отнюдь не нечистая форма), но теперь стал беглой смесью хиджазского жаргона и поэзии северных племен с добавлением обиходных слов и фраз из ясного наречия Неджда и книжных форм Сирии. При беглости не хватало знания грамматики, что делало мою речь постоянным приключением для слушателей. Новоприбывавшие думали, что я, должно быть, уроженец какого-то неизвестного неграмотного округа, где собираются все отброшенные части арабской речи».[3]

Жаркие полуденные часы опять провели в ненадежной тени одеял, после чего сделали четырехчасовой переход через ущелье и остановились в долине, где имелись хворост для костра и хорошая вода.

В этом походе Лоуренс жил в шатре Назира, обладая, таким образом, возможностью сблизиться с ним. Совместное проживание принесло тому пользу еще и неожиданную: Ауда и Незиб, не терпевшие над собой ничьего руководства, смирились с его верховенством оттого, что с ним жил Лоуренс, подававший им пример своим уважением и доверием. Отношения Лоуренса и Назира были основаны на большей симпатии, чем простое почтение. «Мы нравились друг другу», – вскользь замечает Лоуренс в своей книге. Одиночество пустыни создавало тесные и прочные связи.

Наутро выехали в пять часов. Дорога повела через изломанные скалы и вскоре стала столь тяжелой, что пришлось спешиться и помогать нагруженным верблюдам преодолевать трудные участки, подталкивая животных сзади

и подтягивая их спереди. Местами утесы нависали так, что тюки задевали их, и верблюды были вынуждены теснить-ся к краю обрыва. Груз переложили, но два верблюда все равно были потеряны.

Наконец, впереди распахнулось обширное плато, за которым начиналась долина, усыпанная белым булыж-ником – Абу Саад. Проехав еще четыре мили, отряд оста-новился под ветвистыми деревьями. У несчастного Лоу-ренса снова случился приступ малярии. Она была про-клятием всей его жизни, беспокоя пароксизмами голов-ной боли и жара с того знойного лета 1908 года, когда он заразился ею во время поездки по Франции.

Утром, миновав другое, мягко понижавшееся плато красного песчаника, отряд въехал в еще тенистую долину, образованную изрезанными скалами, что вздымались, словно пинакли и парапеты старинных замков. Свернув через полчаса за угол, путники оказались в Вади Джизиль. То было поросшее тамариском гулкое ущелье, тесное, буд-то тревогой зажатое сердце. Песчаниковые откосы были исполосованы красным цветом всех оттенков. Чуткий к краскам глаз Лоуренса отдыхал на насыщающем сочета-нии темных отрогов, розового дна ущелья и светло-зеле-ного кустарника. После режущего къяроскуро охваченной солнцем скалистой пустыни цвет был умиротворением для его взгляда прирожденного художника. Вечером обра-щенный к закату откос загорелся багровым жаром, как отсветом гибели...

Лагерь разбили на волнах песка, покрытых сорной травой. Вдалеке, среди олеандровых зарослей, виднелись палатки лагеря Шаррафа, с которым предполагалась встреча. Туда послали за новостями и узнали, что сам Шарраф должен появиться на другой день.

В Джизиле провели два дня, купаясь в солоноватом водоеме и бродя в соседних долинах, чтобы полюбоваться поперечными штрихами розового, коричневого, бежевого и красного цветов, оживлявшими общий пунцовый тон скал.

16-го числа Лоуренс отдыхал в тени каменных стен за-брошенного загона для овец. Мягкий ветер лениво блуж-

дал по сонной долине, шумя меж скал, словно морское эхо в мертвой раковине. Лоуренс мирно дремал, когда вдруг рядом раздался юношеский голос. Он открыл глаза и увидел присевшего рядом встревоженного Дауда – одного из аджейлей Шаррафа. Мальчик ожидал помощи. Его друг Фаррадж сжег их палатку во время забавы, и теперь их командир, Саад, собирался выпороть озорника. Дауд надеялся, что заступничество Лоуренса спасет его товарища от наказания. Пока он рассказывал, подошел сам Саад. Во время его разговора с Лоуренсом Дауд, пребывая меж надеждой и страхом, тревожно смотрел на них, чуть сузив большие темные глаза и в волнении слегка приоткрыв губы. Его прямые брови напряженно сдвинулись к переносице.

Несмотря на просьбы Лоуренса, командир не изменил своего намерения. Беспокойная парочка будоражила весь отряд, изощряясь в дерзких проказах, и Шарраф приказал не давать им воли. Все, что мог сделать Саад ради Лоуренса, это позволить Дауду разделить участь его товарища. Тот, как только услышал это, радостно вскочил, поцеловал руки Лоуренса и Саада и умчался, а его командир остался рассказывать Лоуренсу о знаменитой паре.

Дауд и Фаррадж любили друг друга, являя собой образец нежной привязанности между мальчиками, бывшей столь распространенной на Востоке. «Такие дружбы часто вели к мужественной любви, превосходящей по своей глубине и силе наше [европейское] самомнение, преисполненное плотскости».[4] Плотскости – животной тяги к женщине, в чьем рабстве слабеет попранная душа. Только та мужественная любовь, животворящая и созидающая, сохраняет неосквернённым Божий образ в человеке и раскрывает его во всей полноте, только она дарует силы и бытие, длящееся сквозь все преграды и теснины этого мира.

На другой день Лоуренс сидел в шатре Назира, разговаривая с Аудой, в то время как Назир, забавляясь, щелкал в них большим и указательным пальцами спички из коробка. «Посреди нашего веселья прихромали две согбенные фигуры – с болью в глазах, но кривыми улыбками

на губах, – и поприветствовали нас. То были пылкий Дауд и его возлюбленный, Фаррадж, – красивое, нежно сложенное создание, похожее на девушку, с невинным гладким личиком и заплаканными глазами».[5] Они объявили, что хотят стать слугами Лоуренса. Тот попытался отказаться, объясняя, что он простой человек, не нуждающийся ни в чьих услугах. Дауд, обидевшись, сердито отвернулся, но сладостный Фаррадж продолжал уговаривать, убеждая, что Лоуренсу могут понадобиться помощники и что они с Даудом будут сопровождать его за компанию и из благодарности. Лоуренс не поддавался, и Фаррадж, не теряя надежды, обратился к Назиру. Назир посоветовал Лоуренсу взять их к себе, что тот и сделал, «главным образом, оттого, что они выглядели такими юными и чистыми».[6] Он мог видеть в них, неразлучных и преданно любивших друг друга, себя с Дахумом, их юность напоминала ему о юности собственной и своего друга, они казались утешающим эхом его насильно прерванного счастья. «Эти два мальчика доставляли мне большое удовлетворение»[7]... В неотпускающей устремленности усилия, среди опасностей и мертвящей усталости это явление любви приносило отдохновение. Все новые привязанности Лоуренса были обречены, братство его разорвано, а эти два аджейля самим своим существованием словно утверждали бытийственную ценность любви, неподвластной гибельному миру.

Живые, веселые, ничего не боявшиеся, с готовностью выполнявшие порученные им задания, они стали для Лоуренса источниками неисчерпаемой радости – хотя и весьма беспокойными источниками, бурлившими озорными затеями. Лоуренс, в свою очередь, тоже понравился им. Мальчики могли чувствовать себя с ним легко и спокойно. «Мне нравилась их свобода в отношении ко мне; и я восхищался их интуитивным пониманием друг друга, с которым они отвечали вызовам мира».[8] Так с братом брат, – и мир бессилен против их маленькой, но вечной вселенной.

Глава LXXIV

Встречи в пустыне. – Враждебность и фантазии природы. – Славный подрыв. – Эль Хул. – Противостояние ветру.

Только на третий день появился Шарраф – в праздничестве гулких ружейных залпов, возвещавших успешное завершение его набега на железную дорогу. Для встречи с ним наши знакомцы приоделись. Так, Ауда нарядился в приобретенные в Вэджхе пальто мышиного цвета с вельветовым воротником и желтые сапоги, что создало впечатление чрезвычайно комическое на противопоставлении с его трагическим ликом и длинными, с проседью волосами.

Теперь можно было продолжать путь, и на следующий день Лоуренс с отрядом покинул эту живописную, но лихорадочную долину. Немного отъехав, они завидели несколько всадников, направлявшихся в их сторону. Неожиданные встречи в пустыне всегда вызывали волнение, ибо могли нести не только дружественность, но и вражду. Но когда те приблизились, Лоуренс узнал в ехавшем впереди англичанине в потрепанной форме Хорнби. Вместе с Ньюкомбом они проводили в пустыне целые недели, разрушая железную дорогу с таким воодушевлением, словно то было их самым страстным увлечением. После приветствий и обмена новостями отряд отправился дальше.

С наступлением сумерек путники выехали на огромное лавовое поле, черное и гладкое, гасившее в своей глухой безнадежности робкий свет звезд. Пересекая его, они незаметно рассеялись, и когда поле закончилось песчаной долиной, ее достигли лишь несколько человек. Спешившись, они разожгли большой костер из кустарника, чтобы тот служил маяком для отставших. Те подоспели только спустя пару часов.

На другой день дорога стала еще хуже. На многие мили расстилались пространства рассеянных острых обломков базальта и источенных колонн красного песчаника с выступавшими кусками более твердой породы. Лоуренс

только изумлялся той уверенности, с которой Ауда вел отряд сквозь эти режущие руины. За ними снова начался край древней вулканической деятельности. Здесь и там приподнимались серые разрушенные кратеры, между которыми земля была плотно вымощена кусками базальта. «Ничто в этом переходе не было обычным или успокаивающим. Мы чувствовали, что находимся в зловещей местности, неспособной к жизни, враждебной даже к ее прохождению – кроме как по тем мучительным тропам, которые время проложило на поверхности».[1] Наконец, лава кончилась: впереди простиралась равнина золотистого песка и разбросанного зеленого кустарника, Вади Аиш. Там сделали привал, а на рассвете выехали по направлению к Дираа, где находились водохранилища дождевой воды, о которых сообщил Шарраф. Эти водоемы сокращали безводный переход на пятьдесят миль.

За Вади Аиш природа, казалось, безумствовала в изощрениях своей неудержимой фантазии. В небольшой долине вздымались песчаниковые колонны, пинакли, грибы и подобия сосновых шишек от десяти до шестнадцати футов высотой, образовывавшие густые красные «каменные заросли» в треть мили шириной.

На одиннадцатый день отряд достиг железной дороги, проходившей примерно в пятидесяти милях к югу от Тебука. Несколько человек, включая Лоуренса, взобрались на песчаный холм и к своей радости увидели, что линия совершенно пуста. Они добежали до края холма, спрыгнули в мягкий песок и весело покатились вниз, где приземлились весьма жестко. Вскочив в седло, они поспешили к дороге, созывая остальных. Аджейли заложили под рельсы динамит и пироксилиновые шашки, взрыв которых наполнил пустынную долину волнами эха. Ауда пришел в восхищение. Он никогда прежде не знал взрывчатки, и первое знакомство вдохновило его на стихи в честь славной мощи динамита. Разрушение завершили перерезанием трех телеграфных проводов.

Наутро, 20 мая (это был 34-й день рождения Фейсала), отряд достиг края плато, разделявшего Хиджаз и Сирхан. Далее простиралась бескрайняя песчаная рав-

нина, растворявшаяся вдали в сиреневую ирреальность. «Восходящее солнце заливало опускающуюся равнину светом совершенного уровня, образуя длинные тени от почти незаметных отрогов и создавая жизнь и игру сложной поверхности – явление преходящее, ибо, пока мы смотрели на это, тени потянулись к рассвету, дрогнули на миг позади своего происхождения и исчезли, как по сигналу. Началось утро. Река солнечного света, неприятно устремившаяся навстречу нам, двигавшимся созданиям, равномерно затопила каждый камень пустыни, через которую мы должны были пройти».[2]

Равнина за свою безжизненность называлась Эль Хул – «необитаемая». Никаких признаков жизни не было в ней – ни птиц, ни ящериц, ни газелей. Лишь «пустот неподвижных громады», где, как в неизбывной тоске, нет «ни конца, ни пощады, ни зла, ни добра – ничего»,[3] только «отчаяние атома, затерявшегося в бесконечности».[4] Продвижение казалось неподвижностью в гигантской пустоте одиночества – метафорой усилия жить, равно как образом напряженной устремленности того восстания – попытки движения против враждебной воли. Из всех звуков слышались только гулкие шаги верблюдов, словно они ступали над сводом некоего склепа, и непрерывное шуршание песка, носимого медленным и душным ветром.

К полудню песчаный ветер усилился. От его сухости губы стали трескаться, и арабы натянули на лицо края своих куфий, оставив лишь узкую полосу для глаз. Они недаром боялись песка: его частицы, попадая в малейшие ранки, могли вызывать мучительные изъязвления. Но для Лоуренса с его сохранившимся мальчишеством не было страха. «Мне даже нравился хамсин, потому что его удары казались сражением против человечества, ведомым с преднамеренной и сознательной злобностью, и было приятно встречать его столь прямо, бросая вызов его силе и завоевывая его крайность. Еще существовало удовольствие в соленых каплях пота, которые по одной сбегали с длинных волос надо лбом и падали, как вода со льдом, на щеку. Поначалу, я играл, ловя их в рот, но, по мере того, как мы углублялись все дальше в пустыню, а часы шли,

ветер становился все сильнее и гуще от пыли, все более страшным в своем жаре. Всякое сходство с дружественным противостоянием исчезло. Неровный шаг моего верблюда стал добавлением к раздражению удушающих волн, от сухости которых моя кожа полопалась, а горло сделалось столь болезненным, что впоследствии я в течение трех дней мог съедать только немного нашего черствого хлеба. Когда, наконец, наступил вечер, я был доволен, что мое обожженное лицо еще чувствует другой, более мягкий воздух темноты».[5]

Равнина закончилась поперечным кряжем, за которым шел пологий откос, опускавшийся в долину. Там сделали привал. В этот день было пройдено около пятидесяти миль.

Глава LXXV

Лоуренс и арабы. – Духовный образ бедуинов.

На другой день был достигнут желаемый колодец, с водой изобильной и чуть солоноватой. Около него провели ночь, а на рассвете продолжили путь. От полуденного зноя укрылись в скальных гротах. Ауда и Заал подстрелили газель, и отряд благодушествовал, наслаждаясь пищей, тенью и отдыхом. Даже для Лоуренса, убежденного вегетарианца, мясо казалось приятной поблажкой в суровости пустыни. На привалах Назир был любезен, как гостеприимный хозяин, и проявлял всю свою доброжелательность, внимание и заботу. Лоуренс наблюдал за ним, наслаждался и учился, как должно вести себя с арабами. Так же, как он был обязан Фейсалу знанием племен, он был обязан Назиру умению обращаться с их людьми. Лоуренс сумел вчувствоваться в арабов, как вчувствовался в отдельного человека, и увидел их душу изнутри. В этом ему помогло, кроме наблюдательности и проницательности, расположение к этому народу. Никто, действуя из корысти или приспособленчества, не смог бы достичь такой

непринужденности в жизни среди чужой нации и, тем более, не сумел бы завоевать ее доверия и любви. Только естественность в отношении вызывает ответную симпатию, и источник этой естественности – понимающая и терпеливая любовь. «Не учить арабов, но учиться у них, ибо из европейца и араба последний обычно лучше во всем, кроме разума и знания» – было убеждением Лоуренса в Кархемише. Тогда средоточием всего лучшего являлся для него Дахум: так через любовь к одному человеку он научился любить весь его народ. Сочувствующая заинтересованность оксфордских лет была теоретической и неиспытанной. Окрепнуть и получить логическое обоснование ей позволило братство с Дахумом. Оно являло не только единение двух людей схожего мировосприятия, но и символизировало расположение европейца к арабу. Эта любовь помогла Лоуренсу понять и принять мир, столь отличавшийся внешне от его собственного.

«Умственные процессы арабов были ясны, их разум работал столь же логично, как наш, не имея ничего радикально непонятного или отличного, за исключением предпосылки. Не было никакого извинения или причины, кроме нашей лености и неведения, отчего мы могли бы называть их непостижимо восточными либо оставлять их неверно понятыми».[1] Для того чтобы понимать, надо быть (или стать) равным. Гордыне большинства европейцев претило снисходить до этих «дикарей», тогда как смирение Лоуренса воспитало внимательность и терпение к людям и подарило ему любовь к отдельному человеку и симпатию к целому народу: человечность.

Терпение было необходимо безграничное в обращении с этим горячим и страстным народом, не имевшим пределов для своих желаний и порывов, которые сдерживались только жесткими рамками существования. «Если бы обстоятельства их жизни предоставили им возможность, они стали бы чистыми сенсуалистами».[2] Они были аскетами по необходимости, но смягчение условий развязало бы яростный гедонизм. Доказательством этому могли служить арабы сытых городов, рьяно потворствовавшие своим аппетитам и погрязшие в ложных удо-

вольствиях. Бедуины были принуждены к воздержанности: пустыня не знала роскошества и предоставляла, как свой редкостный дар, только действительные блага – прохладу тени, воду, зелень деревьев. Благо есть то, что необходимо.

Смиренное терпение было основой их сущности, и всеприсутствие всезнающего Бога – лейтмотивом их жизни. «На все воля Божья» – это прирожденные мусульмане пустыни знали лучше, чем всуе призывающие Бога номинальные христиане более благополучных земель. Их вера была в самом биении их сердца. Лишения, боль, смерть – все принималось с покорностью, непостижимой для изнеженных европейцев. Тот юноша, разрезавший собственную плоть, чтобы исправить перелом, выразил присущую его народу выдержку перед лицом необходимости. Дух и плоть воспринимались как антитеза, и тело служило человеку, не человек – телу. Последнее – извращение женственного города. Жизни пустыни была присуща мужественность.

Пустыня граничит со смертью, и эта близость сделала спокойным восприятие своего ухода. Путники, почувствовавшие в одиночестве песков приближение своего часа, совершали омовение, заворачивались в саван и, выкопав себе могилу, ложились в нее, засыпав песком все тело, кроме лица, в надежде, что последнюю горсть милостиво бросит ветер. Сколь искаженным видится восприятие смерти так называемыми цивилизованными народами, пытающимися избежать самой мысли о ней! Ложные блага цивилизации убедили человека в «счастье» земного существования, приковали к нему мнимыми радостями, и страх перед смертью – зачастую только страх потерять свое преходящее добро. В пустыне жизнь являет свою сущность – страдание, и смерть предстает в своем истинном образе – как освобождение.

Категоричность условий диктовала критерии мышления. Для бедуинов мир был светотенью пустыни: они не знали полутонов. «Они были догматическим народом, презиравшим сомнение – наш современный терновый венец. Они не понимали наших метафизических трудностей

и интроспективных вопросов. Они знали только правду и неправду, веру и неверие, без нашей колеблющейся свиты более тонких оттенков».[3] Полутона, получувства, полумысли – прерогатива изощренного человека цивилизации, горожанина. Необученные бедуины не могли знать метафизических надмирных систем – их мир ограничивался скалами, оазисами, песками. Все остальное оставалось за гранью, как нереальность, и не тревожило, ибо было неизвестным. Их жизнь была жизнью простого народа, заботившегося только о своем существовании.

Лоуренс в своем противопоставлении «мы – они» под «мы» подразумевал *городскую* цивилизацию Европы. В селениях можно было бы встретить похожую в основных чертах простоту и прямоту безоттеночного мышления – более счастливую, стоит заметить, чем глубокие мудрствования обученности, но лишенную благородного в своей правильности фатализма подвижников песков. Уравнивающее органическое существование ведет к бездействию души, к блаженному забытью безбытийственности, не оставляя возможности для исканий, метаний, находок – для жизни духа. Город обособляет и дает возможность для становления личности, но плата за это – одиночество, борение, напряжение. Так противопоставляются терзания цивилизованного разума и счастливое забвение инстинктивной жизни. Земное существование – горе, и чем острее дух, тем глубже осознание этого. Жизнь бедуинов была *существованием* духа – не *бытием* его.

Арабы «были народом порывов, идей и подъемов»,[4] и из глубины их национального духа могли рождаться гении – еще более удивительные на контрасте с однообразным обществом. Они были покорны ведущей идее, если она захватывала их и имела своего пламенного пророка. Тогда они преданно следовали ей через все преграды, достигая невероятных высот, как морская волна, поднятая бурей. Так однажды арабы в юношеском пылу новой религии завоевали полмира, от Индии до Гибралтара, и так же они были способны на невозможное во время того восстания 1916-1918 годов. Но порыв откатывался, как волна, и оставались обломки. Арабы умели завоевать, но

не удержать. «Они были народом начал, для которого абстрактное являлось сильнейшим мотивом, процессом безграничной смелости и разнообразия, а достигнутая цель – ничем».[5] Новая идея свободы будоражила их, как томящихся ограничениями детей, но, получив ее, они едва ли были в состоянии пользоваться ею должным образом. После того восстания они избежали этого риска, но в другие времена кончали злоупотреблением и жаждой новой свободы – от рабства рутины и своих аппетитов. Этот народ никогда не перестанет волновать кровная память кочевой свободы – невозвратимой и, тем более, неповторимой в цивилизованных формах.

Глава LXXVI

Мимо Нефуда. – Неистовство джайанов. – «Щедрость» Бисайты. – Зрительные радости. – «Досадный» подвиг Лоуренса. – Прибытие в Сирхан. – Откровенность жизни в пустыне и электризующее волнение.

На четырнадцатый день отряд направился к северо-востоку на Арфаджу, в Вади Сирхан. Преодолев равнины известняка и песка, они увидели в пульсировавшей от зноя дали край пустыни Нефуд, отделяющей Джебель Шаммар от Сирийской пустыни. Нефуд уже пересекали несколько английских путешественников, в том числе Гертруда Бэлл. Лоуренс хотел взглянуть вблизи на эту пустыню, хранившую память о прежних исследователях, но Ауда воспротивился, и они устремились дальше, сквозь головокружение ослепительно сиявших песков, завивавшихся в удушливом ветре, и через джайаны – участки высохшей, отполированной грязи, белые и гладкие, простиравшиеся иногда на квадратные мили. Они отражали солнечные лучи подобно зеркалу, и возвращенный свет катился в лицо болезненными прибоями, доводившими людей почти до потери сознания. Это страдание заверши-

лось к шести часам вечера, когда, наконец, остановились на привал в подходящем месте. Здесь испекли хлеб, и Лоуренс поделился остатками своей доли со своей верблюдицей, пожалев бедное животное, измученное долгой, тяжелой дорогой. То была породистая верблюдица, подаренная Ибн Саудом Хуссейну, а им – Фейсалу. Отдых продлился только три часа, потому что Ауда беспокоился, как бы не пришлось провести в пустыне еще один день: воды с собой больше не было.

Перед рассветом достигли обширной равнины Бисайта, усеянной осколками коричневого кремня. Здесь водились страусы, и удалось подобрать пару их яиц. Однако приготовить их было не на чем: нашелся только жалкий пучок травы. Лоуренсу пришла на ум идея использовать немного динамита. Осторожно насыпав его в огонь под прислоненными к камням яйцами, их удалось испечь. Одно оказалось испорченным, второе было свежее, но жесткое. Однако для бесплодной Бисайты и это являлось щедростью, и его съели, разделив на всех и даже уговорив Назира отведать такую «мерзость». Назир из убеждения не употреблял яйца (равно как рыбу и курицу), считая это нечистой пищей.

Дорога продолжилась. Лоуренс сидел на верблюде запыленный, смертельно уставший, потерявший интерес почти ко всему, и... увлеченно любовался стройными и грациозными аджейлями, с изящными Даудом и Фарраджем среди них. Для большей выразительности он сравнивал их с неуклюжим крестьянским мальчиком из своего сопровождения. Даже зрительное наслаждение отвлекало его от подавляющего однообразия изнурительного пути, успокаивая и воодушевляя. Красота юношей и мужчин, приятно возбуждая, всегда поднимала ему настроение и придавала сил.

Оторвавшись от сладостного созерцания, Лоуренс заметил, что нет Газима. Он выехал вперед и увидел, что его верблюда без седока ведет один из ховейтатов. Что случилось с Газимом, никто не знал и едва ли желал знать: для этих арабов он был только неприятным чужаком. Отыскать же пропавшего в знойном тумане на каменных

просторах, которые не хранили следов, было делом почти безнадежным. Но его пришлось выполнить – и ни кому иному, как Лоуренсу. Ховейтаты находились вне видимости – на охоте или в разведке, а аджейли, твердо стоявшие только друг за друга, не стали бы подвергать себя опасности ради чужого. Лоуренс тоже мог легко избежать неприятного долга, будучи чужестранцем, и никто не упрекнул бы его в этом, только лишний раз вспомнил бы, что он – не араб. Этого Лоуренс не желал и, взглянув отчаянно на спутников, повернул обратно – в дрожавшую, как воздух над огнем, беспросветную пустыню.

Его настроение было отнюдь не героическим. Он досадовал на себя за необходимость быть бедуином и на своих людей за их беззаботность, но больше всего – на нестоящего, угрюмого Газима, раздражавшего весь отряд и вызывавшего желание поскорее от него избавиться. Спасение такого человеческого пустяка представлялось Лоуренсу нелепостью.

Ориентируясь по компасу, он рассчитывал добраться до прежней стоянки, находившейся в семнадцати милях. Через двадцать минут караван скрылся из поля зрения, и тяжелое одиночество надвинулось на Лоуренса. Оживленное окружение исчезло, словно мираж, и теперь вокруг расстилалась одна пустыня – безысходная, как отчаяние.

Спустя полтора часа впереди показалось нечто черное. Приблизившись, Лоуренс признал в этом потерявшегося. Тот, перепуганный почти до безумия, стоял, протягивая вперед руки. Лоуренс дал ему воды. Торопливо напившись, Газим начал стенать о своих пережитых страданиях. Лоуренс посадил его на верблюда позади себя и поехал обратно, так же выверяя путь по компасу. Газим продолжал голосить, громко и упорно, устрашая верблюдицу, которая побежала, как пришпоренная. Лоуренс приказал ему замолчать, боясь, что тот своими воплями загонит животное. Газим взвыл еще сильнее, и тогда Лоуренс пристукнул его, пригрозив, что в следующий раз и вовсе сбросит. Угроза подействовала.

Проехав четыре мили, Лоуренс заметил вдалеке что-то темное, плававшее в мираже. Наконец, оно разделились

на три фигуры, и он узнал Ауду с двумя людьми Назира. Лоуренс насмешливо поинтересовался, как же они могли бросить друга в пустыне. Ауда мрачно ответил, что, будь он рядом, он ни за что бы не позволил ему возвращаться. Газима пересадили на другого верблюда, и Ауда, указав на него, произнес: «Ради этого, не стоящего цены верблюда...» – «Пол-кроны не стоящего, Ауда», – поправил Лоуренс.

Когда они присоединились к отряду, Незиб выразил свое недовольство тем, что Лоуренс подверг опасности жизнь Ауды и свою «из-за каприза». Назир (которому Лоуренс, несомненно, показался героем) был поражен таким восприятием, и Ауда воспользовался случаем подчеркнуть разницу между разобщенными горожанами и сплоченными жителями пустыни.

В пять часов вечера на горизонте вырисовались песчаные холмы, и вскоре отряд оказался в Сирхане. Склоны холмов покрывала легкая опушка тамариска, заходящее солнце разливало алый свет, и Лоуренс отметил в дневнике, что «Сирхан был красив». Теперь можно было чувствовать себя в определенной безопасности, ибо угроза жажды миновала.

В тот же день пропал один из слуг Нури Шаалана. За него Лоуренс не беспокоился, потому что человек был на хорошем верблюде и знал местность. Но он не вернулся ни в тот день, ни на следующий. Только спустя месяца Лоуренс узнал от Шаалана, что пропавший погиб в пустыне, и его иссохшее тело было найдено рядом с трупом верблюда.

Ночь провели без воды и, соответственно, без пищи, но надежда на близкий источник смягчала тяготы. Колодцев Арфаджи достигли в восемь часов утра. Они располагались в низине, дно которой усыпал кремневый щебень, а дюны покрывал тамариск. Здесь расположились для долгожданного отдыха, но покой был нарушен появлением неизвестных всадников. Тотчас Мохаммед эль Дейлан с несколькими людьми выехал на перехват противника, а аджейли заняли огневую позицию. Однако через полчаса Мохаммед вернулся и объяснил, что отказался от

преследования из-за состояния своего верблюда. Тревога миновала, и наступил мирный вечер. Лоуренс помылся в соленом водоеме и устроился у костра аджейлей выпить с ними кофе, а они принялись рассказывать ему истории пустыни, в том числе о достоинствах своего командира и его странной уединенности.

Стремление к уединению казалось чем-то исключительным для бедуинов, всегда живших вместе. К этой откровенности жизни в пустыне оказался принужденным и Лоуренс, ни в чем не желавший отличаться от арабов. При его особенной любви к спокойствию и отстраненности, которая некогда заставила его поселиться в отдельном домике, чтобы сберечь свой мир от чужого вмешательства, а в любом обществе отделяла его от других, прилюдное существование было чрезвычайно тяжело. В этом походе ему посчастливилось жить с Назиром, но в других случаях его жизнь проходила, как на сцене, среди множества взглядов, где днем и ночью каждое движение, каждое действие были открыты окружающим. Не скрывалось ничто, в том числе и сексуальная жизнь. «Мужчины были молодыми и крепкими, и их горячие плоть и кровь независимо от воли требовали своего и мучили томительными стремлениями. Лишения и опасности еще сильнее раздували этот мужской жар, в климате столь невыносимом, насколько можно вообразить. У нас не было ни закрытых мест, чтобы побыть одним, ни плотных одежд, чтобы скрыть естество. Мужчина с мужчиной жили откровенно во всем».[1] Наряду с тяготами, оживлявшими страсть, желания могли распаляться от самой обстановки общего волнения, проявлявшегося в счастливом единении любящих, в отчаянных попытках утолить себя болью, в печальных одиночных занятиях и просто в тревоживших естество разговорах. Волна, поднявшаяся во вдохновенном порыве, была наэлектризована чувственным возбуждением. Эта активизация естественной энергии размыкала скрытые источники сил, укрепляя как физическую выносливость, так и духовную стойкость. Сексуальная энергия необратима в иные формы (идея «сублимации» нелепа), но она способна животворить, усиливая другие способ-

ности.

В том движении даже не являвшиеся гомосексуалистами познали эти мужественные отношения. «Наши юноши начали будто бы с равнодушием удовлетворять небольшие потребности друг друга в собственных чистых телах... Позднее некоторые ... уверяли, что друзья, вместе трепеща среди податливых песков в высшем объятии уютных жарких членов, находили там, в темноте, чувственный эквивалент той умственной страсти, которая сплавляла наши души и дух в одно пламенное усилие».[2] Именно в этих объятиях рождалась та сила, что позволяла преодолевать тяжести войны в пустыне.

Лоуренс предполагал, что «скорость и секретность этого успешного движения, а также его регулярность, могут быть приписаны ... гиперболе той редкой особенности, что от начала до конца в арабском движении не было ничего женского – кроме верблюдиц».[3] Для него, справедливо не любившего женщин как *таковых* и преклонявшегося перед мужественностью, эта мысль была соблазнительной. И с ней нельзя не согласиться. Присутствие женщины является оттоком как физических, так и духовных сил, теряющихся в ее размягченной сущности, тогда как в отношениях между мужчинами энергия возвращается эхом и, удваиваясь, животворит обоих. Женщина взывает к инстинкту – к гибельной плоти, тогда как мужская любовь есть дух – бытие. Циркуляция взаимно активизированной энергии была скрытой причиной успеха в восстании.

Глава LXXVII

Первая потеря в отряде. – Мечтания сирийцев. – Щедрость ховейтатов. – Холодный ужас Сирхана. – Шалости Дауда и Фарраджа. – Остановка в Нэбке. – План Незиба.

Костер весело танцевал, словно живой дух, озаряя бронзовым светом лица сидевших вокруг него людей и

создавая старинную картину кочевого уюта. Неторопливо шла беседа, и кофе был уже приготовлен, чтобы разлить по чашкам, как вдруг во мраке холмов послышался выстрел, и один из аджейлей с криком рухнул в очерченный огнем круг. Пламя тотчас потушили и в нахлынувшей слепой тьме бросились за винтовками. Открыв ответную стрельбу, быстро отбили нападение. Перестрелка прекратилась, и воцарившуюся тишину нарушали теперь только стоны умиравшего. Через полчаса стихли и они.

Как выяснилось, атаковавшие были арабами. Так на пути к свободе существовала опасность погибнуть от руки тех, для кого завоевывалось это будущее.

Ночь прошла беспокойно. Утром похоронили погибшего и поехали к северу по дну песчаной впадины. Ложбина Вади Сирхана с тревожными ночами и скверной водой угнетала все больше. Но только не Незиба и Зэки. Они вдохновенно планировали, как в этой долине будут разбиты плантации и какое наступит процветание, когда они установят арабское правительство. Сирийцы были трудолюбивыми теоретиками, но весьма нерадивыми практиками. Однажды Лоуренс заметил: «Зэки, твой верблюд весь в чесотке». – «Увы! – горестно промолвил тот. – Вечером, очень скоро, когда солнце опустится, мы намажем его мазью». Вечер прошел беззаботно. Лоуренс напомнил снова. «Ага! – загорелся Зэки. – Это подсказало мне блестящую идею», – и он начал увлеченно мечтать о том, как будет основан «ветеринарный отдел», с госпиталями, хирургами и бактериологическим отделением. Незиб его горячо поддержал, и они сообща разделили Сирию на четыре инспектората. На третий день Лоуренс снова указал на верблюда, и опять сирийцы воодушевились для мечтаний о счастливой будущности. На шестой день несчастный верблюд умер. «Это произошло оттого, что его не намазали», – подытожил спустившийся на землю Зэки.

27 мая повстречался всадник, которого поначалу тоже были готовы принять за неприятеля, однако ховейтаты вскоре признали в нем своего. Они обменялись неторопливыми, спокойными приветствиями: шум считался в пустыне в лучшем случае проявлением воспитания дур-

ного, в худшем – городского. От всадника узнали, что ховейтаты остановились лагерем от Исавийи до Небка и ждут известий от отряда. Через час отряд был в Исавийе: девятнадцатидневный переход благополучно завершился.

Ховейтаты приняли гостей со всем радушием, устроив им праздничный ужин. Наутро был собран совет, на котором заключили, что первым делом должно вознаградить Нури Шаалана, чьей милостью отряд находился в Сирхане. Его расположение было необходимо и в дальнейшем – для возможности собирать людей и готовиться к решающему удару. Ауда, состоявший с ним в дружественных отношениях, решил отправиться к нему лично, объяснить положение и передать желание Фейсала о том, чтобы Шаалан изображал лояльность к туркам, вводя их таким образом в заблуждение относительно действительных событий. Ауда уехал, а другие остались у ховейтатов как желанные гости. Вожди обещали им почетное щедрое пиршество дважды в день и, к несчастью, свое слово сдержали.

Каждое утро к лагерю подводили породистых коней для Назира, Лоуренса, Незиба и Зэки, и они в сопровождении дюжины своих пеших людей ехали к гостевому шатру, что мог вместить человек пятьдесят. Там они садились на красные ковры вдоль трех сторон, в то время как хозяин готовил угощение. Неловкую паузу ожидания занимали, показывая гостям ручного ястреба, петуха или гончую, а когда развлечения заканчивались, отвлекали их беседой, после чего предлагали кофе. Наконец, слуги вносили огромный поднос, на котором в пару посреди риса возвышалась пирамида баранины с торчавшими во все стороны ногами и ребрами. На вершине покоились головы с ниспадавшими коричневыми ушами и зиявшими челюстями, из которых белели зубы. Это смертоубийство поливали бульоном с плававшими в нем жиром, клочками мяса и обрывками шкуры. Напоследок триумфально вывешивали внутренности на разверстые челюсти и обдавали творение горячим жиром. Теперь хозяин приглашал отведать угощение. Гости изображали, как того требовали манеры, что не слышат, удивленно смотрели друг на дру-

га, подталкивая соседа локтем, чтобы тот был первым. Наконец, Назир стеснительно приступал, а за ним и все остальные. Лоуренс осторожно выуживал кусочек мяса и, остужая, ожидал, когда другие откопают рис.

Церемония поедания проходила быстро, ловко и без слов, лишь с благодарными улыбками за переданный кусок. Временами Мохаммед эль Дейлан торжественно протягивал огромную голую кость, а Лоуренс возвращал взамен какой-нибудь «отвратительный до невозможности моток кишок. Это было дерзостью, что веселила ховейтатов, но на которую Назир, грациозный и аристократичный, смотрел с неодобрением».[1] Хозяин, стоя поблизости, воодушевлял едоков благочестивыми восклицаниями. Когда все заканчивали еду, Назир многозначительно покашливал, и гости разом поднимались, благодаря хозяина. Потом следовали кофе или сиропообразный чай, и прием заканчивался.

30 мая отряд выступил в путь, вместе с ховейтатами, которые перемещали свои стада на новое пастбище. Лоуренс впервые мог наблюдать изнутри повседневность племени на переходе. Через серо-зеленую пустыню пестрым хаосом двигались люди – пешком, на конях, на верблюдах, и верблюды, нагруженные сложенными шатрами, шестами, тюками. Для отряда, жившего три недели в напряжении и тревоге, эта совместность принесла расслабление и ободрение. Самые живые стали безудержными. «Первыми между ними были, конечно, Фаррадж и Дауд, два моих чертенка, чей дух не усмирили ни на миг никакие лишения нашей дороги. Вокруг тех мест, где они ехали в нашей линии марша, сосредотачивались два постоянных завихрения активности – или же происшествий, смотря по тому, какое выражение находила их неугасимая шаловливость».[2]

В том году Сирхан кишел змеями. Они плавали в водоемах, скручивались по их краям и пару раз с шипением выбрасывались в освещенный костром круг. По ночам они заползали под одеяла, поэтому следовало вставать очень осторожно и затем шарить палкой вокруг остальных. Ночные передвижения стали опасными, а при

ходьбе приходилось проверять землю палкой. Каждый день убивали до двадцати змей. Однако, несмотря на все предосторожности, укусов избежать не удалось. Из семи пострадавших трое умерли. Казалось, вся почва шевелится змеями, и это создавало непрерывное напряжение, которого, в конце концов, не выдержали даже самые стойкие из отряда и начали опасаться прикоснуться к земле. Для Лоуренса же, панически боявшегося всяких рептилий, Сирхан стал местом моральной пытки.

Только Дауд с Фарраджем были неустрашимы и среди этого холодом ползшего ужаса нашли новую забаву. Желая испугать других, они кричали «Змея!» и яростно стегали всякую подходящую ветку или корень. Лоуренсу это быстро надоело, и он строго-настрого запретил им поднимать напрасную тревогу. Чертенята повиновались, и наступил относительный мир. Как-то раз Лоуренс сидел в глубокой задумчивости, когда вдруг заметил, что мальчишки улыбаются и подталкивают локтями друг друга. Он проследил за их взглядом и увидел под соседним кустом свернувшуюся змею, готовую броситься на него. Лоуренс быстро перебрался к Назиру и крикнул одному из своих людей, чтобы тот убил змею. Что же до проказников, то им он пообещал шесть ударов розгами, чтобы впредь они не воспринимали его слов столь буквально. Назир, дремавший рядом, тотчас проснулся и с радостью попросил добавить шесть и от него. Его примеру последовал Незиб, и Зэки, и Ибн Дейтир, и вот уже половина отряда требовала отмщения. Наказание стало слишком большим, и Лоуренс отменил его. Вместо этого провинившимся поручили помогать женщинам носить воду, и этому «унижению» они подвергались в течение двух дней.

Ховейтаты, между тем, продолжали потчевать несчастных гостей. В конце концов, не выдержал Незиб и, укрывшись в шатре Назира, с удовольствием вернулся к черствому хлебу. Зэки, испытывавший недомогание всю дорогу, разболелся окончательно. Теперь честь приема выпадала только на долю Назира и Лоуренса, любителей простоты в быту, которые и продолжали смиренно посещать ховейтатов, захватывая с собой аджейлей. Хозяева

столь радостно проявляли гостеприимство, что было неловко лишать их этого удовольствия.

Через пару дней отряд покинул зловещий Сирхан и по дороге встретил Ауду, возвращавшегося с охраной из всадников руалла. Его миссия завершилась удачно. Сопровождавшие принесли Назиру присягу на верность.

По мере продвижения на северо-запад был достигнут Нэбк, выбранный как исходный пункт для атаки на Акабу, которая находилась в трехстах пятидесяти километрах к юго-западу. Здесь Назир и Ауда занялись составлением плана атаки на Акабу, тогда как Лоуренс, Нэзиб и Зэки оказались без дела. Оживленная атмосфера и призрачные возможности разожгли беспокойное воображение сирийцев, и Нэзиб начал обдумывать взятие Дамаска при помощи людей Шаалана и друзов. Лоуренс тщетно пытался объяснить, что в случае провала они оказались бы во власти турок, отрезанные как от Фейсала, бывшего еще в Вэджхе, так и от англичан, отчаянно старавшихся занять Газу. Но даже если бы предприятию сопутствовала удача, оказалось бы невозможным удержать Дамаск, окруженный еще сильным неприятелем, без помощи английских войск. Потерять же город означало бы лишиться поддержки своих сторонников. Таким образом, наступление оказалось бы подобным броску в паутину.

Акаба являлась необходимым этапом на пути к победе. Во-первых, ее взятие расширило бы арабский фронт и, соответственно, заставило бы турок использовать бóльшие силы для ведения военных действий, в которых их сковала бы неопределенность противника. Во-вторых, оно позволило бы соединиться с британскими войсками, став их правым флангом: так оказалась бы обеспечена материальная поддержка, в чем и заключалась польза союзничества. До тех пор, пока арабы оставались неясной тенью в песках пустыни, практичные англичане воспринимали их только как иллюзию. «Материализация» союзника заставила бы оказывать ему помощь.

Доводы здравого смысла не подействовали на Нэзиба, и Лоуренс решил помешать ему, рассорив с ним Ауду и Назира. Ауде он сказал, что при исполнении этой затеи

всю выгоду получит Шаалан. С благорасположенным к Лоуренсу Назиром понимание было достигнуто еще быстрее. Но упорный Незиб не был обескуражен и этим. Он взял Зэки и собрался к друзам поднимать свое собственное восстание. Лоуренс беспрепятственно забрал у него выданные Фейсалом деньги, дав в ответ на просьбу обещание посодействовать в случае успеха, и тот уехал.

Глава LXXVIII

Место Лоуренса в восстании и его отношение к этому. – «Исчезновение» Лоуренса в июне 1917 года.

Между тем, дух Лоуренса был подавлен до предела. Он знал о ложных основаниях, на которых выстраивалось восстание, и, представляя перед арабами англичан, фактически являлся проводником лжи. Эта позиция негласного представителя создалась постепенно, по мере того, как арабы, доверявшие больше человеку, чем институциям, убеждались в дружественности Лоуренса и его жертвенной готовности сражаться за их свободу.

В Хиджазе его совесть была утешена признанием, которое он сделал Фейсалу, рассказав, насколько шаткими являлись основы восстания. Теперь же, на подступах к Сирии, где влияние шерифов было ничтожным, а Англия имела значение, Лоуренс уже не мог укрыться в тени Фейсала и неизбежно выдвигался на первое место как английский агент со всей сопутствующей ответственностью (читатель, конечно, помнит, насколько тот гнушался какой бы то ни было ответственности вообще). Таким образом, позиция «лжеца» становилась официальной. Единственное, что могло несколько успокаивать его, это полный отказ от любого вознаграждения за свое участие в движении. Уже говорилось, каким было его отношение к наградам и почестям, теперь же оно стало возможностью духовного самосохранения: ибо принять означало бы

продать собственную душу, и без того опустошенную осознанием обессмысленности своего нечеловеческого усилия.

«Не будучи полным дураком, я мог видеть, что, если мы победим в войне, обещания, данные арабам, окажутся мертвой бумагой. Если бы я был честным советником, то отправил бы своих людей домой и не позволил бы им рисковать своей жизнью ради подобной вещи».[1] Но в опрометчивости, присущей надежде, он поклялся себе довести восстание до победы, чтобы само положение вещей в конце заставило союзников выполнить требования арабов. Он рассчитывал, что сможет выиграть решающее сражение, победив в правительстве собственную страну и ее союзника («нескромные предположения»,[2] – замечал он). Эти расчеты были более, чем нескромными – безрассудными. Удивления достойно то, что столь знающий и проницательный человек мог настолько переоценить свои силы и сохранять веру в спасительную каплю честности политиков. Только молодые и кристально чистые люди могут обладать такой долей наивности, что длится сквозь все здравомыслие, понимание и отчаяние, словно подсознательный отказ примириться с непоправимостью мира. К тому же Лоуренса вел страстный порыв его основного мотива: ради Дахума он мог, как ему казалось, сделать все.

«[Этот мотив] я осознавал, думаю, каждый час в продолжении тех двух лет. Страдания и радости могли появляться посреди моих дней, словно башни, но это скрытое побуждение, текучее, как воздух, только видоизменялось, оставаясь настойчивой частью жизни почти до самого конца»[3]. Оно стало жизненным током Лоуренса, подчинив себе его душу в упоении осуществления, сравнимом с творческим подъемом. В момент создания стихотворения поэт искренне верит, что оно что-то изменит в мире: именно это бессознательное убеждение помогает писать стихи. То же чувство испытывал Лоуренс, и оно не могло пройти до тех пор, пока идея не оказалась осуществлена – и профанирована миром.

По пути из Вэджха Лоуренс наблюдал юношескую

любовь, упорно напоминавшую ему о его собственном, прерванном, братстве. Любовь к Дахуму могла уходить вглубь перед новым увлечением – неизбежностью затянувшегося отлучения, но она никогда не покидала его и длилась обертоном его бытия. Видя счастье других и обладая только иллюзорной радостью минуты, он – всегда так нуждавшийся в глубокой, неразрывной привязанности – должен был чувствовать горечь одиночества, оживлявшую воспоминания о Дахуме и тоску по нему. Дахум был смыслом его участия в арабском восстания – его собственным смыслом восстания, и «ложь» перед арабами была в его глазах прежде всего ложью перед Дахумом. «Обманывая» его народ, он обманывал своего названого брата, оскверняя их любовь.

Временная праздность в Нэбке предоставила Лоуренсу свободу распоряжаться самим собой, чего не было прежде и не могло быть после занятия Акабы, и в этом он увидел неожиданную удачную возможность разрядить свое крайнее напряжение. «Поеду на север и кончу это», – записал он в дневнике и 3 июня в одиночку устремился вглубь Сирии.

Нервным срывом была эта поездка. Лоуренс не рассказывал о ней. В «Семи столпах» – пропуск: уехал – вернулся. Знакомым после войны – ничего. Клейтону после взятия Акабы – формальный отчет. «В своем докладе Клейтону, – рассказывал он позднее Грэйвсу, – ... я представил краткий отчет о своей экскурсии от Нэбка на север. Это было частью правды. Во время [поездки] произошли некоторые вещи, и я не хочу, чтобы вся история была прослежена», – чужими глазами. Его молчание дало повод для выдвижения самых нелепых предположений. Любители тайн делают из Лоуренса загадку и, играя в детективов или психоаналитиков, увлеченно разгадывают ее, чтобы потом явить не знающему Лоуренса читателю историю собственного сочинения.

О своей цели Лоуренс пишет в главе XLVIII «Столпов»: «Еще один взгляд на Сирию позволил бы привести в порядок стратегические идеи, почерпнутые мною из истории Крестовых походов и первого арабского завоевания, и

приспособить их к двум новым факторам – железным дорогам и Мюррею в Синае». Если бы его целью действительно являлась разведка, не было бы необходимости замалчивать эту поездку в книге, утаивать от английских знакомых и скрывать от своего начальника.

Само его молчание является ясным намеком: и в книге, и в жизни он бережно таил то, что касалось Дахума. Вторым ключиком является одно слово из той же главы: свое действие, как и мотив, он называет «*неоправдываемым*» («unjustifiable»). Неоправдываемым для военного может быть только личное. Таким образом, не может быть сомнений, что целью поездки являлась встреча с Дахумом. Возросшая тоска, соединившись с гнетущим чувством вины, не позволяла дольше переносить разлуку. Лоуренс желал узнать, что́ с его любимым, и, вероятно, рассказав о своем положении, попросить прощения за свою «ложь».

Так же неудержимо он бросился в Кархемиш в начале войны. С тех пор три года протянулись в неведении, и он боялся узнать худшее. Если бы его опасения подтвердились, это оказалось бы для него гибелью. Гибелью в прямом смысле слова.

Перед отъездом Лоуренс оставил в своем дневнике записку для Клейтона, которая так и не была отправлена: «Клейтон. Я решил уехать один к Дамаску, надеясь быть убитым по пути. Ради всего святого, попытайся исправить это зрелище прежде, чем оно пойдет дальше. Мы призываем их сражаться за нас на ложных основаниях, и я не могу выносить это». В оксфордской версии «Столпов» он повторяет ту же идею несчастного случая: «Телесное ранение стало бы приятной отдушиной для моих внутренних сложностей, устьем, через которое мои беспокойства нашли бы выход». Он надеялся встретить пулю, если бы узнал, что Дахума нет, ибо в таком случае смысл участвовать в восстании оказался бы потерян, и не осталось бы сил просто жить: в одиночестве нет жизни.

Встреча с Дахумом состоялась. Прямое указание на это можно найти в «Посвящении», предваряющем «Семь столпов». После рассказа о причине и пути восстания, а также исходе любовной истории Лоуренс пишет:

Любовь, *утомившись в пути*, приникла к твоему телу –
нашей недолгой награде,
нашей на миг... –

после чего описывает конец восстания. Очевидно, что здесь говорится не о слиянии в счастливые дни Кархемиша: тогда не было никакого утомительного пути ни в прямом, ни в переносном смысле, но еще более красноречиво то, что этот эпизод вставлен в стихотворении в иные хронологические рамки со значением «Наша история закончилась так, но мы успели прильнуть друг к другу». Краткость последнего единения – вот, что передает это место. Любовь (Лоуренс, ведущий «волны людские» во имя возлюбленного) в случайном блаженном порыве жадно приникла на один украденный миг к телу любимого, что было единственной достойной наградой для нее.

Эта вылазка Лоуренса являлась рискованным предприятием. Так, на обратном пути он с двумя арабами остановился у одного шейха близ селения Зиза. Их приняли со всем радушием, щедро угостили, выдали на ночь самые богатые одеяла. Через час-два Лоуренса разбудил брат хозяина и прошептал, что тот послал в Зизу за войсками, чтобы схватить Лоуренса. Он помог Лоуренсу и его спутникам незаметно выбраться из шатра, проводил их на безопасное расстояние и указал направление по звездам, так что они благополучно достигли Баира – гассанидских колодцев и развалин в сорока милях к востоку от хиджазской железной дороги. Велика вероятность того, что этими спутниками были Дахум с Хамуди. Во-первых, если бы то были местные проводники, они сами знали бы дорогу, без чьего-либо указания. А во-вторых, Дахум, прежде всегда сопровождавший Лоуренса, едва ли мог отпустить его одного теперь, в тревожной обстановке. К тому же сопровождение давало возможность дольше побыть с ним.

Лоуренс вернулся 16 июня, испытывая большое облегчение, – что оказывается еще одним подтверждением удачной поездки. Он шутил с арабами, видел закат «восхитительно алым», «свежесть приключения» (восстания) укрепляла его в телесной усталости так же, как и других.

Он снова жил: значит, жил Дахум. Лоуренс узнал это, сказал ему то, что должен был сказать, приник к его полузабытой сладости и теперь надеялся на благополучный исход войны и свою окончательную победу, что должна была принести свободу его любимому.

Когда-то Томас возблагодарит самого себя за тот отчаянный порыв к родной теплоте...

Глава LXXIX

Веселость. – Счастье далекое и близкое. – Доверие Ауды к Лоуренсу. – В Баире. – Планы продвижения на Акабу. – Вылазка к Минифиру. – Отказ от выгодного нападения. – Забота о пленном турке. – Восстановление колодца в Эль Джефере. – Очередная диверсия. – Неприятные известия.

Все деньги были истрачены, все овцы ховейтатов съедены, усталые верблюды заменены: ничто не мешало выступать на Акабу. Накануне похода Ауда устроил пиршество, превзошедшее в своем преизбыточествии все предыдущие угощения. Насытившись, весь отряд устроился под звездами вокруг костра, в то время как Ауда рассказывал истории, большею частью своего изобретения. К Лоуренсу после его поездки вернулся прежний озорной дух, и, когда Ауда замолчал, он ловко спародировал его своеобразный эпический стиль, жесты, интонацию, эмфазы и паузы в повторении его известного рассказа о набеге на базар в Вэджхе – истории, полной детальных описаний дороги, встречных, верблюдов, ослов, земли, впечатление от которой состояло в том, что она, заставляя слушателей затаить дыхание, заканчивалась ничем. Для Ауды и остальных арабов пародия была неизвестным жанром, и, когда Лоуренс закончил свое удачное повторение, все безудержно смеялись – и больше всех Ауда, любивший шутки над собой.

В одиннадцать часов утра 19 июня отряд, состоявший теперь более чем из пятисот человек, выступил к Баиру.

Там предполагали остановиться на несколько дней и запастись мукой. На вечернем привале Лоуренс, Назир, Ауда, Заал и Мохаммед эль Дейлан, расположившись вокруг уютных углей догоравшего костра, предались мирной беседе о предметах, весьма далеких от войны. «Назир лег на спину с моим биноклем и начал изучать звезды, громко называя одно созвездие за другим и восклицая с удивлением, когда открывал маленькие огни, невидимые прежде его невооруженным глазом. Ауда завел разговор о больших телескопах и о том, как человек за триста лет так продвинулся от своих первых попыток, что теперь он строит бинокли столь же большие, как шатры, и сквозь них считает тысячи неведомых звезд. “А звезды – что это?” – и мы перешли к беседе о солнцах за солнцами, размерах и расстояниях вне постижимого. “И что будет с этим знанием?” – спросил Мохаммед. “Мы соберемся вместе, и многие ученые и умные люди сделают бинокли настолько же сильнее наших, насколько наши сильнее, чем Галилея, и сотни астрономов различат и посчитают тысячи ныне невидимых звезд, занося их на карту и давая каждой название. Когда мы увидим их все, больше не будет ночи в небесах.” “Почему люди Запада всегда хотят всего? – подстрекающе произнес Ауда. – За нашими немногими звездами мы можем видеть Бога, Которого нет за вашими миллионами.” “Мы хотим узнать, где заканчивается мир, Ауда.” “Но это принадлежит Богу,” – возразил Заал почти сердито. Мохаммед не хотел покидать свой предмет. “Есть ли люди в тех больших мирах?” – спросил он. “Бог знает.” “И в каждом есть Пророк, и рай, и ад?” Тут вмешался Ауда: “Ребята, мы знаем наши округа, наших верблюдов, наших женщин. Все остальное и слава – для Бога. Если вершиной вашей мудрости является добавление звезды к звезде, то наша глупость приятнее”».[1]

Утром они достигли низины между Шайнаратом на юге и Тлайтукватом – тремя конусообразными горами – на севере. Вскоре открылось Вади Баир, полное зеленой травы. Ауда заторопился к Баиру, чтобы посетить могилу своего сына Аннада, погибшего в схватке с пятью людьми, устроившими ему засаду. Он предложил Лоуренсу поехать

с ним, чтобы тот присутствовал при оплакивании. Человечность Лоуренса и теплота, проницавшая его чуткое существо, вызывали желание поделиться с ним своим горем и обрести утешение в его понимании.

Приблизившись, они, к своему изумлению, увидели, что от колодцев поднимается дым. Резко изменив направление, они осторожно приблизились к руинам. Три колодца были разрушены динамитом, и только один оставался целым. Это вызвало опасение, что колодцы могут быть разрушены и в Эль Джефере, к востоку от Маана, где предполагалось сделать следующую остановку. После того, как один из колодцев был восстановлен, здесь остались на неделю, ожидая возвращения разведчика из Джефера и каравана с мукой из Тафиле, а также узнавая умонастроения племен, проживавших между Мааном и Акабой.

Помощь этих племен была необходима для осуществления плана, заключавшегося в том, чтобы, выступив из Джефера, пересечь железную дорогу к югу от Маана и захватить Аба эль Лиссан – блогкауз в шестнадцати милях от Маана. Взятие его отрезало бы турецкие посты, расположенные на пути в Акабу, которые из-за голода должны были сдаться. При этом турецкие силы, дислоцированные в Маане, следовало держать в неведении о присутствии противника. Туркам было известно о марше на Сирхан, и разрушение колодцев Баира (и Джефера, как доложили разведчики) подтверждало об их готовности дать отпор. Лоуренс снова полагался на неизбывное тугодумие турок. «Не было меры для глупости турецкой армии, и это обстоятельство помогало нам вновь и вновь, равно как и вредило постоянно, ибо мы не могли не презирать их за это (арабы являются расой с необычной быстротой мышления, что и переоценивают), а армия страдает, когда не может уважать противника».[2]

Было решено провести отвлекающий маневр для уверения турок в том, что цель арабов находится ближе к Дамаску. В осуществлении этого помогали невольное содействие Незиба с его идеей о взятии Дамаска, о чем противнику стало известно, и документы со схемой наступления на Халеб через Тадмор, составленные Ньюкомбом и наме-

ренно оброненные им. Для большей убедительности Лоуренс решил совершить набег на железную дорогу близ Дераа.

С отрядом в сто десять человек он выехал к Дулейлу, где находился подходящий для разрушения мост. Достигнув цели на второй день после форсированного перехода, Лоуренс и Заал отправились в сумерках взглянуть на мост. Как оказалось, он ремонтировался, и разрушать его не было смысла. Тогда они решили ехать к Минифиру, рассчитывая подорвать там поезд.

Добравшись, они заняли позицию на вершине кряжа, откуда открывался широкий обзор на линию и поля за нею. Обозревая местность, Лоуренс заметил, что по направлению к кряжу движется турецкий отряд на мулах. Спустившись, он созвал остальных, и они незаметно ускользнули за отдаленные холмы, откуда перебрались к холму неподалеку от дороги. Напротив, на возвышенности, были раскинуты шатры крестьян. К ним отправили посланцев передать, чтобы те молчали. По возвращении посланники принесли хлеб, что было роскошью после поджаренного зерна последних дней, которое жевали почти сырым, не имея лишней возможности тщательно готовить пищу. Лоуренсу подобное пропитание было не по зубам, и он вынужденно постился.

Ночью Лоуренс и Заал заложили мину и отправились спать. За ночь взрыв так и не произошел, и на рассвете Лоуренс переложил мину. Весь день прошел в ожидании на холме. Наконец, несколько арабов, что-то завидев, бросились вниз. Спустя полчаса они вернулись, ведя двух турецких дезертиров из колонны, прошедшей накануне. Один был тяжелораненым и умер в тот же день. Второй тоже был ранен, но не столь серьезно. Ему отдали последние хлеб и воду и пытались, как могли, облегчить его участь.

К вечеру вновь появился турецкий отряд примерно в двести человек. Он проходил как раз под холмом, и арабы жаждали его атаковать, надеясь захватить и пленных, и мулов. Лоуренс спросил Заала, сколько убитых среди арабов может быть. Тот ответил, что пять-шесть, и Лоуренс

решил воздержаться от нападения, чтобы избежать жертв. К тому же арабы могли впоследствии скрыться с добычей, сорвав план взятия Акабы.

Ожидаемый поезд так и не появился. С наступлением темноты линию подорвали, заложили мину для ремонтного поезда и уехали, мрачные после упущенного маленького триумфа и неудачи на железной дороге. Пленного турка оставили на вершине холма, ибо ехать он не мог. Боясь, чтобы он не умер от голода, прикрепили на телеграфный столб записку на французском и немецком, сообщавшую, где тот находится и что он был захвачен в плен раненым после боя. «Мы надеялись, что это спасет его от тех наказаний, которые турки налагали на дезертиров, или от участи быть застреленным, если бы они решили, что он был в сговоре с нами. Но, когда мы вернулись в Минифир через шесть месяцев, голые кости двух тел был рассеяны на месте нашей прежней стоянки. Мы всегда жалели рядовых турецкой армии. Офицеры же, для которых служба была добровольной и являлась профессией, начали войну из своих амбиций – почти что из самого факта своего существования, – и мы хотели, чтобы они могли не просто получить по заслугам, но перенести все то, что новобранцы были вынуждены терпеть по их вине».[3]

Отряд направился к югу, пересекая хорду Амманского поворота железной дороги, пока не достиг маленькой станции. Там на глаза попался турецкий солдат, гнавший стадо овец. Для арабов это оказалось непреодолимым соблазном. Они напали на станцию и часть из них, пользуясь возникшей среди турок паникой, смогла отогнать овец за холмы, тогда как остальные подожгли станцию, разобрали рельсы, срезали проводы и ушли без единой потери. Отойдя на несколько миль, отряд расположился для пиршества жареной бараниной, используя за неимением ножей кремневые осколки.

На рассвете вернулись в Баир. Здесь узнали, что Назир получил необходимые запасы муки и заручился поддержкой еще трех кланов ховейтата. Кроме того, пришло известие от Шаалана о том, что в поиски за ними турки отпра-

вили отряд в четыреста человек, который проводники водили самыми длинными дорогами.

28 июня выступили из Баира в Эль Джефер и прибыли туда на следующий день. Так как колодцы тоже были разрушены, а следующий источник находился за пятьдесят миль, решили восстановить один из них. Первыми вызвались для работы некоторые из аджейлей, а потом им в помощники обратили и других подходящих людей. Они весь день трудились под палящим солнцем, и к вечеру шурф колодца был расчищен. От падавших в него кусков грязи слышался далекий плеск воды. Вскоре донесся всплеск еще более явственный, когда туда с воплем и грохотом обрушившихся камней провалился один из аджейлей. Сотоварищи бросились на шум и, посветив факелом, увидели, как бедняга барахтается на дне глубокого шурфа, расширявшегося книзу. Каждый посмеялся на него и только затем его вытащили, мокрого и сердитого, но ничуть не пострадавшего.

В Джефере задержались, ожидая, смогут ли местные арабы, как было условлено ранее, захватить блокгауз в Фувейле, что прикрывал подход к Аба эль-Лиссану. В праздности ожидания Лоуренс лениво полеживал под кустами у колодца, завесив лицо широким рукавом с той руки, которую подложил под щеку, тогда как Ауда рассказывал свои истории. Наконец, Лоуренс с улыбкой заметил, что тот говорит слишком много, а делает слишком мало, и Ауда облизнулся в предвкушении предстоявших действий.

1 июля было получено известие, что блокгауз взят, и отряд выступил на Гадир эль Хадж – первую станцию к югу от Маана, расположенную на пути к Аба эль Лиссан. Там разрушили десять мостов и часть железной дороги, чтобы заставить гарнизон Маана направиться к югу, а не к юго-западу, в Аба эль Лиссан. А на вечернем привале узнали, что в Аба эль Лиссане появилась турецкая колонна. Это означало, что дорога на Акабу была перекрыта.

Как выяснилось впоследствии, ее появление было совершенно случайным: батальон, только что прибывший в Маан для смены, уже выстраивался во дворе станции,

чтобы отправиться в казармы, когда стало известно о нападении арабов на блокгауз Фувейлы. Они тотчас выступили на помощь, как предполагалось, осажденному посту. По прибытии они обнаружили лишь развалины, над которыми медленно кружили ястребы. Колонна отошла к колодцам Аба эль Лиссана и встала там лагерем.

Глава LXXX

Первый бой Лоуренса, 2 июля 1917 года: На Аба эль Лиссан. – Перестрелка на жаре. – «Тепловой удар». – В атаку. – Полет Лоуренса. – Стихи посреди битвы. – Причина полета. – Итоги сражения. – Страх Ауды. – На поле мертвецов.

Бой был неизбежен: колонна преграждала дорогу на Акабу. Поэтому арабы без промедления оседлали верблюдов и направились к Аба эль Лиссану, доедая горячий хлеб, смешивавшийся с дорожной пылью. Путь лежал через холмы, поросшие полынью, которая, будучи попираема верблюдами, издавала пронзительный горький аромат, наполнявший бездыханное вечернее пространство.

Отряд ехал всю ночь и на рассвете достиг холмов, разделявших Батру и Аба эль Лиссан. К западу расстилалась зеленая с золотом равнина Гувейры, за которой тянулись бурой полосой горы, скрывавшие Акабу, а в низлежащей долине мирно спали те самые турки. Арабы открыли по ним стрельбу, вызывая их на бой, в то время как Заал с несколькими людьми отправился перерезать телеграфные и телефонные провода, что вели к Маану.

Перестрелка продолжалась весь день – столь жаркий, что даже некоторые из самых выносливых арабов теряли сознание под ударами неистового солнца. Арабы постоянно перемещались, стреляя то с одной позиции, то с дру-

гой, чтобы лишить турок цели и заставить понапрасну тратить патроны. Передвижения были подобны изощренной пытке: в удушье зноя, по режущему известняку горячих скал, через длинные тугие травы, опутывавшие ноги, будто силки. К вечеру за многими стали тянуться кровавые следы. Ружья раскалялись от стрельбы и солнца так, что обжигали руки, а камни, служившие брустверами, опаляли руки и грудь, и позднее кожа спадала лохмотьями. В довершение не хватало воды.

После полудня Лоуренс получил тепловой удар – «или сделал вид, что получил».[1] Смертельная усталость изнурила его, и он, больше не беспокоясь о том, как пойдет дело, уполз в тень маленькой ложбинки. Там сквозь скалы слабо сочилась вода, и он, пользуясь рукавом как фильтром, пытался утолить жажду. Вскоре в его убежище забрался запыхавшийся Назир. Спустя некоторое время перед ними возник разгоряченный боем Ауда и, усмехаясь на них, спросил у Лоуренса: «Ну, и как работают ховейтаты? Один разговор и никакого дела?» Тот, злой от усталости, ответил: «Конечно. Стреляют много, а попадают мало». Рассерженный Ауда сорвал головное покрывало, швырнул в сторону Лоуренса и помчался обратно, созывая своих людей. Через мгновение ховейтаты собрались вокруг него, а затем рассеялись к своим верблюдам. Лоуренс, боясь за исход их опрометчивости, выкарабкался на вершину холма, где стоял Ауда, взирая на противника. «Седлай своего верблюда, если хочешь посмотреть, как работает старик», – только и сказал тот Лоуренсу.

Пока Лоуренс и Назир добирались до своих верблюдов, оставленных в отдалении, Ауда с пятьюдесятью всадниками уже исчез. Лоуренс с Назиром выехали к краю утеса и увидели, как те неслись галопом вниз по склону, стреляя в турок, только что построившихся, чтобы про-

биться обратно в Маан, – пока не обрушились на колонну. Тогда Назир крикнул Лоуренсу «Вперед!», и они с четырьмя сотнями всадников устремились вниз в сторону головной части бегущего противника. Неприятель, приведенный в смятение внезапным налетом Ауды, не замечал новой лавины, несшейся на него с высоты отвесного холма.

Лоуренс был на скаковом верблюде, так что быстро обогнал остальных и летел в одиночку на вопящих турок, которые пытались от него отстреляться. Словно маленькое средоточие великой бури, он врезался в их смешанные ряды, вдохновенно паля из револьвера, как вдруг его натиск оборвался. Верблюд рухнул, а Лоуренс, выброшенный из седла, будто камень из пращи, «важно пролетел по воздуху немалое расстояние и звучно приземлился»,[2] лишившись всех сил и чувств. После неистовства неудержимого вихря атаки для него наступил мир полуконтуженности. Он лежал беспомощный, как опрокинутая на спинку букашка, ожидая быть так же раздавленным, и... продолжал вспоминать стихи, вызванные в памяти ритмом полета с холма:

Прежде чем свет мой угаснет навеки, если Всевышний позволит
мне выбрать,
Я не стану молить ни о долгих днях жизни, ни о славе
блаженной грядущих веков,
Но только воскликну: «Один день изо всех возврати и позволь
мне еще раз увидеть
Одно из всех лиц и еще раз к нему прикоснуться, – и более
ничего.

Все цветы Твои были передо мной, но я выбрал мира печальные
розы,
И оттого мои ноги в крови, а глаза ослепляет катящийся пот.
Но, когда завершится бессветная жизнь, на Твоем судилище

грозном
Я буду готов пожать, что посеял, и заплатить весь свой
праведный долг.

Но будь милосерден и отбрось же на миг мучительных лет
пелену!
Прежде чем упадет последняя капля, и оборвется серебристая
нить, –
Верни мне один из прожитых часов и позволь мне снова
взглянуть
В его ясный и ласковый лик и слезами любви его ноги омыть».

Его чуткие руки утешат меня, и волосы скроют, на мое ниспадая
лицо,
Вне пределов той гибельной ночи, где таится неведомый страх.
Моим светом последним те глаза станут, когда спустится солнце
за горизонт,
Его голоса чистые звуки последними будут пред схожденьем во
мрак.

Прежде чем вод неизбежная сила сойдет на жизнь мою в
одночасье,
И Твой гнев меня сломит, как беспечный ребенок срывает
цветок, –
Я буду молить Тебя и в аду, когда буду в огне разрываем на
части,
О кратком блаженстве одного только часа и о взгляде
прощальном на одно лишь лицо.[3]

Лоуренс искал выражения своих мыслей в чужих строках и, обретя, проживал их, так что они возвращались в первоначальное состояние того неопределенного внутреннего звучания, которое является предвестником стихотворения – и настоящим стихотворением, ибо высказанное есть лишь подобие звучащего: сила только в несказанном слове-состоянии. И так же, как поэт может писать почти в

любых условиях, ибо для него естественно сознавать мир сквозь слово, так же и Лоуренс мог вспоминать стихи при любых обстоятельствах: это можно назвать обратным творчеством. Именно в таком прочтении – осуществление поэта, потому что написанная вещь не завершена до тех пор, пока не будет воспринята: творчество есть диалог.

Благодаря читательскому дарованию Лоуренса то, что напряженно пульсировало в нем неотступной мыслью, в критическую минуту могло сосредоточиться в выражавших его умонастроение строках. В военные годы он был «сужен на единой мысли» – встрече с Дахумом. Увидеть его – и больше не нужно ничего, ибо все ничтожно в сравнении с любимым существом, и никакие блага не превзойдут драгоценность братства. Не видеть – словно быть слепым, увидеть – как прозреть. «Господи, позволь увидеть еще раз!» – так билось само его сердце. Желание воссоединения стало его самосознанием, привычным состоянием, отобразившимся в стихотворении, звучавшем в нем, будто молитва.

... Между тем, другая часть разума Лоуренса воображала, как от него останется только мокрое место после того, как по нему промчатся верблюды. Но стихотворение было завершено вместе с боем, и никто не ступил на маленькое тельце, покоившееся в пыли. Лоуренс, окончательно придя в себя, привстал и увидел, что перед ним лежит труп его верблюда, в затылке которого виднеется след от пули, выпущенной им (пятой пули, как уточняет он в своей книге, вызывая удивление тем, что в неистовстве своего налета он еще мог считать свои выстрелы). Этот труп разделил лавину всадников на два потока, и таким образом Лоуренс был спасен.

Вскоре к нему подошли Назир и Мохаммед эль Дейлан с новым верблюдом. Потом появился Ауда, опьяненный успехом. Его одежда, бинокль, кобура и ножны были про-

стрелены, лошадь под ним убита, а его самого и не поцарапало. Позднее он по секрету рассказал Лоуренсу, что тринадцать лет назад купил Коран-амулет и с тех пор никогда не бывал ранен.

В итоге этого сражения сто шестьдесят турок были захвачены в плен, триста убиты и только немногим удалось скрыться. Из арабов погибли двое. В Маане, когда поступили известия о разгроме батальона, началась паника.

Ауда настаивал на переходе в другое место, так как боялся мертвецов, рассеянных вокруг, а также опасался, что турки направят сюда новые силы или другие кланы ховейтата нападут ночью. Поэтому отряд стал готовиться к выступлению. Бóльшая часть пленных должна была идти, потому что одни верблюды были ранены, другие слишком утомлены. Лишь некоторые ехали позади арабов на их верблюдах. Около двадцати пленных, которые были не в состоянии передвигаться, оставили у ручья. Пока Назир отыскивал для них одеяла, Лоуренс отправился на поле боя посмотреть для них что-нибудь из одежды. Там он увидел, что искать нечего: арабы уже обобрали мертвецов до нитки, так как для них являлось частью славы носить одежду побежденного врага.

Лоуренс, не узнавая собственной жизни, одиноко бродил в затихшей долине, словно зачарованный фантасмагорией смерти, и вглядывался в нечеловеческое лицо триумфа. Роса сверкала на черной полыни, как отсветы морской фосфоресценции у Сен-Мишеля, где вычерченный луною монастырь словно парил в надмирной высоте; а тела белели пеной прибоя. «Мертвые выглядели удивительно красивыми. Ночь тихо сияла с небес, придавая им мягкий оттенок новой слоновой кости. Турки были белокожими на закрытых частях – гораздо белее, чем арабы, а эти солдаты к тому же были очень молоды. Их окружала темная

полынь, тяжелая от капель росы, в которых лучи лунного света искрились, как морские брызги. Тела казались жалко брошенными на землю, сваленными как придется в небольшие кучи. Конечно же, если их распрямить, им станет, наконец, удобно... Так что я разложил их всех по порядку, одного за другим, очень устал и желал быть одним из этих безмятежных мертвецов и не принадлежать к беспокойной, шумной, жадной толпе на вершине, споривший над добычей, хваставшейся своей скоростью и силой выдерживать Бог знает сколько тягот и страданий такого рода, – в то время, как смерть (независимо оттого, победим мы или нет) ждет, чтобы завершить эту историю».[4]

Лоуренс обладал редкостной сострадательностью. «Сердце человека не должно болеть, верил он, и делал для этого все, что мог». Даже, когда оно больше не билось и душа была уже не здесь, он сострадал – и, может быть, еще сильнее, отчаяннее, если это сердце замолчало в боли. «С каждым страдающим страдает Христос», – и Его истинный последователь, ибо нет чужого страдания – есть собственная глухота. Блаженны слышащие и спасены услышанные, если они живы.

Те мертвые были теперь не ненавистными турками-угнетателями, не врагами, но *людьми,* принявшими свою смерть в мучениях. И на затихшем (и оттого еще более страшном) поле боя, где капли росы блестели, как слезы, та боль словно продолжалась – кроткой мягкостью лунного света, сиянием капель, полынной горечью и, особенно, позами – неловкими, болезненными, как застывшая агония. Жутким рельефом человеческого страдания на мертвой земле лежали они, и длилась боль, как тишина замолчавших сердец, смешиваясь в сердце Лоуренса с его нараставшей усталостью от обессмысленного усилия. Победа ли впереди или поражение – имеет ли это решающее значение в «дурной бесконечности Истории», в бесконеч-

ности ненависти и страдания? История – нанесение Каинова удара, а мыслящие единицы, пытающиеся отклонить ось боли, гибнут от собственного усилия. И может ли жизнь одних быть куплена смертью других?

Мучительно живым ощущал себя Лоуренс среди успокоения погибших. Жизнь чувствовалась лишь как пронзительная боль, а остановившееся бытие казалось призрачным, как голубой свет луны в этой долине смерти. И он укладывал и укладывал мертвецов, движимый безысходным состраданием, усиленным до крайности потрясением его необычайно чувствительной – все чувствующей! – души. Укладывал, чтобы облегчить свою боль: не бесчувственные останки выпрямлял – свою сведенную душу.

А усталость нарастала с каждым днем, с каждым витком сжимающего напряжения, с каждым движением обреченного усилия, чтобы длиться невидимо для других – до последнего изнеможения.

Глава LXXXI

Гувейра. – Своевременное затмение. – Совещание в раскаленном ущелье. – Переговоры с противником. – Милостивое наказание. – Последние выстрелы. – Акаба!

На месте нового расположения были составлены письма к шейхам прибрежных племен с сообщением об одержанной победе и с предложением атаковать ближайшие к ним турецкие части и удерживать их, пока отряд не подойдет. Кроме того, были написаны обращения к командирам трех турецких постов, располагавшихся на дороге в Акабу, с предложением сдаться.

На рассвете выступили в поход. Путь вел через поросшую вереском долину, за которой внезапно распахивался обзор на равнину Гувейра – неожиданный выход в свобод-

ное пространство после щемящей тесноты песчаных долин. Равнина напоминала «карту из розового песка, покрытую штрихами водных русел, поросших кустарником. На ней и вокруг нее поднимались высокие островки и утесы пылающего песчаника, изъеденного ветром и изборожденного дождями, который восходящее солнце окрашивало в небесные тона».[1] Для Лоуренса перемена показалась радостным освобождением из заточения ущелий, и впредь он с волнением устремлялся к вершинам кряжей, надеясь снова увидеть необъятный простор – словно окунуться в освежающие морские воды. Так же в 1908 году во Франции взгляд с отрога на обширную влажную долину, вспыхнувшую золотом от выглянувшего солнца, вызвал у него пьянящий восторг. Просторы, как откровения природы, приносили сладостное чувство свободы, будто душа избавлялась от тяготы тела и парила в небесных высотах – без усилия, без напряжения, без боли...

4 июля отряд достиг поста Кетира. Турки отказались от переговоров, и Лоуренс предложил местным арабам атаковать их. Их шейх не соглашался, объясняя свое нежелание тем, что ожидается полнолуние. Лоуренс знал, что в эту ночь произойдет затмение, и обещал, что луны не будет. Так и случилось, и, пока турки стреляли из винтовок и били в медные горшки, пытаясь спасти пропавшую планету, арабы захватили пост без единой потери. Им удалось взять в плен пятьдесят человек пехоты и семьдесят кавалерии.

Дальше стали попадаться один за другим покинутые посты: наступление с той стороны, откуда не ожидалось никакой атаки, повергло противника в панику.

На следующий день арабы спустились в ущелье настолько узкое, что в некоторых местах его ширина едва достигала нескольких ярдов. Ранее они узнали от местных жителей, что гарнизон Акабы численностью в триста человек поспешно отошел вглубь для обороны, поэтому остановились здесь для совета. Солнце отсвечивало от гранитных вершин мириадами ярких бликов, и воздух не двигался в удушье раскаленной теснины.

Мнения колебались от самых дерзких до осторожных.

Было известно, что хорошо окопавшиеся турки испытывают нехватку продовольствия. Но и арабам недоставало провизии, и положение представлялось тупиковым. Несколько раз обсуждение приходилось прерывать – отчасти из-за нежелания, чтобы пленные слышали споры, а отчасти из-за непереносимости оглушающего зноя и духоты, от которых кровь била в висках набатом.

Туркам послали предупреждения – сначала белый флаг, потом – пленных, но ответом была только стрельба. Это распалило бедуинов и, пока еще не было принято окончательное решение, как действовать, некоторые из них бросились вверх на скалы и открыли по туркам шквальный огонь. Назир помчался останавливать их, но едва смог сделать босиком несколько шагов по раскаленной земле. Лоуренс же, укрывшийся «в своем атоме тени», был уже настолько изнурен телесно и умственно, что не заботился о том, чтобы останавливать безрассудные порывы арабов.

Назиру все же удалось быстро навести порядок. Как выяснилось, зачинщиками были Дауд с Фарраджем. «Для исправления их усадили на обжигающие камни – до тех пор, пока они не попросят прощения. Дауд сдался немедленно, но Фаррадж, который, несмотря на свою нежную хрупкость, был крепок и являлся изобретателем всех шалостей, только смеялся со своего первого камня. Второй он высидел мрачно и нехотя уступил лишь после того, как его приговорили к третьему».[2]

Обычным наказанием в тех походных условиях была порка, и ей часто подвергали неуемную парочку, но это, казалось, только сильнее побуждало их к новым дерзким проказам. «Их погрешности были веселостью маленьких эльфов, бездумностью неуравновешенной юности, происходившими от возможности быть счастливыми тогда, когда мы не были таковыми. И за такие глупости безжалостно ранить их, как преступников, пока их самообладание не истает и мужество не будет потеряно в животном страхе тела: это казалось мне низостью, почти безбожием по отношению к этим солнечным существам, на которые еще не упала тень мира, – самым смелым, самым завид-

ным из всех, что я знал».[3]

Третье посланничество к туркам принесло ответ, что в течение двух дней, если из Маана не подойдет помощь, они сдадутся. Это не устраивало арабов, так как неопределенность могла привести, в конце концов, к резне. Переговоры продолжились. Лоуренс объяснил одному из турецких офицеров, что силы арабов растут, и скоро будет сложно владеть их умонастроениями. Турки пообещали сдаться на следующий день.

Ночью подошли новые племена и, не зная о договоренности, утром открыли по туркам огонь. После вмешательства Назира и Ибн Дейтира с его аджейлями стрельба была прекращена. Неприятель, голодавший и потерявший весь боевой дух, сдался.

Арабы проехали четыре мили сквозь завихрения песчаной бури, и 6 июля уже плескались в сияющих водах Акабского залива.

Глава LXXXII

Значение взятия Акабы. – Опустошенность победы. – Удержание Акабы и угроза голода. – Переход Лоуренса через Синайскую пустыню. – Переговоры из Шатта. – Отдохновение.

Взятие Акабы, ознаменовавшее завершение войны в Хиджазе и открывшее врата в Сирию, оказалось тройным успехом. Во-первых, арабы примкнули к британским силам, став их правым флангом и, следовательно, получили в глазах британского командования право на поддержку; во-вторых, оказали им неоценимую помощь, устранив опасность турецкого наступления через Синай на Суэц или британские линии сообщения в Палестине; в-третьих, увеличилась область действия повстанцев – неуловимой угрозы пустыни, а с тем возросла вероятность конечной победы. Все это было достигнуто за счет чуть более чем пятидесяти человек из арабских сил Хиджаза и одного не-

сносного лейтенанта из Каира. В ходе боевых действий турки потеряли убитыми и пленными тысячу двести человек, арабы – двух.

На протяжении двух месяцев отдаленная Акаба была действительностью, на которой сосредотачивались все помыслы, усилия и надежды, тогда как остальное представлялось мимолетным и незначительным, смазанным в движении единого порыва. Цель была достигнута и – оказалась странным медленным сном с плеском волн, руинами бедных мазанок, разрушенных бомбардировками с английских и французских кораблей, неторопливыми праздными фигурами, еще недавно полными энергии устремленности, как несомая ветром листва. Вместо торжества и удовлетворения чувствовалась та опустошенность, что наступает вслед за достижением. Стремление к цели становится на время смыслом существования, тем внутренним страстным горением, что дает возможность ощутить себя пронзительно живым. Осуществление же обессмысливает эту напряженную действительность, затуманивая ее сонностью расслабления.

Арабы бродили в пальмовых рощах побережья, потерянные и удивленные, не узнававшие самих себя в этих бесцельных существах, в которых их обратила победа. Лоуренсу было еще сложнее воспринять произошедшее, ибо он всегда всматривался куда-то дальше возможного (как Фейсал всегда стремился за предел достижимого), видя на горизонте ожидания *свою* реальность – суть действительности, – которая по приближении расплывалась, не оставляя ничего, кроме пустоты от утраченной земли обетованной своей надежды.

Лежавшая в руинах Акаба напоминала Лоуренсу о его недавнем прошлом, о Дахуме, с которым он посетил ее три с половиной года назад. Связанные с чем-либо места, пока они не увидены снова, хранят эту память, но стоит вернуться, и открывается только пустой промер настоящего – как в рамке, откуда вынута фотография. Существование Лоуренса сократилось до этого промера – одиночества, непреодолимого никакими усилиями.

Пробудиться заставили нужды. Первым делом требовалось удержать Акабу. Этот вопрос Лоуренс решил в соответствии со своей теорией войны. Защита подступов была обеспечена за счет четырех независимых постов, расположенных в неприступных пунктах, причем каждый из них создавал угрозу тылу врага в случае, если бы тот решил воспользоваться другими подходами. Такой структурой обороны Лоуренс намеревался парализовать инициативу турок, усвоивших принцип Гольца о взаимозависимости постов. Он ожидал, что турки, «осуществив воодушевленную атаку против одного из постов, засядут в нем, изумленные, на целый неудобный месяц, скребя затылок и недоумевая, почему другие не сдаются».[1] Успешность его теории заключалась в нарушении догматов, следствием чего являлась поражающая неожиданность. Противник знал стандартную схему ведения боевых действий, и выход за ее границы приводил его в замешательство, не позволявшее дать должный ответ. Лоуренс смущал неприятеля так же, как при необходимости мог смутить отдельного человека.

Второй трудностью являлось отсутствие какого бы то ни было продовольствия, кроме незрелых фиников, чей «сырой вкус был почти столь же противным, как желание, которое они должны были удовлетворить».[2] Накормить же следовало, кроме своих пятисот арабов, семьсот пленных турок и две тысячи новых союзников. «Прилежная привычка питания, продолжающаяся всю жизнь, приучила тело англичанина к возникновению пунктуального нервного посасывания под ложечкой в каждый час, определенный для приема пищи, и мы иногда даем почетное имя голода этому знаку, извещающему о том, что в кишках освободился квадратный сантиметр для наполнения. Голод арабов был изнеможением давно пустого натруженного тела, лишающегося чувств от слабости. Они жили малой долей от нашего объема пищи, и их системы тщательно использовали все, что получали. Армия кочевников не удобряла землю изобильными побочными продуктами».[3]

Существовала договоренность с Бойлем, что корабль с

продовольствием будет заходить в залив как можно чаще, но это осложняли неопределенность времени и турецкие мины у морских подступов к Акабе. Последний пароход ушел за час до занятия Акабы арабами, и следующего захода можно было ожидать только через неделю.

Для разрешения продовольственной проблемы Лоуренс собрался сам отправиться в Суэц – через Синайский полуостров: сто пятьдесят миль по пескам, где имелся только один колодец. Он выбрал в спутники восемь человек, большею частью ховейтатов, и самых крепких верблюдов. Однако и люди, и животные были очень усталыми, отчего возникал вопрос, как ехать: медленно, щадя верблюдов, но рискуя, что они погибнут от голода, или же быстро, подвергая их опасности пасть от изнеможения. В конце концов, приняли решение продвигаться шагом, в продолжение столь долгого времени, как могли выдержать сами. Таким образом, тяжесть дороги переносилась на всадников.

За последний месяц Лоуренс преодолевал за день в среднем пятьдесят миль, и теперь его силы были почти на исходе. Надеясь, что сможет выдержать этот переход, он рассчитывал добраться до Суэца за пятьдесят часов. Чтобы не делать остановок для приготовления пищи, с собой взяли финики и вареную верблюжатину, и вечером 6 июля отправились в опасный путь.

Участие Лоуренса в восстании требовало от него почти непрерывного напряжения: телесного, умственного, эмоционального. То было существование на пределе своих возможностей, смертное борение с уничтожающими обстоятельствами и с собственной человеческой слабостью. Силы быстро исчерпались: уже в походе на Акабу был достигнут его предел, и впредь он жил одним усилием воли. То была не жилистая выносливость физически сильного человека, но горение целеустремленности, позволяющее жить сквозь боль, пока есть цель.

Поначалу ехали в гору по вырубленной в гранитном массиве дороге паломников. Подъем был поспешным, и, когда была достигнута вершина, как люди, так и животные дрожали от усталости. Одного из верблюдов приш-

лось отправить обратно. К полуночи достигли Темеда – того единственного колодца. Выпив воды и напоив верблюдов, продолжили путь. Тишина звездной ночи была столь глубока, что, казалось, таила в себе кого-то, и всадники то и дело оборачивались на звуки, которые не раздавались. Лишь они сами были единственными живыми существами на дне тишины.

К рассвету они заехали далеко на равнину, на которой русла пересохших потоков, собираясь воедино, устремлялись в сторону Эль-Ариша. Здесь остановились на несколько минут, позволяя верблюдам пощипать подобие травы, и затем – снова в седло, до заката. Вечером сделали привал на час, за который ничуть не успели отдохнуть, и до рассвета ехали бездумно, движимые только необходимостью, через осиянные лунным светом известняковые холмы.

Утром наткнулись на дынное поле, бывшее странным зрелищем на дикой земле между двух армий, и сделали остановку на час, отпустив верблюдов искать себе пищу и наслаждаясь прохладными дынями. В полдень миновали пришедшие в упадок укрепления с траншеями, колючей проволокой, фортами и в три часа дня, через сорок девять часов после выхода из Акабы, достигли Шатта – поста напротив Суэца, на азиатском берегу Канала.

Шатт был покинут из-за появившейся там несколько дней назад чумы. Не зная об этом, Лоуренс со спутниками бродил по опустевшим кабинетам, пока не отыскал телефон. Позвонив в суэцкую штаб-квартиру, он сказал, что ему необходимо перебраться через Канал. Ему ответили, что это не является их делом и посоветовали обратиться в отдел водного транспорта. Он позвонил туда, но получил ответ, что в данное время нет свободной шлюпки, но утром она будет прислана и доставит его в карантинный пункт. И повесили трубку.

В последние четыре месяца Лоуренс находился в постоянном передвижении, сделал за прошедшие четыре недели тысячу четыреста миль на верблюде, «ни в чем не щадя себя ради успеха в войне»[4], но теперь не желал проводить и лишнего часа в грязных одеждах, прилипав-

ших к ссадинам. Ему хотелось помыться и выпить чего-нибудь со льдом. Поэтому он снова позвонил в отдел водного транспорта и заговорил, «как Златоуст», становясь по мере раздражения все более красноречивым. Это также не возымело действия, и он уже начал выходить из себя, когда услышал с центральной станции чей-то голос: «Сэр, говорить с этими... бесполезно...» В результате по инициативе дежурного телефониста Лоуренс был соединен с майором Литтлтоном из управления перевозок, который тотчас пообещал прислать за ним свой катер, попросив, однако, никому не говорить, что он нарушил существующие правила. Лоуренс отправил своих людей и верблюдов в Кубри, обещая подготовить им, по телефону из Суэца, пропитание и убежище. Позднее они получили заслуженное вознаграждение.

Спустя полчаса Лоуренс переправился в Суэц. Там он устроился в гостинице – после того, как преодолел первое враждебное впечатление персонала от своего вида, – и наконец-то смог насладиться горячей ванной, холодными напитками, обедом и постелью.

Глава LXXXIII

«Черногорский драгун» из мекканской армии. – На платформе в Измаилии. – У Клейтона. – Знакомство с Элленби. – Портрет Элленби.

На следующий день Лоуренс с билетом и пропуском в кармане сел в поезд, направлявшийся в Каир. Но поскольку гражданские передвижения в зоне Канала находились под строгим надзором, ему снова пришлось столкнуться с досадными формальностями. Однако теперь он достаточно отдохнул и мог поозорничать. Вместо того, чтобы предъявить контролю пропуск, он в ответ на вопрос по-арабски ответил по-английски: «Я шериф мекканского штаба», – чем вызвал немалое изумление. Сержант изви-

нился, а Лоуренс добавил, что он в штабной униформе. Проверяющие удивленно воззрились на его босые ноги, белое одеяние, золотой укаль и кинжал. «Из какой же Вы армии, сэр?» – «Из мекканской».– «Никогда не слышали о такой и не знаем униформы». – «Разве Вы не узнаете черногорского драгуна?!» Союзным войскам было разрешено ездить без пропуска. Однако полиция не знала всех союзников и, тем более, их военную форму. Пришлось вызывать человека из контрразведки. Перед Измаилией тот, пыхтя от жары, влез в вагон, и Лоуренс предъявил ему свой пропуск.

В Измаилии была пересадка. Там Лоуренс увидел на платформе адмирала Вэмисса и его начальника штаба капитана Барместера. Они разговаривали с незнакомым генералом чрезвычайно представительного вида и при этом прохаживались по платформе – туда-сюда, туда-сюда... Офицеры отдавали им честь – один раз, второй... Три раза было уже слишком, поэтому одни так и застыли с рукой у козырька – «это были низкие души», другие сбежали – «те были презренны», третьи принялись внимательно изучать книги в киоске – «эти были стыдливы», и «только один был нахален».[1] Барместер заметил взгляд Лоуренса и поинтересовался, кто он, так как было невозможно признать Лоуренса в маленьком, до крайности худом арабе (позднее он узнал, что его вес был чуть более сорока килограммов). Лоуренс представился и сообщил ему о взятии Акабы. Барместер, обрадованный неожиданным известием, обещал незамедлительно направить корабль с продовольствием из Суэца в Акабу и забрать оттуда пленных.

От Барместера Лоуренс узнал, что незнакомым генералом был Элленби, сменивший Мюррея 27 июня, после вторичной неудачи британских войск при Газе. Лоуренс подумал: «Неужели этот грузный, багровый человек подобен обычным генералам, и придется потратить полгода на его обучение?» Предшественники Элленби были столь утомительны, что приходилось больше заботиться о том, как выжить под их командованием, чем о том, как победить врага.

Прибыв в Каир, Лоуренс прошлепал по коридорам гостиницы «Савой» в кабинет Клейтона. Тот, погруженный в работу, лишь мельком взглянул на него, бросив на английском варианте египетского диалекта: «Занят». Лоуренс заговорил и был с удивлением принят. Накануне в Суэце Лоуренс написал короткий отчет и теперь обсудил только неотложные вопросы. Кроме того, он договорился с Клейтоном о том, чтобы в самое ближайшее время в Акабу были посланы шестнадцать тысяч фунтов золотом для выкупа Назиром тех «векселей», которые они «выпускали» в Баире, Джефере и Гувейре. Это были долговые расписки, составленные карандашом на военных телеграфных бланках, где давалось обязательство уплатить в Акабе предъявителю определенную сумму. К концу разговора позвонил Вэмисс и сообщил, что «Дафферин» готовится к отправке продовольствия в Акабу.

В гостинице Лоуренс решил переодеться, чтобы больше не производить слишком сильного впечатления своим видом, но нашел, что вся его одежда поедена молью. Только через три дня он смог быть снова «по-обычному плохо одетым».[2] Однако прежде, чем он успел преобразиться, его вызвал к себе Элленби, заинтересованный его идеей о стратегической значимости восточных племен Сирии как угрозы линиям сообщений Иерусалима, поскольку эта идея соответствовала намерениям главнокомандующего.

«Это было комическое интервью»:[3] крупный, уверенный Элленби, восседающий в кресле, и перед ним – «маленький босоногий человечек в шелковом одеянии, предлагающий проповедью победить неприятеля, если ему будут предоставлены продовольствие, вооружение и двести тысяч соверенов, чтобы убеждать и контролировать новообращенных. Элленби не мог понять, сколько было в этом от искреннего исполнителя и сколько – от шарлатана».[4] Пока Лоуренс излагал свои мысли о Восточной Сирии, ее народностях и политических условиях, генерал неспешно изучал карту, при этом внимательно слушая, и под конец сказал: «Хорошо, я сделаю для Вас все, что могу». Впоследствии Лоуренс узнал, что слова

Элленби точно соответствовали делу.

Эдмунд Элленби (1861–1936) проявил себя как здравомыслящий и отважный командир еще в Бурской войне. С началом Первой Мировой войны он был направлен во Францию в составе экспедиционных сил как командующий кавалерийской дивизией и отличился, когда его часть прикрывала вынужденное отступление после сражения при Монсе в конце августа 1914 года. Позднее он был назначен командиром кавалерийского корпуса и в 1915 году командовал во Второй битве при Ипре. В октябре того же года в его ведение была передана Третья британская армия.

Элленби был кавалеристом до мозга костей, и удручение от позиционной войны заставляло его несколько раз предпринимать дерзкие атаки, не оправдывавшиеся обстановкой. В других случаях, когда он пытался воспользоваться удачно сложившимся положением, чтобы внезапно атаковать противника, артиллеристы расстраивали его планы, доказывая необходимость предварительной артподготовки, и он сдавался перед их техническими доводами. Весной 1917 года в сражении в Аррасе его войска потерпели неудачу. Это оказалось удобным предлогом сместить его, так как уже давно существовали разногласия между ним и Дугласом Хэйгом, главнокомандующим английскими силами во Франции, догматичным и сочетавшим религиозность со спокойным отношением к жертвам. Когда-то Элленби превзошел Хэйга, командуя колонной в Южной Африке, но впоследствии тот опередил его в продвижении по службе.

Будучи инициативным, Элленби лучше выполнял свои собственные планы, чем чужие, а подчиненность не позволяла ему проявиться. Поэтому перевод в Египет оказался для него удачей, позволив ему сполна использовать недюжинный потенциал своих способностей, а дальнейшее счастливое взаимодействие с Лоуренсом обеспечило военный успех. Без Элленби Лоуренс, возможно, смог бы действовать и дальше на своем энтузиазме инициативы, но маловероятно, чтобы Элленби сумел достичь блестящей победы без тактических знаний и стратегической

дальновидности Лоуренса – по крайней мере, столь дешево. Как все последователи европейской военной школы, Элленби полагался на оружие и нажим: его собственная победа одними силами английских войск не обошлась бы малой кровью.

Элленби – решительный, энергичный, добросовестный и быстрый в деле – скоро завоевал доверие и уважение среди подчиненных. Уверенность, излучаемая его непоколебимым видом, убеждала, что ситуация находится под контролем и исход будет благоприятным. Для Лоуренса же подчиненность такому командиру приносила не только практическую пользу, но и моральное успокоение, столь необходимое ему, жившему только усилием воли.

Глава LXXXIV

Изменения в положении Лоуренса. – Географическая и социальная картина Сирии.

За взятие Акабы Лоуренс был произведен в майоры, что при его справедливом отношении к отличиям не могло вызвать у него ничего, кроме досады, и он настоятельно просил членов своей семьи не добавлять к его имени в адресе никакого звания.

Взятием Акабы завершилась как война в Хиджазе, так и пребывание Лоуренса в благодатной тени Фейсала. Теперь восстание было не только войной арабов, но и его собственной, поэтому планирование дальнейших действий арабов он видел своей неизбежной обязанностью. В этом ему неоценимо помогало доскональное знание населения того региона, который предстояло освободить, и его географических особенностей.

Следующим этапом была Сирия. Ее освобождение являлось неизмеримо более сложной задачей, чем предыдущая, поскольку Сирия представляла собою мозаику разли-

чий – как географических, так социальных. Рассмотрим ее подробнее.

К востоку простиралась Сирийская пустыня, населенная кочевниками, на юге лежали пески Аравии, с запада границей было Средиземное море – от Газы до Александретты, на севере территорию ограничивала Анатолия. В этих рамках местность была разделена на отдельные участки самой природой. Горный хребет, проходящий с севера на юг, проводил четкую климатическую границу, так что население побережья резко отличалось от жителей внутренних областей в быту, занятиях и языке. Внутреннюю область разделяли реки. Оседлые жители плодородных долин были совершенно несхожи с беспокойным населением окраин, перемещавшимся в поисках пастбищ и страдавшим от засух, набегов бедуинов и кровной вражды.

Социальные различия создавали из Сирии неуклюжее собрание осколков. Условно эту россыпь можно было разделить на пять полос, проходивших с севера на юг.

На побережье проживали общины ансарийа – обособленных социально и политически язычников. Среди них жили сирийские христиане. Около Оронта существовали колонии армян, враждебно настроенных против Турции. Местность возле Харима населяли друзы, а также немногочисленные черкесы, покинувшие свою родину во время и после Кавказской войны. Те и другие были противниками всех остальных социальных или религиозных групп. К северо-востоку от них жили курды, более или менее расположенные к арабам, но не признававшие христиан, турок и европейцев. За ними проживала секта йезидов, близких в своем миросозерцании персам. Далее, в Халебе с населением в двести тысяч человек, существовал пестрый калейдоскоп всех народностей и верований Турецкой империи. Восточнее проживали оседлые арабы, все более склонные к кочевому образу жизни по мере приближения к окраине обрабатываемых земель.

Следующая полоса проходила южнее, от моря до пустыни. На побережье проживали черкесы, ставшие уже арабоязычными, но сохранившие свой пламенный дух горцев. За ними следовала секта измаилийа – иранских

переселенцев, избегавших мусульман. Далее к востоку жили арабы-христиане. За ними находились мусульманские общины, затем – поселения измаилитов-парий и после них – бедуины.

Третья полоса пролегала от Триполи до Бейрута. Близ побережья проживали ливанские христиане – мароните и православные греки, политически тяготевшие соответственно к Франции и России. После них жили метавала – обособившиеся персидские мусульмане-шииты. Далее, в холмах, мирно сосуществовали христиане и мусульмане. Восточнее земли принадлежали полукочевым арабам-крестьянам.

Четвертая полоса начиналась возле Акра. Близ побережья жили арабы-сунниты, за ними – друзы, затем – метавала. На берегах Иорданской долины находились колонии алжирских беженцев, соседствовавшие с еврейскими поселениями. Восточнее открывались равнины, населенные арабами. Далее следовали лавовые поля, Леджа: место проживания разнообразных изгнанников и неудачников со всей Сирии. К югу и юго-западу простирался Хауран – обширная плодородная местность, населенная арабами-крестьянами. Восточнее жили друзы – исламские последователи одного из египетских султанов, не терпевшие маронитов, враждовавшие с бедуинами и презиравшие арабов-мусульман, которые недолюбливали их в ответ.

Пятая полоса начиналась от Иерусалима поселениями немецких евреев, не признававших никого и бывших, следовательно, самой недружелюбной частью сирийского населения. Века гонений не могли вызвать открытость миру. Их окружали палестинские крестьяне, неповоротливые умом и «такие же приверженцы материального, как египтяне».[1] За долиной Иордана проживали христиане. Между ними и к востоку от них жили полукочевые арабы. Далее существовала еще одна колония черкесов, лишенных родины и существовавших милостью турок.

На этом фоне выделялись шесть крупных городов – Иерусалим, Бейрут, Дамаск, Хомс, Хамат и Халеб.

Иерусалим – священный город для последователей

всех авраамических религий. «Христиане и мусульмане совершали сюда паломничества к гробницам прошлого, а некоторые из иудеев смотрели на него как на центр политического будущего их народа. Эти соединенные влияния прошлого и будущего были так сильны, что город почти не имел настоящего».[2] Умонастроение его жителей являлось умонастроением владельцев постоялых дворов, живших доходами от многочисленных пилигримов.

Бейрут был в своих взглядах профранцузским, а его жители представляли два основных класса – торговцев-христиан и вернувшихся из Америки эмигрантов, с сильным ядром воспитанной иностранными влияниями интеллигенции. Он являлся вратами, через которые в Сирию проникали все иноземные веяния.

Остальные четыре города были исконно арабскими и таковым же было их самосознание. Из них политическим и религиозным центром являлся Дамаск, значение которого для арабов было огромно. Он стоял как музей великого прошлого арабской нации, и хранимые в нем воспоминания волновали умы – слишком несовместимые, чтобы эти воспоминания оживить.

Хомс и Хамат жили мануфактурным производством (хлопок и шерсть в первом, шелк во втором), и процветание развило в них сильное чувство местничества.

Халеб, являвший собой галерею народностей и верований Империи, отличался гораздо более дружелюбными умонастроениями жителей, чем остальные города и регионы Сирии. Христиане, мусульмане и иудеи, арабы, армяне, турки и курды мирно уживались друг с другом. Из всех городов Империи Халеб был наиболее дружественным по отношению к европейцам. Политически он стоял особняком.

Как результат многообразия и разобщенности, у оседлого населения Сирии не существовало большей политической единицы, чем селение, а у жителей, сохранивших патриархальные традиции, – ничего более сложного, чем клан. Все высшие институты являлись грузно наложенной искусственной турецкой системой. Между городами и селениями, различными религиозными направлениями, от-

дельными кланами существовала вражда, которую турки тщательно поддерживали, так как в ней был залог покорности сирийских жителей. Не существовало единства и во взглядах на политическое будущее: мусульмане, как правило, ратовали за арабский халифат, вспоминая славное прошлое; христиане желали европейского покровительства, которое защитило бы от внутренних розней; национальные группы жаждали автономии Сирии, «зная, что такое автономия, но не ведая, что такое Сирия».[3] Объединяющим звеном был арабский язык – общая родина, настоящая либо вторая.

Поднять Сирию на борьбу против турецкого ига было трудно, но возможно. Для этого требовалось некое побуждение, способное поразить пылкие, но не дальновидные умы своей новизной и дать достаточно вдохновения для одного решительного порыва. Поскольку большинством среди населения являлись арабы, то и выбор воодушевления осуществлялся с их позиций. Для них силой, превосходившей все различия и разногласия, мог стать только суннитский принц, который напомнил бы им о былом величии старинных халифов. Таким человеком был Фейсал, образ из гордого прошлого и провозвестник достойного будущего.

Глава LXXXV

Перед вторым актом восстания: Цель. – Тактика. – Возможности. – Условия службы.

Стратегической целью на пути к Дамаску являлся Хауран, для достижения которого требовалось так же мобилизовать ряд племен, как при переходе из Вэджха в Акабу, образовав подобие «лестницы», по сравнению Лоуренса. Ее должны были составить ховейтат, бени-сахр, шерарат, руалла и серахин. С их помощью было возможно

продвинуться до Азрака – оазиса, расположенный в трехстах милях к северо-востоку от Акабы, который мог служить выдвинутой базой для операций в Хауране.

Операции в пустыне Лоуренс сравнивал с войной на море из-за независимости от баз и коммуникаций, подвижности, повсеместности, отсутствия стратегических районов, определенных направлений и конкретных пунктов. «Всадники на верблюдах, имевшие при себе все необходимое, как корабли, могли уверенно крейсировать вдоль сухопутной границы противника, обладая возможностью беспрепятственного отступления в свою привычную пустыню, в которую турки не могли проникнуть».[1]

Тактикой должно было стать правило «опрокинуть и бежать, наносить толчки, но не удары»[2] и не пытаться закрепить успех, так как целью было именно изнурение противника беспокойством. Самой действенной боевой единицей являлся небольшой быстрый отряд. Лоуренс мастерски использовал возможности бедуинов. В обычной войне они, не знавшие дисциплины, оказались бы сумасбродной толпой, но в войне партизанской были непобедимы. Их силой являлись подвижность и скорость, возможные из-за их умеренности и самообеспечения. Каждый имел верблюда и провизию на шесть недель – сорок пять фунтов муки, рассчитанные на переход в тысячу миль до цели и обратно. Что касается воды, то большинство до отказа пили у каждого источника (и эту привычку перенял Лоуренс) и возили с собой около пинты каждый. Некоторые, наиболее выносливые, вообще обходились без воды между колодцами, которые обычно располагались на расстоянии в сотню миль один от другого.

Верблюды могли проходить летом двести пятьдесят миль в три дня. Легкий переход составлял пятьдесят миль, восемьдесят было хорошим достижением, а в случаях необходимости отряд Лоуренса мог преодолевать сто десять миль в сутки. Дважды Газала, лучший верблюд в отряде, проходила сто сорок три мили с одним Лоуренсом. За месяц было возможно совершить переход в полторы тысячи миль. Как замечает Лоуренс, для него это было скорее «мучительно», чем «возможно»: в Аравии он превосходил

свои пределы.

Вооружение было простым: винтовки и пулеметы Гочкиса и Льюиса, а кроме того – большое количество взрывчатки.

Сложные взаимоотношения между племенами создавали дополнительные трудности, но даже из этого можно было извлечь пользу. Поскольку их нельзя было смешивать из-за взаимного недоверия, а также использовать одно племя на территории другого, Лоуренс стремился к наибольшему рассредоточению сил и добавлял подвижность к скорости, используя «один округ в понедельник, другой во вторник, третий в среду». Смена же племен позволяла поддерживать силы свежими.

Арабы нуждались в поддержке англичан – по крайней мере, материальной. Также и англичанам была необходима помощь арабов, без которой сражение один на один с турками привело бы к ситуации Западного фронта – к кровавому столкновению массированных сил, тогда как тактика блошиных укусов помогала дешево и верно обессилить врага. Благодаря стратегии Лоуренса, сбережение материальных ресурсов и жизней стало огромным.

Служба в повстанческой армии была добровольной: каждый мог уйти, если убеждение изменяло ему. О дисциплине, соединяющей человеческое множество регулярной армии в единый механизм, не было и представления. Это была армия индивидуальностей, эффективность которой состояла в личных качествах отдельного человека, а не в боеспособности целого организма. «Иррегулярная война является гораздо более интеллектуальной, чем штыковая атака, и гораздо более изнуряющей, чем служба в удобном подражательном повиновении регулярной армии».[3]

Для такой армии являлось идеалом сделать «сражение серией отдельных боев, а ряды – счастливым союзом способных главнокомандующих»,[4] что и было достигнуто при умелом обращении Лоуренса с этими сложными, но по сущности своей высокобоеспособными единицами. «Эмпатическое» знание региона и его жителей, умение извлекать из своих знаний необходимое и применять это

на практике, понимание обстановки и отдельного человека, свобода от догмы: вот, что было залогом его военного успеха. Однако без движущего мотива, ставшего его духом, этот успех никогда бы не был достигнут: без Дахума Лоуренс не принял бы крест освобождения его народа.

Глава LXXXVI

Идея перевода базы Фейсала в Акабу. – Свидание Лоуренса с Фейсалом и встреча с Хуссейном. – «Измена» ховейтатов.

Лоуренс предложил перевести базу Фейсала из Вэджха в Акабу. Так как в дальнейшем действия арабов и англичан должны были проводиться в одном направлении в палестинской зоне, было целесообразно сделать армию Фейсала автономно служащей под верховным командованием Элленби, а базу арабов переместить из Вэджха, отстоявшего от центра на восемьсот миль, в Акабу, расположенную только в сотне миль. Однако в ответ военное командование в Каире проявило нерешительность. Тогда Лоуренс усилил свою настойчивость и потребовал удаления из сектора Янбо-Медина всех складов и денежных средств, использовавшихся для помощи Али и Абдулле. Было важно не допустить, чтобы турки ослабили свой гарнизон в Медине или попытались оттянуть силы к северу: этот гарнизон был полезен как приманка, заставлявшая турок использовать железную дорогу, которая согласно тактике Лоуренса должна была быть для них линией изнурительного беспокойства. Уменьшение нажима на юге снимало риск нежелательных действий турок.

После преодоления первоначальных колебаний оставались еще два вероятных препятствия – Вингейт и Хуссейн. С самим Фейсалом Лоуренс уже говорил в Вэджхе о возможности его перевода, на что получил согласие. Вингейт, способствовавший развитию восстания в самом его

начале, тоже не был против этой идеи. Единственной серьезной помехой мог оказаться Хуссейн. Благообразный, с достойными манерами, решительный и мудрый, Шериф мог бы вызывать благоговейное почтение, если бы не черты, легшие на его природный характер, как трещины на зеркало. Наука турецкой политики исказила его честную и открытую сущность, сделав подозрительным и скрытным, а его упрямство доходило до безрассудства. Свои неприятные следствия имело и неудержимое стремление к верховенству.

В конце июля Лоуренс отправился в Джидду убеждать Хуссейна. На «Дафферине» за два дня он добрался до Вэджха, намереваясь сначала увидеться с Фейсалом, чтобы, кроме прочего, заручиться его рекомендациями, при помощи которых вместе с письмами Вингейта он рассчитывал повлиять на своенравного Шерифа.

Фейсал со своей армией находился в Джейде, в сотне миль от Вэджха, куда он передвинулся в начале июля, чтобы иметь больше возможностей для совершения набегов на железную дорогу. Лоуренса доставили туда на самолете, и он, наконец, встретился с Фейсалом после разлуки более чем в два месяца. Тот был рад увидеть его и узнать подробности о взятии Акабы. Ночью они составили планы, согласно которым следовало отправить в Акабу верблюжий корпус и отряд Джаафар-паши. На рассвете Лоуренс вернулся на самолете в Вэждх и через час уже плыл на «Дафферине» в Джидду.

С Хуссейном он встретился 29 июля. Вопреки опасениям, идея перевода была принята без возражений. Тем временем из Египта пришли две телеграммы. В одной сообщалось, что ховейтаты состоят в переписке с турками, а в другой говорилось, что в заговоре замешан Ауда. Это казалось невероятным: честность Ауды не вызывала сомнений. Без промедлений Лоуренс взошел на борт «Хардинджа» и через три дня прибыл в Акабу. Назир ничего не знал о происходящем. Лоуренс не стал сообщать ему раньше выяснения и только сказал, что хотел бы навестить Ауду. Кроме того, он передал ему письмо от Хуссейна с разрешением посетить Мекку. Хуссейн, увлеченный

восстанием, не желал, чтобы другие отвлекались от своего дела и запретил поездки в Мекку. Поэтому в отряде долго ходила шутка, что, если многотерпеливый Назир возьмет Акабу, то наконец заслужит отдых.

Назир предоставил Лоуренсу верблюда и проводника, и на рассвете тот был уже у Ауды в Гувейре. Хотя его внезапное появление и вызвало некоторое замешательство, его радушно приняли. После угощения и веселой беседы Лоуренс под предлогом отдыха избавился от посторонних и затем предложил Ауде и Мохаммеду эль Дейлану прогуляться. Наедине он заговорил об их переписке с турками и услышал в ответ историю о том, как Мохаммед решил хитростью выманить у турок вознаграждение, пообещав перейти на их сторону, а когда письма были отправлены, Ауда перехватил их. Лоуренс, не показывая, что знает больше, посмеялся, а потом, словно невзначай, стал цитировать отдельные фразы из их писем, что произвело желаемое впечатление.

Как бы то ни было, ховейтатов оправдывало то, что за взятие Акабы они не получили никакого вознаграждения, к тому же им, охранявшим подступы к Акабе, не были направлены в помощь ни вооружение, ни дополнительные войска. Брошенные на произвол судьбы, они были вынуждены действовать сами.

Лоуренс сообщил, что в Акабу прибывает вся армия Фейсала, а Элленби предоставляет вооружение, продовольствие и деньги, и спросил, не желает ли Ауда получить от Фейсала подарок авансом. Тот с радостью согласился, потому что это обеспечивало его племени хорошее пропитание и доброе расположение духа. В дальнейшем благодаря этому «подарку» в тысячу фунтов стерлингов ховейтаты смогли удержать передовые укрепления Акабы во время турецкого наступления в то время, когда происходила переброска сил Фейсала в Акабу.

Трудность была устранена, и поздно вечером Лоуренс отправился обратно. Прибыв под утро, он разбудил Назира и обсудил с ним неотложные вопросы, а затем на кем-то брошенном каноэ добрался до стоявшего в заливе «Хардинджа». Так как он выехал из Акабы в Гувейру толь-

ко тридцать шесть часов назад, его возвращения ожидали не раньше, чем через неделю, и столь неожиданное появление вызвало изумление. Когда Лоуренс спустился в каюту отдохнуть, судно снялось с якоря и полным ходом направилось в Суэц. Оттуда Лоуренс сообщил по телефону в Каир, что предположения об измене Ауды не подтвердились.

Глава LXXXVII

Перевод сил в Акабу. – Угроза Акабе и отвлечение внимания турок. – Идея Лоуренса о набеге на Мудоввару. – Мятежные ховейтаты. – Богослужение Вади Рума. – Еще одни беспокойные ховейтаты. – Поездка Лоуренса из Вади Рума в Акабу и обратно. – Лоуренс в райском уголке. – Неуслышанный пророк.

7 августа Джойс погрузил на корабль в Вэджхе четыреста человек из регулярных частей арабов и пулеметный отряд французов, 17-го числа были отправлены еще тысяча человек, а 23-го в Акабе высадился сам Фейсал и вместе с ним Джаафар-паша со своим штабом, Джойс, четыреста арабов и отряд египтян. Вскоре прибыли бронемашины. Отправка самолетов была еще невозможна, поскольку сильная жара не только вызывала переутомление экипажа, но и износ машин. Во время переброски сил «Эурайлас» – флагманское судно адмирала Вэмисса – охраняло Акабу. В Аравии мощность корабля измерялась количеством труб, и «Эурайлас», имевший четыре, производил сильное впечатление.

Тем временем турки поспешно сосредотачивали свои силы в районе Маана. К началу сентября они перебросили туда шесть тысяч человек пехоты, верховую пехоту, шестнадцать орудий, укрепили позиции и доставили большое количество припасов. Затем с палестинского фронта был переведен кавалерийский полк. Когда же отряд в две тысячи человек был направлен на укрепление Аба эль Лиссана, а кавалерия приготовилась отразить возможное

контрнаступление арабов из Вади Муса, стало очевидно, что целью турок является Акаба.

Лоуренс решил отвлечь внимание противника и создать угрозу его западному флангу, провоцировав атаку на Вади Муса – неприступное ущелье в шестидесяти милях от Акабы. Для приманки турок местным арабам было поручено беспокоить их, так что те оказались вынуждены произвести контратаку, но потерпели поражение. К Петре был направлен Мавлюд со всадниками на мулах, что воодушевило местные племена, которые начали угонять у турок животных и грабить орудия. Неприятель раздражался и терял решительность.

Для большего впечатления решили задействовать авиацию. Уже давно имелась договоренность с командиром воздушными силами на Центральном Востоке генералом Салмондом о налете на Маан. В Кунтилле, в семидесяти милях к северо-западу от Акабы, была выбрана посадочная площадка. Ее обустройством и доставкой припасов Лоуренс занимался два дня. 28 августа оттуда вылетела эскадрилья капитана Стэнта и сбросила на Маан тридцать две бомбы. Две из них попали в казармы, приведя к значительным потерям, восемь – в депо, четыре упали на аэродром. Несмотря на ответную шрапнель, самолеты благополучно вернулись в Кунтиллу.

Следующим утром три самолета совершили налет на Аба эль Лиссан, где бомбардировка рассеяла турок и их лошадей. В полуденный зной, когда турки были по своему обыкновению сонливы, налет был повторен, и Стэнт сбросил тридцать бомб на батарею, обстрелявшую его самолеты утром. После этого отряд вернулся в место своего расположения в Эль Арише.

Набеги и воздушные атаки нарушили инициативу противника. Для того чтобы заставить его перейти к пассивной обороне, Лоуренс решил произвести разрушения на железной дороге. Теперь он собирался испробовать вместо автоматических мин дистанционный подрыв при помощи электричества в момент прохождения паровоза над зарядом. Британские саперы из Египта поддержали

его идею, и он получил взрыватель и кабель. Подходящей целью казалась станция Мудоввара, в восьмидесяти милях к югу от Маана. Там находился единственный в этом засушливом округе источник воды, и при его разрушении движение поездов на данном участке стало бы экономически невыгодным. С собой Лоуренс брал ховейтатов и трех хауранских крестьян, от которых надеялся получить между делом необходимые сведения о диалекте и клановых взаимоотношениях Хаурана.

Из Египта были откомандированы два сержанта-инструктора, один из которых, австралиец Йеллс, обучил взвод арабов обращению с пулеметами Льюиса, а другой, англичанин Брук, научил другой взвод, как обращаться с мортирами Стокса. Называть сержантов стали соответственно Льюисом и Стоксом. Хотя набеги не входили в их обязанности, они пожелали принять участие в предстоящем налете Лоуренса.

7 сентября Лоуренс выступил из Акабы через Вади Итм к Гувейре, чтобы собрать там ховейтатов. Сентябрь был временем особенно яростного солнца. В пальмовых садах Акабы термометр показывал 48° С. Лоуренс щадил непривычных к таким условиям сержантов, и поэтому продвижение через разогретое гранитное ущелье было неспешным.

На следующий день неподалеку от Гувейры в воздухе появился турецкий аэроплан. Отряд со своим взрывоопасным грузом успел скрыться в зарослях, тогда как турки сбросили несколько бомб, взметнувших клубы пыли, и скрылись. Атаки на Гувейру происходили регулярно.

Прибыв к ховейтатам, Лоуренс нашел, что избыток досуга оживил старые распри. Споры из-за денег, происходившие между Аудой и другими кланами племени, достигли угрожающих размеров. Некоторые собирались уйти совсем, что могло сорвать запланированную операцию. Фейсал направил к ним как посредника шерифа Мастура. «Мастур говорил с ними, вожди Абу Тайи говорили, мы все говорили: напрасно».[1]

Как-то раз Мастур сообщил Лоуренсу, что южные кланы готовятся уезжать. Тот в тревоге бросился в шатер

Ауды и остолбенел, увидев его спокойно вкушающим хлеб со своей новой женой, которая при виде Лоуренса тотчас ускользнула. «Я начал насмехаться над стариком, говоря, что он, хотя и стар, но так же глуп, как и остальные представители его расы, которая считает наш комический репродуктивный процесс не негигиеничным удовольствием, но главным делом жизни. Ауда парировал, что хочет наследника. Я спросил, находит ли он жизнь достаточно хорошей, чтобы благодарить своих родителей за то, что они дали ее ему? Или для того, чтобы своекорыстно вручать сомнительный дар нерожденной душе?»[2] В шутку или всерьез говорил Лоуренс, эти слова происходили от глубокого отвращения к воспроизведению и справедливого убеждения, что только родители – нечаянные виновники всех страданий. Жизнь не дар, а проклятие, и лишь несуществование несозданной души – блаженно.

Ауда не обижался и не спорил. Добродушно глядя на Лоуренса, он назвал его чертенком и, уверенный в своей правоте, заключил: «Без сомнения, ты очень мудр».

Они с Аудой решили, что Лоуренсу лучше выехать в бестревожное место и ждать, как будут развиваться события. Все планы в Гувейре корректировали турецкие налеты. В преддверии бомбардировки арабы покидали открытое пространство, забирались на уступы скал и терпеливо ожидали, когда аэроплан сделает обычное число кругов и сбросит свои несколько бомб, от которых взвивались бежевые вихри песка. Так и было на следующий день, перед отъездом Лоуренса из Гувейры. Переждав налет, он выехал вместе с несколькими спутниками по направлению к Вади Руму. Двадцать верблюдов везли взрывчатку.

Жара была подобна веянию из горнила: 43° С в тени. «Удушливый воздух казался железной маской на лице».[3] Арабы громко сетовали, тогда как новички-сержанты выдерживали зной, какого им еще не приходилось переносить, ни одним словом не выражая своего недовольства. Такая стойкость была бы похвальна, если бы не происходила от простого незнания арабского языка. Лоуренс, в свою очередь, всем своим видом показывал, что погода ему очень нравится и он пребывает в прекрасном настро-

ении. Когда ничто нельзя поделать, лучше внушить себе и другим, что все не так уж плохо.

На ночь отряд остановился под сенью тамарисковых деревьев, пыльно-зеленая листва которых, поблекшая от солнца и засухи, напомнила Лоуренсу серебристые кроны олив вокруг Ле Бо во Франции. Немного оставалось до Вади Рума, и предвкушение встречи с ним будоражило воображение Лоуренса: ведь даже невосторженные ховейтаты с восхищением отзывались об этом удивительном месте.

В свете раннего утра отряд проехал между двух песчаниковых пиков и направился к покрытому тамариском склону, выступавшему из куполообразных холмов: то было началом великого вади. Со склона распахивался вид на долину во всем ее аскетическом великолепии. Справа вздымались отвесные скалы, слева выступали тяжелые красные откосы, словно гигантские оборонительные валы невиданного замка. Постепенно сходясь вместе, эти стены из песчаника в тысячу футов высотой образовывали проспект, уходивший на многие мили вперед, в сиреневую грезу. Поверхность склонов составляли многочисленные выступы-лоджии, между которыми открывались огромные апсиды и ниши, а тут и там зияли пещеры, подобные дверям и окнам.

Драматическая симфония красного камня, казалось, вела головокружительным крещендо к некоему грандиозному святилищу, словно к кульминации в затуманенной мечтою дали; и перед этим величием человек ощущал себя пристыженной частицей, полуисчезнувшей в разворачивающемся богослужении природы.

Вади Рум был вне представимого, вне постижимого: подсознательное преклонение творения пред своим Создателем. Здесь не могло оставаться ничего ничтожного, лишнего, временного: только Бог, Бытие, Вечность. Он был катарсисом для души. «Позднее, когда мы часто ездили вглубь страны, я обычно отвлекался от дороги, чтобы очистить свои чувства ночью, проведенной в Руме, или поездкой вниз по озаренной рассветом долине в сторону сияющих равнин, или вверх в свете заката по направле-

нию к той пылающей площади, которую мое боязливое предчувствие никогда не позволяло мне достигнуть. Я обычно говорил себе: “Поеду ли я в этот раз за Казаил и узнаю ли все?” В самом деле, мне очень нравился Рум».[4] Своей божественной красотой это вади поднимало утомленную душу из пыли мира в свои гигантские измерения Бытия.

По мере продвижения открывались все новые поражающие перспективы, захватывая, как неожиданная радость, пока путь не вывел к зиянию в скале. Эти врата шириной в триста ярдов вели в овальный амфитеатр с отвесными стенами, подавлявшими своей высотой. Вдоль них тяжело громоздились обломки скал, «как крепости», рухнувшие с вершин. Солнце опустилось за стены, и центральное углубление амфитеатра, поросшее кустарником, стало заливом тени, тогда как отвесы пламенели королевским пурпуром.

Из скал, будто от удара посоха Моисея, струилась вода. «Дожди, падая на серые купола вершины, казалось, медленно напитали пористую скалу; и мое воображение следовало за ними, просачивающимися вниз дюйм за дюймом сквозь эти горы песчаника до тех пор, пока они не достигали непроницаемого горизонтального пласта основания, где бежали под давлением по его вершине струями, которые выбивались наружу на поверхности утеса там, где соединялись два скалистых слоя».[5]

В этом амфитеатре, под выступом скалы, отряд остановился на привал. Темнота сгустилась быстро, как это свойственно гористой местности. Однако отдыхать Лоуренсу не пришлось: здесь его встретили вожди нескольких недовольных кланов ховейтата, подозревавшие Ауду в желании установить над ними свою власть. Лоуренс заставил своим красноречием замолчать самого беспокойного из них, но только замолчать. Наутро прибыл Заал и вскоре столкнулся с тем, тогда как другие кланы выражали свою преданность делу Фейсала. Лоуренс, не в силах разобраться в этих внутриплеменных сложностях, решил возвратиться в Акабу и встретиться с Фейсалом. Оставив сержантов на попечение Заала, он в сопровождении одного

из своих людей повернул обратно.

Им был известен только долгий путь через Вади Итм. Существовал и более короткий, который они не надеялись отыскать без проводника, но, тем не менее, смогли его обнаружить, и, таким образом, дорога до Акабы заняла только шесть часов.

Лоуренс испугал Фейсала своим неожиданным возвращением, но быстро объяснил положение, и они решили направить в качестве посредника шерифа Абдуллу эль Фейра, а кроме того – двадцать верблюдов с погонщиками для дальнейшей перевозки взрывчатки.

Отправившись обратно до рассвета, Лоуренс днем уже был в Вади Рум. Посланнику удалось уладить разногласия и завербовать для Лоуренса сто человек, что было, однако, только третью необходимого.

В отсутствие Лоуренса Льюис исследовал окрестные скалы и обнаружил приятные источники. Лоуренс, узнав об этом, с радостью отправился мыться. Поднявшись минут за пятнадцать по ущелью вдоль разрушенного набатейского акведука, он оказался возле водопада. Вода выбегала из темно-красного утеса, увитого зеленью, и образовывала небольшой водоемчик, из которого ручьем вытекала на солнце. На выступе скалы виднелись набатейские надписи, вокруг которых арабы оставили свои пометки. Густые заросли папоротника и нежно-зеленая трава придавали особую прелесть этому райскому уголку.

Лоуренс разделся и вступил в воду, что была восхитительно прохладной. Улегшись, он расслабился в блаженстве, чувствуя, как мягкое течение ласкает его тело. Пока он был столь счастлив, появился некий старец, похожий на древнего пророка, и со вздохом опустился на его одежды, лежавшие на камне. Приметив Лоуренса, он воззрился на это «белое существо» и после долгого созерцания возвестил: «Любовь от Бога, и Бога, и к Богу». Лоуренс изумился, ибо семитам не было свойственно привносить любовь во взаимоотношения человека и Создателя. Предполагая, что встретился с чем-то необычайным, он вышел из воды и мягко попросил старика сойти с его одежды. Одевшись, он привел того к отряду и, пока приготовля-

лось кофе, пытался узнать что-нибудь еще из его мировоззрения. Однако старания ни к чему не привели, и ночью безвестный пророк исчез в темноте пустыни. Ховейтаты сказали Лоуренсу, что старик живет их милосердием, не ведая ни дня, ни ночи, не имея пристанища, не беспокоясь о пропитании, и бродит, стеная о странных вещах... Услышать его было некому, и непонятое откровение кануло во мрак. Не так ли провозвестия великих пророков растворились в глухой ночи мира?

Глава LXXXVIII

Сверхдолжные обязанности Лоуренса. – Испытание водой. – Неприступная Мудоввара. – Закладка мины. – «Зловещее выжидание». – Подрыв поезда. – Упоение грабежа. – Растерянные пассажиры. – Поиски потерявшегося. – Величие Вади Рума в иных тонах. – Слава.

На рассвете 16 сентября отряд, численностью в сто шестнадцать человек, покинул Вади Рум. Раздоры перешли в молчаливое состояние, и отдельные части не желали ни говорить, ни ехать друг с другом. Лоуренсу все они казались зловещей ордой, в которой нельзя было доверять никому, кроме Заала. И именно Лоуренсу пришлось принять на себя руководство этим собранием, потому что никто не желал подчиняться Заалу, кроме его людей, из-за близости того к Ауде. Принять «вопреки принципам и здравому смыслу, так как особое мастерство набегов, частности привалов для приготовления пищи и выпаса верблюдов, направление, плата, споры, раздел добычи, кровная вражда и порядок похода далеко выходили за пределы программы оксфордского курса современной истории».[1] И бедный Лоуренс, «как ткацкий челнок»,[2] весь день ездил взад и вперед то к одному шейху, то к другому, стараясь создать некое подобие сплоченности.

Достичь некоторых успехов он смог, и на вечернем

привале отряд оказался разделенным только на три группы. В конце концов, удалось собрать шейхов воедино и обсудить планы на следующий день. Рассчитывалось достичь к закату колодца Мудоввары, расположенного в двух-трех милях от станции, а под покровом темноты выйти на разведку. Лоуренс не был уверен, что при наличествовавших скудных силах будет возможным взятие станции.

На другой день миновали известняковую равнину, усеянную коричневым кремнем и небольшие долины за ней и выехали на открытую местность, слегка взволнованную дюнами. Полуденный привал сделали на входе в холмы, а вечером достигли песчаной долины, загроможденной каменными обломками, где и находился колодец. Он представлял собой открытую яму с застоявшейся водой в несколько квадратных ярдов. Водную поверхность покрывала слизистая зеленая накипь, которую местами прорывали странные розовые пузыри. Как оказалось, турки бросили в воду трупы верблюдов.

Это был единственный источник, на который можно было рассчитывать до взятия Мудоввары. Поэтому пришлось скрепя сердце наполнить бурдюки мерзкой жидкостью. При этом один из ховейтатов поскользнулся и нырнул в омут. Зеленая пелена тотчас жирно сомкнулась над его головой. Через мгновение несчастный всплыл и, лихорадочно гребя, под веселый смех сотоварищей устремился к краю, оставляя за собой черную полынью очищенной поверхности, из которой взвился запах разложившегося мяса, показавшийся Лоуренсу «видимым столбом».[3]

В начале своей религиозной жизни Франциск Ассизский однажды заставил себя вкусить отвратительную кашу из многообразных подаяний, смешавшихся в его суме. Испытание водой, осквернённой гнилой плотью, было для Лоуренса наверняка гораздо более жестоким, – и только одной из тех духовных и телесных ордалий, которым он подвергся. Свят, кто не сломался под тяжестью своего существования.

С наступлением темноты Лоуренс и Заал вместе с сержантами и еще несколькими людьми отправились на

разведку. Через полчаса они добрались до хребта, откуда была видна станция. Во тьме четко выделялись желтые прямоугольники освещенных окон и дверей длинных каменных строений. Расстояние было слишком большим для мортир Стокса, дальнобойность которых не превышала трехсот ярдов. Поэтому пришлось немного приблизиться – так, что стали слышны звуки, доносившиеся от станции. Лоуренс с Заалом осторожно поползли дальше по равнине. Открывшийся вид оказался разочаровывающим. Здания были настолько прочными, что едва ли обстрел мог нанести серьезные повреждения, а гарнизон составлял около двух сотен человек. Возможность успеха была слишком мала, и Лоуренс решил отказаться от атаки, предпочтя этому подрыв поезда. Мудоввара была взята только в августе 1918 года силами верблюжьего корпуса Бакстона.

На следующее утро отряд отъехал к югу от станции и, миновав равнину, скрылся в невысоких холмах. Там он остановился в долине в полумиле от железной дороги, а Лоуренс с несколькими людьми отправился к линии. Двухарочный мост через овраг представлялся подходящим местом для закладки мины. Даже если бы не удалось взорвать паровоз, поезд неизбежно сошел бы с рельсов.

Лоуренс за полтора часа выкопал между концами двух шпал углубление для закладки пятидесяти фунтов динамита. Извлеченную землю он перенес в своем плаще в сторону, где она могла бы казаться природным наносом. Затем последовало не менее трудоемкое укладывание кабеля от детонатора к находившимся в двухстах ярдах холмам, откуда должен был быть произведен подрыв. Песок слежался, и его приходилось пробивать, чтобы разместить провода. Закопанные в одном месте, они вскакивали в другом, поэтому Лоуренс стал придавливать их камнями, которые тоже следовало зарывать, отчего оставались видимые следы. Там, где он тащил кабель, извивались четкие линии, будто от проползших гротескных змей. Для того чтобы скрыть свою работу, он засыпал место укладки песком и развеял его взмахами плаща, придавая естественную волнистость. Вся работа заняла пять часов, но зато

была сделана столь хорошо, что в конце даже сам Лоуренс не мог определить, где погребен кабель.

На высоком выступе кряжа выбрали огневую позицию для мортир Стокса и пулеметов, обеспечивавших безопасность отхода. Салему, лучшему слуге Фейсала было поручена почетная задача нажать на ручку взрывателя по сигналу Лоуренса. Оставив одного человека в дозоре, Лоуренс со своими людьми удалился в долину, где располагались остальные. К его изумлению, багаж оказался покинутым. Растерянно оглядевшись, он увидел своих арабов сидящими вдоль вершины хребта: их нахохленные фигурки четко вырисовывались на фоне сияющего заката. В своем презрении к «глупым» туркам арабы сами бывали безрассудны... Им крикнули, чтобы они немедленно спустились или хотя бы легли. Тщетно: те продолжали восседать на своей «нашести», обозреваемые и с юга, и с севера. Лоуренс бросился прогонять любопытных, но было уже поздно: турки успели заметить их с небольшого поста у Халлат Аммара, в четырех милях к югу, и открыли огонь. «Кряж просматривался одновременно от Мудоввары и от Халлат Аммара, и они испугали оба места своим непредвиденным зловеще-выжидающим наблюдением».[4]

Вскоре наступила темнота, а вместе с тем и относительная безопасность. Было решено дождаться утра. К этому времени разобщенный отряд стал единодушным в выполнении общей задачи, а выставка на кряже пристыдила всех, убедив, что вождем должен быть именно Заал.

Утро прошло в наблюдении за железной дорогой в ожидании поезда. Для арабов это было трудным делом: сидеть в бездействии они не могли. Они беспокоились, копошились и ерзали, немало досаждая Лоуренсу. Около девяти часов утра со стороны Халлат Аммара показался турецкий отряд примерно из сорока человек. Для предотвращения возникшей угрозы им навстречу выслали тридцать человек, которые должны были изобразить отступление в холмы и отвести патруль в сторону. Маневр удался.

К полудню со стороны Мудоввары появилась сотня турок, направлявшихся как раз к тому месту, где находился отряд. Единственным выходом казалось отступле-

ние, и арабы начали поспешно собираться, как вдруг часовой сообщил, что со стороны Халлат Аммара показался поезд. Они в суматохе рассеялись по насыпи, в ста пятидесяти ярдах от линии, заняв позиции для обстрела вагонов, когда те сойдут с рельс. Между тем, поезд, который тянули два паровоза, приблизился, и с него был открыт беспорядочный огонь по предполагаемому расположению засады. Лоуренс, сидевший на холмике близ моста, готовился подать сигнал Салему и с волнением гадал, насколько велики силы противника. Когда его взгляду открылся весь состав, он увидел, что в нем десять вагонов, полных войсковых частей, а окна и двери щетинятся дулами винтовок.

Лоуренс решил подорвать второй паровоз, чтобы, независимо от воздействия мины, неповрежденный локомотив не мог отцепиться и увезти вагоны. В тот миг, когда второй паровоз проходил над миной, Лоуренс подал сигнал. Раздался оглушительный грохот, и дорога скрылась во взметнувшемся огромном облаке пыли и черного дыма, из которого донесся скрежет и пронзительный металлический скрип. Внезапно из клубящейся тьмы взметнулось колесо и, со свистом описав параболу в лазури неба, тяжело рухнуло в песках позади отряда. Постепенно все замерло вместе с осевшей пылью, и наступило мертвое молчание, как оглушенность; только серые струи дыма тянулись от линии, растворяясь над низиной. Лоуренс бросился к арабам, и в то же мгновение треск их стрельбы разорвал тишину. Обернувшись, он увидел темный зигзаг состава, из которого выскакивали турки, надеясь укрыться за противоположным откосом. Град пуль откалывал от вагонов желтые щепки.

Когда Лоуренс, наконец, добрался до арабов, турки открыли ответный огонь. Они были вне досягаемости пулеметов, но мортиры Стокса скоро заставили их замолчать. Выжившие бросились в панике через пустыню, где их настиг обстрел пулеметов Льюиса. Арабы в диком восторге устремились грабить поезд. Лоуренс, тем временем, посмотрел в бинокль в сторону Мудоввары и увидел, что выступивший оттуда патруль отходит обратно, чтобы

встретить спасшихся с поезда. С другой стороны он заметил спешивших к дороге арабов, отправленных утром для отвлечения противника. Закончив обзор, он побежал взглянуть вблизи, какие разрушения произвела мина.

Мост обрушился, и в зиянии валялся первый вагон. Отворив его дверь, Лоуренс увидел кровавое нагромождение трупов. Несколько человек были еще живы, и один в бреду прокричал слово «тиф». Отшатнувшись, Лоуренс закрыл дверь и отправился дальше. Остальные вагоны сошли с рельс и лежали, как смятые жестянки. Второй паровоз являл собой дымящуюся груду металла, первый был поврежден меньше. Лоуренс с трудом отогнал неистовствующих арабов и подорвал его, чтобы турки не могли его восстановить.

Арабы грабили с упоением. Полураздетые, обезумевшие в восторге богатой поживы, они сновали взад и вперед с найденными тюками, вскрывали их на обочине и лихорадочно перекапывали, отбрасывая ненужное. Повсюду пестрели ковры, матрасы, одеяла, одежда, посуда... В своем экстазе они даже отказывались признавать Лоуренса, и ему трижды приходилось защищаться от своих потерявших рассудок сотоварищей, когда те пытались обобрать и его.

В поезде ехали беженцы и раненые, а также семьи турецких офицеров, возвращавшихся в Дамаск. Несколько десятков завывающих женщин стояли на обочине, в ужасе взирая, как арабы увлеченно растаскивают их добро. Каждый бросал добычу на ближайшего верблюда и исчезал в пустыне. Невозмутимость Лоуренса привлекла внимание женщин, и они с причитаниями бросились к нему, моля о пощаде. Он успокоил их, сказав, что «все хорошо», но они были неубедимы, и только их еще более перепуганные мужья избавили его от воющей осады и окружили сами, вопия о том же. Лоуренс с отвращением отбился от них и отошел.

Поодаль находилась группа австрийских офицеров. Они спокойно обратились к Лоуренсу по-турецки, спросив о размещении. Он ответил «на своем хромающем немецком», что турки вернутся через час и позаботятся о

них. Вскоре после того, как он отошел, между ними и его охраной вспыхнула ссора, и один из офицеров выстрелил в араба. Прежде чем Лоуренс успел вмешаться, почти все австрийцы, кроме нескольких человек, были убиты.

Лоуренса отыскал один из его людей и, удерживая охапки добычи, возбужденно прокричал, что в предпоследнем вагоне некая старая женщина желает его видеть. Лоуренс отправил его за верблюдами для погрузки пулеметов и поспешил в поезд, где и нашел почтенную арабскую даму, чрезвычайно перепуганную происходящим. Как оказалось, она была знакомой Фейсала. Лоуренс успокоил ее и отыскал ее служанку, которая принесла своей хозяйке воды. (Месяцы спустя он получил из Дамаска письмо и ковер в знак благодарности).

Выйдя из вагона, Лоуренс обнаружил пустынную и молчаливую картину разрушения, где из всех персонажей оставались только Стокс и Льюис. Арабы исчезли со своей невероятной добычей, равно как не было и верблюдов, за которыми он посылал. Думая, что придется бросить пулеметы, он уже собирался уходить вместе с сержантами, когда появился Заал со своим кузеном Ховеймилем: они вернулись на его поиски. На их верблюдов погрузили кабель, взрыватель, пулеметы и мортиры и отослали с Ховеймилем и Стоксом, тогда как Лоуренс с Льюисом и Заалом подожгли оставшиеся снаряды и убежали под аккомпанемент взрывов, заставивший приближавшихся турок счесть, что это гремит батарея сильно укрепленной позиции.

Догнав остальных, Лоуренс мягко выразил свое мнение об «исполнительности» того, кому было поручено привести верблюдов, и спросил, нет ли раненых. Как выяснилось, погиб один мальчик, бросившийся в числе первых к поезду. «Этот бросок был ошибкой, сделанной в отсутствии инструкций, потому что пулеметы Льюиса и Стокса могли уверенно завершить дело, если мина сработала должным образом. Поэтому я понимал, что эта потеря не была моей виной».[5]

Кроме того, он узнал, что пропал Салем. Кто-то сказал, что видел его лежавшим возле паровоза. Лоуренс решил

вернуться на поиски, а с ним – Заал и еще двадцать добровольцев. Добравшись до последнего кряжа, они увидели возле поезда полторы сотни турок. Попытка спасти пропавшего казалась безнадежной: турки не брали арабов в плен, и Салем наверняка был уже убит.

Для того чтобы возвращение не было бесполезным, Лоуренс предложил забрать потерянный багаж сержантов. Пока его собирали, турки заметили его с арабами и открыли стрельбу. Они бросились прочь, но неприятель начал погоню. От него удавалось отстреливаться почти до самого расположения главных сил, когда вдруг встретился Льюис с пулеметом, выехавший на помощь. Теперь преследование было легко отбито.

Нагнав свой отряд, Лоуренс узнал его с трудом: это была уже не войсковая часть, но караван, тяжело нагруженный всякой всячиной. Сержанты попросили у Лоуренса по сабле на память, и он отправился на поиски подходящих. К своему изумлению, на одном из верблюдов он увидел исчезнувшего Салема, привязанного в бессознательном состоянии к седоку. Как оказалось, один из арабов отыскал его около поезда и увез, никого не извещая. Впоследствии Салем таил некоторую обиду на Лоуренса, невольно покинувшего его на поле боя, что стало для того напоминанием о беспощадной требовательности арабов к тем, кто становится одним из них, и о своей насильно воспринятой ипостаси.

Достигнув Мудоввары, они запаслись водой в том же нечистом колодце и выступили по направлению к Вади Рум. Пересекая обширную равнину сухой грязи, Лоуренс отметил на будущее, что она может служить удобным подступом к Мудовваре для бронемашин.

Вечерний Рум был великолепен. Скалы, озаренные торжественным светом заката, пылали пурпуром, словно величание царя, в органной гармонии с цветом и формами облаков. Снова Лоуренс испытал благоговейное восхищение перед красотой и чувство духовного обновления, как то бывает в храме. Прекрасное принадлежит вечности и животворит, очищая ее силой от мирской патины. Ясная душа открыта восприятию надмирного, ибо сама

есть чуткая часть Истины. Такова была неосквернённая миром душа Лоуренса.

«Спустилась ночь, и долина стала вымышленным ландшафтом. Невидимые утесы ощущались, словно призраки, и воображение старалось собрать единый образ из их парапетов, прослеживая тот темный рисунок, который они создавали на фоне звездного полога. Чернота в глубине была очень густой: то была ночь, безнадежная для продвижения. Мы чувствовали только усилие своих верблюдов, как они час за часом монотонно и ровно нащупывали свой карликовый путь в свободном пространстве, тогда как стена впереди не становилась ближе, а стена позади не оказывалась дальше, чем вначале».[6]

Спустя два дня отряд прибыл в Акабу, нагруженный ценностями и покрытый славой. Элленби в Каире наградил сержантов медалями.

Глава LXXXIX

«Смерть при жизни». – Хаос человеческий.

«Надеюсь, что после того, как этот кошмар закончится, я проснусь и снова стану живым, – писал Лоуренс Лидсу 24 сентября из Акабы. – Это нескончаемое убийство турок ужасно. Когда оказываешься в конце на поле боя, находишь их повсюду разорванными на куски, некоторые из них еще живы, и знаешь, что так ты уже убил сотни и должен убить еще сотни, если сможешь».

«Снова стану живым»: его существование было «смертью при жизни». Казалось, настоящая жизнь осталась в стороне вместе с ним прежним, осталась его ласковым мальчиком над солнечным Евфратом, а ныне длилась мятущаяся ирреальность. Он не узнавал себя, мертвеющего среди убийств. Лоуренс кархемишский – шаловливый, вдохновенный, любящий – был им настоящим, но не это существо, измученное телесным и духовным перенапря-

жением, сходящее на нет в своем обреченном усилии. Несмотря на дерзкую надежду, он ни на минуту не забывал о своей двусмысленной (а по сути обессмысленной) роли и о том, что его действия могут завершиться провалом. Равно как ни на миг мысль о Дахуме («предаваемом» ныне или спасаемом?) не покидала его, став сознанием. Другие увлечения проходили по поверхности легкой рябью, а в глубинах жила тоскующая любовь к названному брату, в котором он обрел истинного себя. Все ничтожно в сравнении с братством – сутью бытия, равно как любая боль тише захлестывающей, опустошающей боли одиночества.

Все это время им владело одно стремление – воссоединиться с возлюбленным и, воскреснув в любви, обрести отдохновение. Только проснуться, вернуться к самому себе, восстав из небытия мира. Но время катится, как темные волны на пустынный берег одиночества, и усталость виток за витком сжимает душу, пока не наступит осознание, что боль закончится лишь вместе с тобой.

Не один Лоуренс – весь мир надеялся пробудиться от тяжелого сна и возвратиться в свое сияющее утро вдохновенных новых горизонтов. Изнурение от войны перешло предел: тыл устал ждать, армии устали убивать и погибать. Третий год чудовищный рубец пролегал от Северного моря до Швейцарии – полоса развороченной земли в семьсот километров, с опаленными краями – пепелищами сел. Другая полоса перерезала Восточную Европу от Балтики до Черного моря. Новые фронты возникли к 1917 году на границе Италии с Австрией и на греко-болгарской. Пояс укреплений и застав вился от Черного моря до северной Персии. Линии смерти – наброшенная сеть нетей.

Общий счет погибших шел уже на миллионы. Весной 1917 года по Франции прокатилась волна гражданских забастовок и, как отголосок, во французской армии начались безропотные «мятежи»: солдаты готовы были защищаться, но отказывались атаковать. Относительным улучшением условий и рядом карательных мер для инициаторов положение было приведено в равновесие. Англия

крепилась, Российская Империя рушилась, Италия изматывала свои скудные силы в обледенелых рикошетивших Альпах, для Германии стало лозунгом одно – «Продержаться».

«Это не война, это гибель мира», – писал еще в 1915 году один индийский солдат домой с Западного фронта. На протяжении всей своей истории мир содрогается в судорогах небытия, и лишь некоего завершающего удара не хватает, чтобы положить конец. Войны мировые, войны локальные: волны ненависти плещутся у подножия Креста, и последний вздох Любви –

Во Имя Мое – живи, –

почти не слышен над валами непобедимого человеческого хаоса.

Глава XC

В новый набег. – Неумолчное чувство вины. – Утешение болью. – Ожидание в засаде. – Подрыв поезда. – Действенный «луренс». – Итоги диверсий на железной дороге.

Лоуренс провел не один день с Фейсалом в Акабе за обсуждением положения, составлением планов и прочим, после чего, вдохновленный предыдущим успехом, отправился в новый набег. На этот раз он взял с собой учеников для обучения подрывному делу – французского офицера капитана Пизани и сто пятьдесят арабов. Фаррадж и Дауд снова были с ним. Для операции он выбрал участок к северу от Маана: «Так что мы проехали до Батры, перебравшись из жары в холод, из Аравии в Сирию, из тамариска в полынь».[1] За перевалом открылось знакомое ясное пространство «совершенного одиночества»: охристосерая сухая трава, рассеянные каменные обломки, меж которых местами поднимались жесткие стебли иссохшего

чертополоха, и волнующиеся лазоревые дали, как затуманенные временем воспоминания.

Первоначально предполагалось заложить мину на 475 километре, но там оказался слишком сильный гарнизон. Осторожно отступив, арабы прошли дальше по линии и обнаружили подходящую высокую насыпь с тремя встроенными мостами. Здесь Лоуренс за ночь заложил автоматическую мину нового, более мощного, образца.

День был проведен в томительном ожидании под бьющими лучами солнца. Арабы продолжали, начав по дороге, обращаться к Лоуренсу за разрешением своих многообразных затруднений, как когда-то это делали жители Джераблуса. За шесть дней похода он уладил «двенадцать случаев вооруженного нападения, четыре случая с угоном верблюдов, одно дело с женитьбой, две кражи, развод, четырнадцать случаев кровной вражды, два сглаза и один случай колдовства».[2] Обращение к нему как к вождю оказалось для него лишним напоминанием о своем «ложном» положении. Чем сильнее верили ему, тем острее становилось чувство вины, словно он обкрадывал «величественный храм о семи столпах» и того, кому этот храм был посвящен. Достаточно знать, насколько чуткой была его совесть, чтобы понять, каким испытанием оказывалась вера в него. Сознавая себя проводником – а значит, соучастником – обмана, он казался самому себе кукловодом, ведущим безвольных марионеток, чтобы однажды, когда закончится спектакль, отбросить их за кулисы. То, что он сам был главной марионеткой, он еще не воспринимал вовсе. Понимание шаткости положения арабов сочеталось с надеждой восстановить справедливость. Он был еще слишком молод и слишком сильно любил, чтобы полагаться на доводы разума, не чувства. Именно эта опрометчивая надежда не позволила ему вовремя уйти в сторону. Британское и французское правительства обманули арабов, Лоуренс – самого себя, и в этом его трагедия. Прославленная аравийская эпопея сломала его жизнь.

На закате, когда Лоуренс прилег под кустом сделать записи, внезапно выскочивший скорпион ужалил его в левую руку. Вскоре она распухла и не позволила ему спать

той ночью. Однако телесная боль принесла духовное отдохновение, отогнав мысли о «бесчестности». Когда мятущаяся душа, уставшая от страдания, нигде не может обрести хотя бы краткий покой, физическая рана или болезнь оказываются благодатным выходом, через который разряжается напряжение. Душа забывается в страдании тела, заглушающем ее собственное: это уже отдых. Еще больший – в том особом умиротворении, что наступает за иным мучительным кризисом, как небесная радостная ясность после бури. Лоуренс давно знал действенность утешения физическим мучением. Еще в оксфордские годы, в гнетущей обстановке домашнего напряжения, он подвергал себя испытаниям, которые должны были не только укрепить душу, но и успокоить ее. Это обращение к страданию не мазохизм, который есть явление сексуального порядка, но отчаяние от духовной боли, непереносимой для редкостно чуткой души. Так средневековый ревностный монах – дух пылающий – в изнуряющем сострадании Распятому подвергал себя телесным мукам, давая исход переполняющему чувству. Той же природы был Лоуренс – миру непричастная *душа*.

«Однако боль такого рода никогда не длилась достаточно долго для того, чтобы исцелить страдание разума. Через одну ночь она обычно уступает место той непривлекательной и не почетной внутренней болезненности, которая сама заставляет думать и оставляет свою жертву еще более слабой для претерпевания чего-либо».[3]

Утром над миной беспрепятственно прошел поезд. Что-то было не так. В полдень Лоуренс заложил над зарядом лиддита электрическую мину, чтобы взрыв одного вызвал детонацию другого, и разместил под северным мостом пулеметную команду. Еще один день ослепительного солнца протянулся в напряженном ожидании. Над миной бродили турецкие патрули, не замечая ее.

На другой день со стороны Маана показался дым, и в то же время на линию вышел патруль. Лоуренс и арабы замерли: кто первый наткнется на мину? Лоуренс рассчитал, что патруль не успеет дойти до места закладки нескольких сот ярдов, когда там будет поезд, поэтому все приго-

товились.

Лоуренс сидел под кустом в русле высохшего потока, обозревая и поезд, и пулеметчиков, и подрывников. Когда паровоз, тянувший двенадцать грузовых вагонов, достиг мины, он подал сигнал. Взвилось черное облако, скрывшее его самого, и почти тотчас затрещали пулеметы арабов. Клубящаяся чернота начала рассеиваться, и только желто-зеленый дым лиддита продолжал густо струиться над обломками. На буферах в хвосте состава появился турок и отцепил четыре вагона, которые покатились под уклон. В одном из окон показался турецкий полковник и выстрелил в Лоуренса из маузера, поверхностно ранив ему бедро. «Я посмеялся на его чрезмерную энергию регулярного офицера, думающего поспособствовать успеху в войне убийством одного человека».[4]

Во время этого набега около двадцати турок было убиты, остальные захвачены в плен. Из арабов никто не пострадал. В поезде находилось семьдесят тонн продовольствия, так что отряд снова превратился в богатый караван.

Ученики, взятые Лоуренсом, оказались способными и в дальнейшем успешно производили подрывы и обучали этому делу других. Слухи об их удаче поползли по пустыне – и чем дальше от первоисточника, тем невероятнее. «Пришлите нам луренса, и мы будем взрывать им поезда», – написали бени-атийе Фейсалу. Вместо чудодейственного «луренса» Фейсал предоставил им Саада – отчаянного аджейля, с чьей помощью они захватили один важный поезд с высокопоставленным лицом и ценностями, причем «добычей» Саада, как и Лоуренса при Мудовваре, стал только кабель.

В последующие четыре месяца были подорваны семнадцать паровозов и большое количество товарных вагонов, а в Дамаске – вывешено объявление с предостережением для «друзей» об опасности путешествий по сирийским линиям. Таким образом, передвижение оказалось расстроенным почти до Халеба, а поездки по железной дороге стали для турок причиной ужаса. Поскольку подвижной состав для Палестины и Хиджаза происходил из одного ресурса, успехи в разрушении паровозов лишили

турок не только возможности эвакуировать гарнизон Медины, но и собрать необходимые силы для ответа британской угрозе в Палестине. Так арабы, ведомые Лоуренсом, обеспечили англичанам успех на ближневосточном фронте.

Глава XCI

Перемены в командовании и укрепление британской армии. – Силы турок. – Газа-Беэршева: новый подход. – Майнерцхаген и его план. – Роль арабов. – Выбор Лоуренса.

«Приход Элленби изменил англичан. Широта его личности смела тот туман частных конфликтов и споров между отделами, в котором работали Мюррей и его люди».[1] Штаб был реорганизован. Генерал Линден Бэлл был заменен генералом Болсом – «маленьким, быстрым, храбрым и приятным человеком»,[2] бывшим начальником штаба Элленби во Франции, а мозговым центром стал Гай Доуни – умный, несгибаемый и преданный делу. Армия была усилена новыми войсковыми частями и тяжелой артиллерией, что являлось как результатом требований Элленби, так и нажима Ллойд Джорджа в Лондоне. Британские силы возросли до семи пехотных и трех кавалерийских дивизий, и их общая численность составляла семьдесят пять тысяч штыков и семнадцать тысяч сабель – против турецких восьми слабых дивизий и двух кавалерийских полков общей численностью в тридцать тысяч штыков и одну тысячу четыреста сабель. Кроме того, турки имели ударную армейскую группу из семи дивизий в Халебе и «стальное ядро» в виде нового немецкого «азиатского корпуса», состоявшего из артиллерийских, пулеметных и других технических родов войск. Последнее подразделение было сформировано под руководством Фалькенгайна для создания перевеса на Ближнем Востоке. Первоначально турки намеревались использовать

его для возвращения Багдада, но затем, по настоянию Фалькенгайна, оно было избрано для наступления на палестинском фронте, состояться которому не позволила британская атака.

Линия турецких укреплений тянулась от Газы до Беэршевы. Газа являла собой наиболее сильную позицию, которую англичане уже дважды безуспешно пытались атаковать. Мюррей упорно верил в принцип удара по основному участку и упускал из вида, что взятие Газы стало бы только местным успехом, так как турки имели возможность отойти на вторую линию обороны, которая могла быть атакована лишь с юго-востока. С переменами в командовании изменилось и ведение войны. Гай Доуни, верно оценив ситуацию, предложил взять Беэршеву до наступления на фланг главной позиции, что позволило бы развернуть наступающие силы и обеспечить их водой. Для того чтобы победа досталась дешево, должно было держать турок в неведении у Газы и, следовательно, вести приготовления в условиях строжайшей конспирации.

Элленби с его природой кавалериста оценил этот маневр по достоинству, а один решительный офицер разведки, не терпевший полумер, внес действенные дополнения. О нем стоит рассказать подробнее, потому что это имя нам еще встретится при весьма любопытных обстоятельствах.

Это был Ричард Майнерцхаген (1878 – 1967), в то время в звании майора. Он происходил из семьи лондонских банкиров, имевших высокое положение и влиятельные связи в обществе. Отец желал, чтобы Ричард продолжил дело династии, но тот не имел никакой склонности к банковской деятельности. С детства его увлечением были птицы. Философ Герберт Спенсер, друг семьи, поддерживал его интерес и наставлял во время прогулок: «Наблюдай, запоминай, объясняй!» Орнитология стала специальностью Майнерцхагена.

Военный опыт он приобрел во время службы в Индии (с 1899), потом в Африке Восточной (1902-1906) и Южной (1907-1909), затем на острове Маврикия и в 1913 – снова в Индии: везде в стрелковых частях. При этом он пользовался возможностью изучить ранее неизведанные уголки

природы. С началом Первой Мировой войны он был назначен в отдел разведки индийских экспедиционных сил, а с января 1915 по август 1916 года возглавлял отдел разведки в Восточной Африке, с центром в Найроби. Затем – разведка в Каире.

Майнерцхаген «обладал логическим складом ума, являлся идеалистом до глубины души и был увлечен своими убеждениями до готовности использовать злое в стремлении к доброму. Он был стратег, географ и молчаливый смеющийся, ловкий человек».[3] Так его охарактеризовал Лоуренс. Яростный Майнерцхаген не мог быть личностно близок ему, но этот мужественный облик при «неимоверно мощном теле»[4] волновал его впечатлительную чувственность...

Майнерцхаген разработал «план», согласно которому главной атаке на Газу должна была предшествовать ложная атака на Беэршеву. Этот план вместе с соответствующими приказами и критическим разбором схемы был уложен в вещевой мешок, запачканный свежей кровью. 10 октября Майнерцхаген выехал за линию фронта, открыл огонь по дозору турецких кавалеристов и вынудил их к преследованию, во время которого, притворившись раненным, словно случайно обронил сумку.

Прием сработал. Встревоженные турки сосредоточили все внимание на укреплении Газы, пренебрегая позициями другого фланга. Кроме того, был опубликован приказ, предостерегавший турецких офицеров от ношения документов во время нахождения в разведке. Успех принадлежал разведке, но его «известная доля должна быть приписана и Мюррею, который своими последовательными неудачами британских войск у Газы смог, по-видимому, убедить турок в безграничной глупости англичан»,[5] – как замечал Лиддел Гарт.

Элленби планировал наступление на ноябрь. Арабы являлись его средством отвлечения противника и должны были быть готовы ударить в нужный момент там, где это менее всего ожидалось и было наиболее чувствительно. Их основной тактикой оставался легкий нажим на железнодорожную артерию Хиджаза – вместо ее полного пере-

крытия: турки, держась за Медину, оказывались потеряны для более серьезных действий. Что же касается конкретной помощи предстоявшему наступлению, Лоуренс первоначально намеревался атаковать Дераа – место соединения железных дорог из Иерусалима, Хайфы, Дамаска и Медины. В этом регионе находились значительные силы арабов – руалла, серахин, сердийе, корейша, оседлые жители Хаурана и Джебель Друз: резерв армии Фейсала. Двенадцати тысяч было бы достаточно, что взять Дераа и, может быть, даже захватить врасплох Дамаск.

«Не в первый и не в последний раз служба двум хозяевам досадила мне. Я был одним из офицеров Элленби и пользовался его доверием; в ответ он ожидал, что я сделаю для него все, что в моих силах. Я был советником Фейсала, и Фейсал так полагался на честность и весомость моего совета, что часто принимал его без раздумий. К тому же я не мог объяснить Элленби все положение арабов – так же, как не мог открыть весь британский план Фейсалу».[6] Раскрыть британские замыслы означало бы лишить арабов вдохновения, необходимого для их победы. После нее Лоуренс, как мы уже не раз упоминали, надеялся добиться признания за ними завоеванных территорий. В службе англичанам им двигало чувство чести, в служении арабам – привязанность к одному из них: мотив гораздо более сильный. Поэтому, когда приходилось выбирать, он всегда делал выбор в пользу арабов.

Поднять восстание у Дераа можно было только однажды. В случае провала Фейсал терял свои лучшие силы. Возможность же неудачи была слишком велика. Успех британского наступления зависел от погоды, к тому же сами способности армии не вызывали доверия Лоуренса. «Рядовые были храбрыми воинами, но их генералы часто отбрасывали по глупости то, что они приобрели в неведении. ... Так что я решил отложить рискованную идею ради арабов».[7]

Глава XCII

План Лоуренса о диверсии в долине Ярмука. – Необходимый Али ибн эль Хуссейн. – Низкий потомок великого вождя. – Исключительная изобретательность Дауда и Фарраджа. – Выступление из Акабы. – Умиротворенность высот. – Блуждание во мраке. – Встреча Али во всеоружии. – Эхо боев у Газы. – Прощание с Аудой и продолжение пути.

Поскольку арабское восстание материально зависело от содействия англичан, было необходимо что-то предпринять и для блага Элленби, не вовлекая при этом в операцию крупные силы. И Лоуренс, чтобы не рисковать арабами, решил рискнуть собой и нанести удар по турецким линиям сообщения, которые находились перед британскими войсками.

Целью был выбран один из мостов в долине реки Ярмук, через которую проходила железная дорога из Палестины к Хаурану на пути в Дамаск. Глубина и обрывистость этого ущелья делали крайне сложным строение сообщений. Линия шла с рядом поворотов и несколько раз пересекала поток через мосты, из которых самый западный и самый восточный были наиболее трудными для восстановления. К тому же они, будучи вдалеке от угрозы, слабо охранялись. Разрушение одного из этих мостов изолировало бы турецкую армию в Палестине от базы в Дамаске по крайней мере на две недели и лишило бы ее возможности отхода при наступлении Элленби. В случае поражения неприятеля под двойным натиском с фронта и тыла, арабы могли бы устремиться на Дамаск, «перехватив на полпути эстафету британцев».[1]

Элленби согласился с этой схемой и наметил для ее выполнения 5 ноября или же один из ближайших трех дней. Его наступление на Беэршеву было запланировано на 31 октября, и он надеялся сопроводить его ударом на внутренний фланг противника несколькими днями спустя.

Лоуренс предполагал выступить из Акабы на Ярмук через Азрак, то есть сделав крюк в четыреста двадцать

миль. В Азраке был необходим руководитель для потенциальных сторонников. Назир, обычно исполнявший эти обязанности, отсутствовал, и Лоуренс попросил у Фейсала Али ибн эль Хуссейна, чей восхитительный образ пленил его воображение год назад у колодца Мастуры.

«Молодой и привлекательный шериф-харит отличился в первые безнадежные дни Фейсала у Медины, а позднее переньюкомбил Ньюкомба у Эль Улы. ... Его отвага, возможности и энергия были испытаны. С самого начала не существовало такого приключения, что показалось бы Али слишком опасным для попытки, равно как не было такого бедствия, которое стало бы для него слишком тяжелым, чтобы не встретить его со смехом.

Физически он был великолепен: не высокий и не тяжелый, но столь сильный, что он мог, встав на колени и держа руки на земле ладонями вверх, подняться с человеком на каждой руке. Кроме того, Али был способен обогнать бегущего рысью верблюда, сохраняя свою скорость пол-мили, а потом вскочить в седло. Он был дерзким, упрямым, тщеславным, столь же отчаянным в слове, как и в деле. Он умел при желании произвести впечатление на публику и был прекрасно образован для человека, чьим врожденным стремлением являлось превзойти кочевников пустыни в войне и физических упражнениях».[2]

Конечно, Лоуренс опять влюбился. Едва ли он забывал это видение красоты, но другие встречи заслонили его, теперь же представился случай насладиться и этим соблазнительным юношей. Вполне вероятно, что не только военная выгода заставила Лоуренса спрашивать у Фейсала об Али...

Из-за опасности при подрыве большого стального моста Лоуренс брал с собой дублера – базового инженера. Для того чтобы предотвратить подход неприятеля во время подрыва, он задумал взять команду пулеметчиков-индусов, ранее участвовавших в набегах на железную дорогу. Сознавая, какой интерес он представляет для противника, Лоуренс позаботился о своей безопасности и собрал охра-

ну из дюжины человек. Дауд и Фаррадж сопровождали его в этом походе. Заметным попутчиком оказывался Ллойд Джордж, проводивший последние дни в Акабе перед отправкой в межсоюзнический штаб в Версале: он решил проехаться с отрядом до Джефера.

Во время приготовлений появился неожиданный сторонник в лице эмира Абд эль Кадера эль Джезаири, внука прославленного защитника Алжира от французских оккупантов в 1840-х годах. Абд эль Кадер был главой алжирских изгнанников, проживавших на северном берегу Ярмука. Его союзничество давало возможность контролировать среднюю часть долины, где располагались несколько основных мостов, без опасности разжечь восстание в целом, так как алжирцы были чужаками, к которым арабы не стали бы присоединяться.

Однако Лоуренса встревожила телеграмма Бремона, в которой сообщалось, что Кадер является турецким шпионом. Лоуренс присмотрелся внимательней: ничто не говорило о двойной игре. Тогда он решил, что на мнение Бремона повлияли резкие отзывы Кадера о Франции. Фейсал что-то чувствовал, но и у него желание доброго суждения взяло верх над недоверием, и он только заметил: «Я знаю, что он безумен. Думаю, что он честен. Берегите свои головы и используйте его».

Мы знаем, что Лоуренс умел определять сущность людей в первую же встречу. Как же он мог смешаться теперь? Из-за отказа от скоропалительного приговора и из убеждения, что «жулик не повредит нашей честности, а из честного человека жулик делается легче всего подозрением».[3]

Однако даже если бы Кадер не оказался проходимцем, то несносным попутчиком он был бы все равно. Фанатичный, он злопыхал на явное христианство Лоуренса и, болезненно самодовольный, оскорблялся тем, что племена приветствовали Али как более великого, а Лоуренса – как более лучшего, чем он сам. Из-за него Али несколько раз терял самообладание.

24 октября отряд должен был выступить из Акабы, однако случилась задержка из-за весьма забавного проис-

шествия. Дауд и Фаррадж, веселые чертенята, «превзошли самих себя» и исчезли как раз утром этого дня. Лоуренс отложил отъезд и мог лишь гадать, куда пропала его любимая парочка. В полдень было доставлено послание от шейха Юсуфа, губернатора Акабы, в котором говорилось, что мальчики находятся у него под арестом.

Лоуренс незамедлительно отправился к шейху. Тот, несмотря на гнев, не мог удержаться от смеха. Как выяснилось, он недавно купил для верховой езды кремового верблюда – замечательного, чистейшей крови. Вечером его сокровище мирно бродило в пальмовых садах, где располагались аджейлики Лоуренса. Конечно, в их сообразительных головках тотчас зародилась блестящая идея. Не предполагая, кому принадлежит верблюд, они «трудились до рассвета», окрашивая его голову огненно-рыжей хной, а ноги – индиго. Потом, утомленные, но удовлетворенные творением рук своих, отпустили жертву.

В Акабе появление такого чуда оказалось событием. Шейх, с трудом признав свое животное, бросил всю полицию на розыски преступников. Мальчишек скоро нашли и привели к нему. «По локоть в краске», они громко опровергли все обвинения. Юсуф не внял и ради воспитания отстегал их прутом, а затем заключил в темницу «для размышления».

Лоуренс предоставил Юсуфу верблюда до тех пор, пока его собственный вновь не приобретет достойный вид, и объяснил острую потребность отряда в этих «грешниках», пообещав следующую порцию вразумления, когда их спины заживут. Фаррадж и Дауд с ликованием вышли на свободу и, напевая, присоединились к отряду.

Выступили вечером, направляясь в лагерь Ауды в Джефере. Кадер наотрез отказался ехать в одном караване с Лоуренсом и Ллойдом, и несчастному Али пришлось сопровождать его в арьергарде. Лоуренсу оставалось только досадовать на этот балласт, лишавший его приятного общества.

Наутро, после легкого дождя, земля и небо, казалось, были соединены в одну мягкость света и ясность воздуха. «Цвета скал, деревьев и почвы были столь чисты, столь

живы, что мы жаждали настоящего соприкосновения с ними и сожалели о своей неспособности забрать что-нибудь из них с собой».[4] Ночь провели в торжественном Вади Руме, внушавшем благоговение, как храм, и заставлявшем разговаривать почтительным шепотом. На следующий день появились Али и Абд эль Кадер, перессорившиеся в дороге.

У Аба эль Лиссана Лоуренс с одним мальчиком из своей охраны произвел разведку, чтобы убедиться в отсутствии турецких патрулей. Забравшись на высокий кряж, они принялись обозревать окрестности. Вдали открывались долины, сходившиеся к Аба эль Лиссану, внизу отдыхал отряд и паслись его верблюды, на отдалении виднелись турки, не подозревавшие о присутствии противника. Тени облаков скользили по траве, как воспоминания о небе. «Было мирно, прохладно, и все казалось очень далеким от суетного мира. Суровость высоты отбросила вульгарный багаж наших забот. Вместо этого она дала свободу, возможность быть одному и избегать сопровождения наших искусственных сущностей, подарила отдохновение и забвение оков существования».[5] Тишина, уединение, покой... Приблизившаяся вечность принимала Лоуренса на бестревожной высоте, и он был словно освобожденная душа в небесных пространствах. Именно этого ощущения спокойствия он желал, как возможности быть. Только оно – обертон бытия, тогда как напряжение – настроение гибели.

Между тем, вдали, на перевале, показалась кавалькада Али, и Лоуренс со своим мальчиком бросились вниз. Как выяснилось, Али потерял при переходе четырех верблюдов и опять рассорился с невыносимым Кадером. Однако он был вынужден страдать дальше, держась позади, и Лоуренсу приходилось дальше быть лишенным его общества. Следующая встреча ожидалась в лагере Ауды.

Ночью отряд двигался, определяя направление по Ориону, в сторону железной дороги, пока путь не вывел на обширную равнину, казавшуюся темной бесконечностью, чуть посеребренной светом звезд, а мелкие русла высохших потоков, пересекавшие ее, напоминали искомую ли-

нию.

Линии не было. Лоуренс и Ллойд выехали вперед на разведку и все больше и больше удалялись от основных сил. Командир пулеметчиков выслал вперед человека, чтобы держать их в поле зрения. Затем – другого, третьего, пока вся его группа не вытянулась в одну нить. Наконец, он передал им двигаться медленнее, но его слова, пройдя три языка, стали невразумительными.

Слабый ветер носил запах увядшей травы, и те же обманчивые черты перемежали равнину. Стало ясно, что направление неверно. Лоуренс и Ллойд спешились и по компасу выбрали другую звезду. Снова потянулись долгие часы сквозь темноту, пока, наконец, впереди не показались квадратные очертания станции Шедия. Проехав осторожно мимо, отряд уверенно устремился вперед, рассчитывая в совсем скором времени достичь искомой дороги. Однако перед ними простиралась такая же дикая пустыня. Надежда начала исчезать, и из черного пространства стали обступать ночные страхи. В стороне показался ряд странных движущихся деревьев. Затворы щелкнули, но то были только деревья.

Через час впереди появилось нечто, похожее на насыпь. Подъехав ближе, стало возможным разглядеть фигуру с белой головой. Затаив дыхание, с опаской приблизились... Оказалось, это был километровый столб: впереди пролегала искомая железная дорога. На ней никого не было. Отряд быстро преодолел ее и скрылся в успокаивающей глубине молчаливой пустыни, тогда как Лоуренс с одним из людей срезали телеграфные провода. Через час остановились на привал, как вдруг с севера донесся треск пулеметов и ружей. «Маленький Али и Абд эль Кадер не делали столь явным пересечение линии».[6] Однако опасности не было.

На другой день достигли равнины Джефера, оживленной причудливыми миражами, и после полудня прибыли в лагерь Ауды. Тот был в ссоре со своими младшими вождями и сожалел, что его застали в столь печальном положении. Лоуренс постарался загладить разногласия, дав новое направление мыслям, и добился успеха. Арабы за-

улыбались, а с ними это означало половину победы.

Лоуренс рассчитывал на содействие Заала в проведении предстоящего набега, но тот не проявил к этому никакого интереса. Пресыщение богатством сделало из храброго воина осторожного человека.

Во время разговора с Заалом к костру примчался перепуганный араб и выпалил, что со стороны Маана приближаются всадники. Турки давно хвалились, что однажды посетят Абу Тайи. В их распоряжении имелись кавалерийский полк и полк всадников на мулах, так что было необходимо быстро и основательно подготовиться к их встрече. У Ауды было недостаточно сил для такого столкновения, но Лоуренс радовался тому, что у него есть команда индийских пулеметчиков – хороший ответ турецкой дерзости.

Верблюды были спрятаны, пулеметы расставлены, шатры свернуты, немногие люди Ауды присоединились к защитникам. Все было готово. Недолго прождав, в наступающем неприятеле признали Али и Абд эль Кадера, подъезжавших со стороны противника. А ночная перестрелка на линии оказалась коротким боем между Али и турками, в котором Али потерял двух человек и лошадь.

В Джефере Ллойд покидал отряд, о чем Лоуренс немного сожалел: «Он отличался пониманием, был способен разумно помочь и желал нашему делу добра. Кроме того, он был единственным полностью образованным человеком с нами в Аравии, и в эти несколько дней мы могли мысленно уйти вдаль, обсуждая любую книгу или вещь, что приходили на ум».[7]

Ночью у костра, когда Лоуренс продолжал улаживать споры ховейтатов, Ауда вдруг призвал всех к тишине. Прислушавшись, они уловили отдаленный рокот, словно огромные волны разбивались о скалы в неимоверной дали. То англичане бомбили укрепления Газы, готовя наступление войск Элленби.

На следующее утро в атмосфере дружественности Лоуренс со своим отрядом покидал лагерь Ауды. На прощание Ауда горячо обнял Лоуренса, успокоившего его мятежных ховейтатов. Когда Лоуренс уже собирался садиться в

седло, Ауда бросился к нему и, крепко прижав его к себе, прошептал: «Остерегайся Абд эль Кадера». Вскоре отряд скрылся на равнинах Джефера.

Глава XCIII

Наступление англичан по линии Газа-Беэршева: Атака на Беэршеву. – Начало атаки на Газу. – Инициатива Ньюкомба. – Взятие Газы. – Дальнейшее отступление неприятеля.

Вечером 27 октября над Газой разразилась сильная гроза. Ливень затопил турецкие траншеи и повредил немалую часть их амуниции. В тот же день британские войска начали бомбардировку укреплений Газы. 30-го на помощь пришли военные корабли, в том числе один французский. Пехотная атака не была начата до взятия Беэршевы.

Наступление на Беэршеву было запланировано на 31 октября. Британские силы составляли две дивизии кавалерийского корпуса и четыре пехотные дивизии 20-го корпуса, то есть шестьдесят тысяч штыков и сабель против пяти тысяч турок. Последние, пригвожденные к своим позициям британской пехотой, не смогли воспрепятствовать обходу своего восточного фланга австралийскими и новозеландскими кавалерийскими частями, и в семь часов вечера город был взят. Таким образом, левый фланг главной позиции противника оказался обнаженным.

В ночь на 1 ноября была проведена атака на часть укреплений Газы, являвшая собой наступление окопа на окоп при содействии танков. 3-го или же 4-го числа Элленби рассчитывал на готовность своих войск к атаке на позиции у Шериа. Однако трудности с обеспечением водой нарушили эти расчеты, и вторая фаза наступления была отложена до 5-го. Турки могли воспользоваться передышкой и укрепить угрожаемый участок, но этому помешала инициатива Ньюкомба.

В июле Ньюкомб был отправлен в Каир из-за болезни (большею частью, то было нервное переутомление). Пребывая там, он выразил Элленби свое желание отправиться с отрядом арабов в пустыню к востоку от Беэршевы и поднять восстание во время наступления британских войск, а после взятия Беэршевы перерезать дорогу, ведущую к северу от Хеброна и Иерусалима. Элленби принял этот план.

Собранный Ньюкомбом отряд из семидесяти бедуинов обладал значительной огневой мощью: пушки Льюиса, десять пулеметов и взрывчатые вещества. 30 октября он вышел из Аслуджа и, сделав обход в тридцать пять километров к северо-востоку от Беэршевы, вечером 31-го спустился к дороге Беэршева-Хеброн и перерезал телеграфные провода, шедшие в Иерусалим.

Узнав от дружественного бедуина о занятии Беэршевы, Ньюкомб решил перекрыть противнику путь отступления в северном направлении. Подвергая себя опасности, он рассчитывал, что на помощь подойдет британская кавалерия, но надежда не оправдалась. Осуществленное им отвлечение турок открыло для британской армии проход через центр противника и создало в турецком тылу тревогу, породившую стратегический мираж: им казалось, что англичане наступают по хевронской дороге на Иерусалим. Поэтому они перебросили дополнительные части к Хеврону, чем обрекли почти половину своих сил на бездействие в продолжение недель.

Поднять восстание Ньюкомбу не удалось: арабы предпочли подождать выяснения обстановки. Но и угроза восстания оказывала на турок почти то же воздействие, что оно само.

1 ноября отряд Ньюкомба был атакован сотней турок, которые во время завязавшегося боестолкновения потерпели поражение. Позднее бой возобновился, и в ходе него Ньюкомб потерял двадцать человек, после чего был вынужден сдаться, поскольку турки заняли такую позицию, с которой могли уничтожить оставшихся в живых. Его появление с востока создало у неприятеля впечатление о глубоком обходном движении британской кавалерии по

направлению к Иерусалиму.

6-го армия Чэтвуда нанесла решительный удар по укреплениям Шерии. На этом участке линия обороны была слаба: на фронте в десять километров имелись только два полка.

Тем временем продолжалась бомбардировка Газы. К 7-му турки покинули город, а к утру 8-го отступали по всей линии, преследуемые англичанами.

В продолжение шести месяцев гремели разрывы снарядов у стен древней Газы, что за свою четырехтысячелетнюю историю была взята и разрушена более сорока раз. Теперь наступила тишина. А на склонах холмов оставались лежать непогребенные тела тех англичан, что погибли в марте-апреле 1917 года. Те из них, чья смерть была медленной, продолжали сжимать Библии или письма из дома. Турки даже ради собственной пользы не позаботились о том, чтобы убрать их из-под палящих лучей, и провели колючую проволоку поверх останков.

14 ноября англичане захватили узловую станцию, получив контроль над железнодорожной веткой на Иерусалим и снова заставив турок отступать. Одни отошли к северу, через Рамле к Тул Керам, другие – к востоку для прикрытия Иерусалима.

Вечером 16 ноября британские войска вошли в Яффу, древний порт Иерусалима. Теперь предстояло преодолеть иудейские холмы и занять дорогу Наблус-Иерусалим, после чего становилось возможным взятие Святого Города.

Глава XCIV

Осенний покой. – Радушная атака. – Давняя любовь Али. – «Умственная гимнастика» Лоуренса. – «Черти из вихря». – Присоединение серахинов и воодушевляющая речь Лоуренса и Али для них.

В то время, как англичане готовились атаковать Газу,

отряд Лоуренса продолжал свой путь. Он продвигался неспешно: индусы были новичками и могли преодолевать только тридцать пять миль в день. Поэтому дорога казалась легкой прогулкой после предыдущих торопливых разъездов.

Стояли последние дни октября, с золотистыми туманными рассветами, легким сиянием спокойного солнца и прохладными вечерами, таившими в розовости закатов неведомую печаль, словно о чем-то дорогом, угасавшем последними лучами в ясном небе. После неистовства летнего зноя природа выглядела умиротворенной, отдыхающей в долгожданной свежести. То же успокоение владело Лоуренсом, будто душная «пелена мучительных лет» была отброшена, и ему вновь открылся привычный покой. Дни были «вспомнившимся сном»,[1] явлением из его каркемишского прошлого, и недоставало лишь чего-то малого, некоего последнего желания, чтобы катящаяся равнина стала просторами Каркемиша и над струящейся вечностью Евфрата показалось селение, где ждал Дахум. Прошлое томительно смешивалось с настоящим, и любимый образ странно сочетался с присутствовавшим рядом не ведавшим страха юношей. Это Али был причиной и средоточием отдохновения. Лоуренс жил новой нежностью – лучшим, животворящим чувством, и, как мальчик радостным утром, «только ощущал, что все вокруг было очень мягким, очень уютным, что воздух был пронизан счастьем».[2] «Не было никакой мысли или заботы»,[3] и снова благодатный мир воспринимался сквозь ласкающее чувство.

В сияющем благословении осени ликовали и Фаррадж с Даудом, не помнившие о гибели посреди войны и жившие с блаженной уверенностью юности, что никакая боль не может прервать это бытие – удивительное, но в то же время обычное, как дыхание. Их братство было вселенной, куда не доносился шум мира.

А сквозь нежащую теплоту покалывало что-то неясное, неудержимое, поднимавшееся из глубин света грозовым ударом бетховенского похоронного плача... «Условия столь совершенные должны были быть провозвестником

конца, однако эта определенность, которой не бросала вызов никакая мятежная надежда, только углубляла покой осеннего дара».[4] В смиренном несении своего креста Лоуренс радовался этой короткой остановке. Задумчивые дни отрицали всякую тревогу, и его разум «был почти столь же спокоен, как всегда»[5] – и как больше никогда после ноября 1917 года. Сейчас он еще мог стать прежним, наслаждаясь влюбленностью и покоем: его душа еще не была обожжена.

Когда отряд остановился на полуденный привал, с трех сторон появились всадники, угрожающе стреляя в воздух. Однако, увидев хорошую подготовленность к обороне, они изобразили, что произошла ошибка, и в ответ на гневную тираду Али объяснили, что это в их обычае – встречать чужаков выстрелами. Тот согласился, что в пустыне это хороший обычай, но все же их появление указывало на преднамеренную засаду.

Атаковавшие были из зебн-сукур, клана бени-сахр, и располагались лагерем близ Баира. Туда они пригласили отряд Лоуренса. Их вождь Мифлех посчитал, что лучше сгладить впечатление от враждебной встречи показом, в котором всадники, галопируя на конях, приветствовали Али: «Да дарует Бог победу нашему шерифу!» – и Лоуренса: «Привет тебе, Оренс, предвестник боя!» При этом клубы меловой пыли туманили воздух.

Для болезненного самолюбия Абд эль Кадера это зрелище было невыносимо. Желая привлечь к себе внимание, он вскарабкался на свою кобылу и начал гарцевать, сопровождая свои хриплые возгласы «Хоп! Хоп!» беспрестанными выстрелами в воздух. Изумленные бедуины молча взирали на это упражнение. Наконец, Мифлех подошел к Лоуренсу и Али и попросил: «Господа, отзовите вашего слугу. Он не умеет ни стрелять, ни ездить и, если ранит кого-нибудь, то разрушит всю нашу удачу этого дня».

Во время последовавшего пиршества Абд эль Кадер вновь постарался выделиться, встав из-за стола раньше других с ворчанием, что мясо было жестким. Однако на хозяев это не произвело никакого впечатления. «К тому

же сегодня у них был перед глазами противоположный пример шерифа Али ибн эль Хуссейна, прирожденного принца пустыни»,[6] – с удовольствием замечал Лоуренс, гордившийся Али почти так же, как некогда Дахумом.

Ночью, когда костры выглядели подобием звездного неба, сквозь спокойствие доносились приглушенные расстоянием рокоты британских орудий в Палестине. «Под аккомпанемент артиллерии» было получено согласие Мифлеха оказать поддержку и предоставить пятнадцать своих людей. Кроме того, он обещал привести своего сына Турки, бывшего давней любовью Али. Турки было около семнадцати лет. Невысокий, крепко сложенный, с круглым открытым лицом, он смотрел на мир счастливыми глазами. Впоследствии в двух трудных положениях он проявил свою надежность и смелость. Ему очень хотелось, чтобы его считали взрослым и воспринимали как равного, и поэтому он стремился совершить нечто достойное восхищения. Лоуренс с добротой относился к своему юному сопернику и однажды подарил ему новое шелковое одеяние, чему мальчик «чрезвычайно радовался» и дважды прошелся по лагерю без плаща, показывая свой наряд.

Бени-сахр присоединились к отряду, и во время дальнейшего пути Лоуренс постигал их диалект и частности племенных и семейных условий. Это было необходимостью, ибо не знать таких тонкостей означало являться либо невоспитанным, либо чужаком. Последние не пользовались доверием и не допускались до внутренней жизни племени. Поэтому Лоуренсу, чтобы быть «своим», приходилось постоянно подмечать и запоминать эти значительные мелочи. «Не было ничего столь утомительного, но к тому же ничего столь важного для успешного достижения моей цели, как эта постоянная умственная гимнастика видимого всезнания при каждой встрече нового племени».[7]

На ночь остановились в притоке Вади Джеша. В ясности ночи гул британских орудий слышался очень отчетливо, словно впадина Мертвого моря отражала эхо. Арабы шептали: «Они приближаются... Англичане наступают. Боже, спаси людей под этим дождем». Они сочувствовали туркам, которые долго были их угнетателями, ибо те в

своей слабости казались более близкими, чем эти чужеземцы с их подавляющей силой.

На следующее утро путь пролегал через кремневые кряжи, поросшие шафраном столь ярким, что он казался живой позолотой на коричневых камнях. К полудню впереди появилась группа всадников. Маленький Турки выехал навстречу, чтобы выяснить, кто они. Но пока те были еще далеко, Мифлех узнал в них Фахада и Адхуба, известных воинов зебна. Чрезвычайно просто одетые, даже несколько потрепанные, на худых верблюдах, они представляли собой примечательное противопоставление своей блестящей славе.

К вечеру отряд достиг колодцев Аммари, расположенных на полпути к Азраку. Сумрачный ветер кружил возле них пыль, похожую на пепел. Вода была большею частью горька, только в источнике Бир эль Эмир она оказалась лучше. Этот источник находился в известняковой впадине между песчаными холмиками. «Его глубину Дауд доказал, швырнув туда полностью одетого Фарраджа. Тот скрылся из вида в желтизне воды, а потом спокойно всплыл под краем скалы, где был невидим в сумерках. Дауд напряженно ждал минуту, но, когда его жертва не появилась, сбросил плащ и прыгнул вслед, – чтобы найти того улыбающимся под нависшим выступом утеса. Благодаря ловле жемчуга в заливе они чувствовали себя в воде, как рыбы. Их вытащили, и они устроили дикую возню в песке рядом с водоемом. Ни тот, ни другой не остались без повреждений и вернулись к моему костру насквозь промокшие, в лохмотьях и окровавленные. Их волосы, лица, ноги, руки и тела были в грязи и колючках, и они больше походили на чертей из вихря, чем на свои обычные учтивые, деликатные сущности. Они сказали, что танцевали и прыгали через куст, и было бы великодушно с моей стороны подарить им новые одеяния. Но я разрушил их надежду и отправил чинить старые».[8]

Едва отряд отъехал от колодцев, как вновь была поднята тревога из-за неких всадников. Тотчас были заняты позиции, но сражаться не пришлось: то оказались воины из племени серахин, направлявшиеся присягнуть Фейса-

лу. Неожиданная встреча принесла им облегчение, так как избавила от необходимости долгой дороги. Вечер был проведен в их лагере. Лоуренс рассчитывал на содействие серахинов в предстоящей операции, однако они не воодушевились его затеей. По их словам, весь округ, где находился выбранный мост, был наводнен турками, и никто не мог проскользнуть там незамеченным. К тому же они не доверяли Абд эль Кадеру и его людям.

Их отказ означал крах плана. Поэтому Лоуренс и Али собрали у костра лучших людей этого племени, добавили для большего вдохновения Фахада, Адхуба и Мифлеха и со всем своим красноречием принялись пристыжать малодушных. Они говорили о том, что существование в пустыне это бесконечная битва с врагом, который есть сама надежда, и смерть является последней свободой, последним отдыхом, и нет иной победы, как «сойти в смерть» сражаясь... Серахины притихли, задумались, их мирское умонастроение стало исчезать, и, наконец, у догорающих углей они с пылом согласились идти куда угодно.

Глава XCV

Волнующий Азрак. – Очарованный Лоуренс. – Измена. – Выступление к Тель эль Шехабу. – Вновь по дороге паломников. – В ущелье. – Внезапная тревога. – Бегство. – Досада.

4 ноября отряд добрался до Азрака. «Это было первой встречей Али с Азраком, и мы возбужденно заторопились вверх по каменистому кряжу, говоря о войнах, песнях и страстях первых пастушеских царей, чьи имена звучали, как музыка, и кто любил это место, а также о римских легионерах, что томились здесь в качестве гарнизона в еще более ранние времена. Затем нашему взору открылся голубой форт на скале над шелестящими пальмами, меж которых расстилались свежие луга и сияли родники. Об

Азраке – так же, как и о Руме – кто-то сказал: “Numen inest*.” Оба были волшебны, но тогда как Рум был обширен, гулок и богоподобен, бездонная тишина Азрака хранила память о бродячих поэтах, героях, исчезнувших царствах, всех преступлениях, рыцарстве и величии Хиры и Гассана. Каждый его камень и каждая травинка излучали полузабытые воспоминания о лучезарном шелковом Эдеме, давно канувшем в небытие».[1] Голубое сновидение Азрака, возникшее из опаленных пустынь, волновало так, как томят те впервые увиденные места, что в линиях своей красоты хранят глубинное родство с движениями чуткой души.

Каср аль Азрак («Голубая крепость») был возведен из базальта римлянами в начале III века и перестроен айюбидами в 1237 году. В плане он был четырехугольный, с шестью башнями по периметру. Главный вход защищала необычная дверь в виде тяжеловесной базальтовой плиты, довольно легко вращавшейся на петлях. Этот архитектурный феномен объясняется тем, что в Азраке нет иных деревьев, кроме пальм, а их древесина слишком мягка, чтобы служить строительным материалом. В центре двора возвышалась небольшая мечеть, выстроенная во времена омейядов. Стратегическая важность Азрака основывалась в древние времена на том, что он располагался в центре обширного оазиса, являвшегося единственным источником воды на пустынной площади в четыре тысячи шестьсот квадратных миль.

«Наконец, Али дернул поводья, и его верблюд стал осторожно спускаться по лавовому потоку к богатой торфяной земле за источниками. Наши усталые глаза широко раскрылись в облегчении, что горечь многих недель исчезла вместе с отраженным солнечным светом. Али воскликнул: “Трава!” – и, бросившись с седла наземь, скрыл лицо среди жестких стеблей, что казались столь благодатными в пустыне. Вскочив на ноги, он, покрасневший, с

* Божественность присутствует – *лат.*

военным кличем харитов сорвал головное покрывало и помчался вдоль топи, ограничивавшей красные каналы, в которых вода пробиралась меж тростника. Его белые ноги мелькали из-под развевающегося кашмирового одеяния... Мы на Западе редко познаем ту дополнительную красоту, когда тело кажется легко уравновешенным на босых ногах, когда ритм и грация движений становятся видимыми в игре мускулов и сухожилий, выявляющих механизм каждого шага и равновесие покоя».[2] Так, среди старинной задумчивости, где пальмы шелестели, словно прохождение минувших лет, и камни безмолвствовали, будто запечатленные воспоминания о тех, кто жил здесь прежде, Лоуренс созерцал этот невесомый бег – почти полет – в струящихся одеждах, находя ту прелесть, что является лишь зрячей душе, и откликаясь на обаяние мужской красоты, отображающей Бога. Али стал для Лоуренса душой чарующего Азрака, а его стремительность – последним штрихом ностальгической картины. Лоуренс завороженно следил за его восторгом, сладостно томясь восхищенной любовью: то был миг совершенного счастья, блеснувшего из лазурного пространства вечности.

Любовная благодать была нарушена внезапным исчезновением Абд эль Кадера. Он отправился к туркам со сведениями о намерениях отряда и оказался единственным предателем за все время восстания. Положение стало опасным, однако Лоуренс, полагаясь на обычную медлительность неприятеля, решился осуществить задуманную операцию. Из трех подходящих мест – Умм Кейса, Вади Калида и Тель эль Шехаба – доступным оказывался только последний. На следующее утро отряд выступил туда, с неуверенностью в успехе и нежеланием совершать поход, сделавшийся тягостным из-за сомнения. Перейдя кремнистую долину и кряж, они оказались в Вади Харит. Оно было полно зелени, и Али радовался, что столь богатая долина носит имя его рода. Там остановились на привал.

На другое утро наполнили бурдюки в Абу Саване, последнем источнике перед мостом Тель эль Шехаба, в

сумерках спокойно пересекли железную дорогу к югу от Дераа и через полчаса достигли скалистой долины Гадир эль Абийяд, что должна была стать отправным пунктом для перехода через открытую местность под покровом темноты. Новый день тянулся мучительно долго, воды было мало, и сама мысль о том, что завтра ее останется еще меньше, вызывала жажду.

По плану предстояло достичь Тель эль Шехаба, взорвать мост и вернуться до рассвета, то есть преодолеть в темноте восемьдесят миль за тринадцать часов. Такая работа была не по силам индийским частям, не являвшимся хорошими ездоками и уже успевшим утомить своих верблюдов. Лоуренс и Али выбрали из них шесть лучших всадников на лучших верблюдах, создав команду для одного пулемета. Таким образом, огневая мощь значительно сократилась, что заставило Лоуренса сильнее усомниться в удачном исполнении задуманного. В качестве ударной группы были выбраны двадцать человек из бени-сахр под руководством Фахада. Серахинов, малонадежных как бойцов, определили в составе сорока человек для охраны верблюдов и переноски взрывчатых веществ. Группу дополняла небольшая личная охрана Лоуренса и шесть человек из слуг Али.

Новосозданный отряд выступил на закате 6 ноября, испытывая сильное нежелание выполнять почти безнадежную задачу. Путь вел через горный кряж и затем сливался с заброшенной дорогой паломников, светлые колеи которой выделялись в черном, словно ослепленном, пространстве. Это была та самая дорога, которую Лоуренс увидел блистающим зимним днем 1911 года близ Мезериба и часть которой преодолел звездной осенней ночью 1916 года, направляясь в Рабег. В Аравии было ее начало, и он думал об «обратном паломничестве», о свободе, ожидавшей в завершении этого одинокого, забытого пути. Прошел ровно год, и тысяча двести километров дороги были отвоеваны. Но вместе с тем исчезло вдохновение начала, и осталось только упорное смирение тяжелого исполнения. Уже близкий Дамаск в эту глухую ночь подавленности казался Лоуренсу не победным увенчанием дол-

гого усилия, но концом. Иначе и не могло представляться ему, не переставшему сознавать обреченность своего сражения столь же ясно, как сейчас – тщетность предпринимаемой попытки. Мрак обступал его, будто поглощая в свою безысходность, в которой только бессветные звезды мерцали в высоте, как рассеянные искры дальнего пожара. Однако рядом с ним ехал любимый Али, и его присутствие утешало.

Достигнув очередного кряжа, отряд спешился. На севере сияли гроздья огней – там находилась станция Дераа. То оказалось ее последней иллюминацией, так как на другой день она была обесточена и оставалась без электричества целый год, пока не пала. Затем – вновь сквозь тьму, будто неизвестность, по рыхлой вспаханной земле. Лоуренс был на быстром верблюде и скоро обогнал остальных. Вернувшись к ехавшим в задних рядах, он попросил поспешать. Те делали все возможное, но проваливающаяся земля сковывала продвижение. В конце концов, Лоуренс выбрал место позади и поехал там рядом с Али.

Поле закончилось, но облегчения это не принесло. Стал накрапывать мелкий дождь, и верблюды начали оскальзываться и падать, роняя своих седоков. Вскоре морось прекратилась. Издали долетал слабый шелестящий шум, который по мере приближения все нарастал, не прерываясь. Это был большой водопад ниже Тель эль Шехаба.

Через несколько минут отряд остановился: впереди, за краем темноты, гремел поток. Они стояли как раз на краю ущелья Ярмука, и справа находился выбранный мост. Арабы помогли индусам спешиться с нагруженных верблюдов, чтобы ни одним звуком не выдать своего присутствия, а затем собрались, разговаривая шепотом. Ночь бледнела, и клочья туч неслись по синеватому небу.

Лоуренс распределил взрывчатые вещества между пятнадцатью носильщиками, и все начали крадучись продвигаться, осторожно ступая босыми ногами по осклизлому после дождя склону. Сквозь рокот воды донесся новый шум: от Галилеи поднимался поезд. В отсветах огня топок были видны открытые платформы, полные людей в

хаки – вероятно, пленных. Пройдя еще немного, они рассмотрели нечто черное, словно огромный сгусток темноты, пересекавший провал ущелья, а на другом конце – поблескивающую искру. Это были мост и палатка часового. Ничто не нарушало тишины, кроме мятущегося потока на дне пропасти.

Лоуренс, Али, бени-сахр и носильщики гуськом устремились вдоль обрыва к мосту, неразличимые в запачканных одеждах на грязно-сером фоне известнякового откоса. Добравшись до цели, они остановились. Лоуренс с Фахадом поползли дальше, к самым строениям моста. На другой стороне ущелья, в шестидесяти ярдах, находился часовой. Лоуренс собирался подорвать несущие конструкции и, оценив возможности, пополз обратно за динамитом. Вдруг молчание ночи прервал лязг упавшей винтовки, а затем – катящийся грохот. Часовой встрепенулся и в свете поднимающейся луны, оживлявшем ущелье, заметил пулеметчиков, перемещавшихся на новую позицию. Тотчас была поднята тревога, и все пришло в смятение. Бени-сахр метнулись назад. Охрана, заняв позиции, открыла яростный огонь, зарокотавший отголосками в пустотах ущелья, а захваченные врасплох индусы не могли разместить пулеметы, чтобы ответить. Ливень турецких пуль сыпался на скалы за отрядом. Серахины знали, что динамит при попадании мог взорваться, поэтому оставили его и помчались прочь. Али бросился к Лоуренсу и Фахаду, которые стояли, незамеченные, около моста, и сообщил, что взрывчатые вещества покинуты где-то в ущелье. Но забирать их было некогда; и они, под сопровождение турецких залпов, тоже устремились вверх по горной тропе. На вершине серахины уже карабкались в седла. Запоздавшие спешно присоединились к ним, и все бросились наутек.

Ближайшее селение, встревоженное пальбой, проснулось. Запылали огни и в других деревнях. Вскоре отряд нагнал группу крестьян, возвращавшихся из Дераа. «Серахины, раздосадованные на свою роль (или на то, что я сказал им в горячке побега), искали занятия и обобрали тех начисто».[3] Взывая о помощи, несчастные разбудили по-

следних спящих, и с крыш селений началась стрельба. Покинув злополучных серахинов, остальные продолжали бегство. Дорога была по-прежнему плоха, однако шум позади сглаживал ухабы. Наконец, начались холмы, но и теперь ехали так быстро, как только могли. Постепенно рев затих, отставшие присоединились к главным силам, и потянулся унылый путь. Лоуренс ехал сзади с Али.

На рассвете они достигли железной дороги, и Али с несколькими людьми перерезал телеграфные провода. «Мы пересекли эту линию прошлой ночью, чтобы взорвать мост у Тель эль Шехаба и отрезать Палестину от Дамаска, а теперь срезали телеграф на Медину – после всех страданий и опасностей!»[4] С запада доносился гул орудий Элленби, и Лоуренсу казалось, что он звучит укором. Из-за неудачи у Ярмука арабы не потеряли ничего, но она означала невыполнение обещания, данного англичанам: страдала его честь. На пути к пропасти его угнетали мысли о возможном крахе дела арабов, на обратной дороге он чувствовал вину перед Элленби. Давящее ощущение своей ничтожности испытывал он, бывшее особенно болезненным из-за доверия, оказываемого ему обеими сторонами.

Затем начался унылый мелкий дождь, и серое небо стало столь же гнетущим, как и настроение. Вечером отряд добрался до отправного пункта. Чувствуя себя в дураках, арабы злились от бессилия. Разгорелись старые споры. Али отстегал двух слуг, один из охраны Лоуренса отказался варить рис, и Дауд с Фарраджем поколотили его, но и это было только равнодушными вспышками: никто ни о чем не заботился. Всеми овладела неимоверная мертвящая усталость, одновременно телесная и духовная: та, что наступает после долгого напряжения, завершающегося не разряжающим успехом, но осечкой.

Игольчатая морось сеялась на почерневшую землю...

Глава XCVI

Ободряющее предложение Али. – Снова в Минифире. – Еще одна неудача. – Ожидание под дождем. – Опять неудача. – Заступничество Али за Лоуренса. – Томительное ожидание продолжается. – Спасение пониманием. – Подрыв поезда. – Самоотверженность Али ради Лоуренса. – Разрушения. – Смелость Турки и терпение Лоуренса. – Триумф.

Возвращаться в Азрак ни с чем не хотелось. Оставалось еще тридцать фунтов динамита, и Али предложил: «Давайте взорвем поезд!» Идея была встречена всеобщим ликованием, но Лоуренс его не разделил, так как подрыв поезда должен был быть четко спланированной операцией, и импровизация могла оказаться опасной. К тому же пулеметную команду составляли индусы, которые не обладали, в отличие от арабов, должной выдержкой и не могли сражаться на пустой желудок. (Для арабов – как, впрочем, для любых более или менее закаленных людей – было несмертельным поголодать несколько дней. Ресурсы человека являются гораздо бóльшими, чем это принято считать, но только суровые условия жизни раскрывают их в полной мере). Однако поскольку в том округе турки не ожидали угрозы железной дороге, можно было рискнуть выполнить набег и без огневой поддержки. Возможность новой попытки приободрила всех.

На рассвете индусы с горсткой непригодных арабов отправились в Азрак, ощущая себя весьма жалко из-за отнюдь не героического возвращения. В отряде Лоуренса осталось шестьдесят человек. Никто из них не знал местности, и он сам повел их к Минифиру. Там они залегли на вершине того же холма, что служил наблюдательным пунктом весной. Перед ними простиралась равнина, за которой сквозь знобящий дождь темнели вершины Джебель Друз.

Когда сгустились сумерки, Лоуренс с арабами спустился к железной дороге и заложил мину под дренажный сток на 172 километре. Кабель оказался коротким – всего шестьдесят ярдов, чего хватало для моста, но было недо-

статочно для подрыва поезда, так как возникала опасная близость к линии. Но делать было нечего, и Лоуренс захоронил провод, конец которого дотянулся только до небольшого куста – слишком неподходящего укрытия для подрывника. Из-за грязи и сырости работа потребовала больше времени, чем обычно, и была завершена лишь к утру. Лоуренс, мокрый и замерзший, подождал под дренажной аркой полного рассвета и затем замел следы над уложенным проводом, что заняло полчаса.

Вскоре с севера появился поезд, но из-за пелены дождя наблюдатель заметил его слишком поздно, и для подрыва не хватило времени. Али предположил, что из этого злосчастного похода не получится вообще ничего.

Есть было нечего, но арабы не только не жаловались, что голодны, но даже с удовольствием проявляли свою выдержку и в ожидании следующего поезда «весело сидели под дождем»,[1] прижимаясь друг к другу в поиске тепла. Лоуренс приникал к Али, как когда-то в хлещущий ливень на горе Хор к Дахуму. Среди сырого холода и неудач этот юноша был его утешением.

Лоуренс надеялся, что из-за плохой погоды Элленби будет вынужден отложить наступление на Иерусалим, и это даст арабам возможность подготовиться к более успешной попытке оказать ему помощь.

Ожидание казалось невыносимым. Вспомните, как тягостно ждать даже в теплом помещении вокзала, зная точное время прибытия поезда. Несчастные же арабы, сидя на мокрых камнях, мерзли под упорным дождем, перемежавшимся с холодным ветром, не ведая, сколько еще это продлится.

Наконец, около полудня, когда небо немного прояснилось, наблюдатель дал сигнал о приближении поезда. Тотчас арабы заняли свои позиции, а Лоуренс – место у взрывателя, откуда состав не был ему виден. Однако минуты шли, а поезд все не появлялся. Не выдержав, Лоуренс знаком поинтересовался, в чем дело. Ему ответили, что поезд, необычайно длинный, приближается очень медленно. Около часа дня он услышал пыхтение паровоза и съежился за своим жалким укрытием.

Первые десять вагонов были открытыми платформами, полными турецких солдат. Лоуренс, соглашаясь на рискованный набег без пулеметчиков, рассчитывал, что удастся подорвать товарный поезд с гражданскими или только с малым числом резервистов. Но выбирать уже не приходилось, и, когда паровоз проходил над миной, он нажал ручку взрывателя. Ничего не последовало. Он повторил это четырежды: тщетно. Осечка заставила его осознать, что он находится на совершенно открытой местности едва ли в пятидесяти ярдах от переполненного вражескими войсками состава. Куст, в фут высотой, показался ему с фиговый листок, а сам он – наиболее заметным предметом. Оставалось только надеяться, что его примут за случайного бедуина.

Тем временем, арабы, затаившиеся в долине в двухстах ярдах от Лоуренса, недоумевали, почему тот бездействует. Он не мог им ответить и сидел, сжавшись, пока мимо с изнурительной медленностью тянулся состав из двадцати четырех вагонов, словно само сковывающее напряжение. Рядовые не замечали Лоуренса, но офицеры проявили интерес. Ему ничего не оставалось, как с улыбкой помахать им, сознавая, сколь «невероятным пастухом»[2] он выглядел в мекканском одеянии с позолоченным укалем. Но то ли грязь, то ли неведение турок придали ему правдоподобия, и поезд мирно прошел мимо. Лоуренс тотчас вскочил на ноги, закопал провода и помчался наутек. Добравшись до укрытия, он оглянулся и увидел, что поезд остановился примерно в пятистах ярдах от мины, а офицеры, вернувшись к тому месту, где он сидел, тщательно его обследовали. Однако им не удалось что-либо обнаружить.

На объяснение Лоуренса, почему он пропустил поезд, серахины заметили: «Неудачи преследуют нас», – находя в этом нечто большее, чем последовательность случайностей. Лоуренс саркастически указал на их «отвагу» у моста, намекнув, что охрана верблюдов может оказаться их делом. Разгорелся спор, в котором серахины стали нападать на него, а бени-сахр защищать. Али, заслышав шум, прибежал и «благородно вступился»[3] за Лоуренса, хотя сам

окоченел от холода и дрожал в приступе лихорадки. Чтобы успокоить арабов, он сказал, что шерифы унаследовали от Пророка способность предвидения, и он знает, что удача вернется. Его слова подействовали.

Снова была занята позиция в засаде. С наступлением вечера дождь усилился, перейдя в шквалистые порывы. Настроение веселой выдержки покинуло арабов. Было невозможно развести огонь, чтобы согреться и приготовить пищу, и оставалось только выжидающе сидеть под безнадежным дождем.

Али устроился спать, прямо на холодной земле, в надежде, что во сне пройдет его жар. Один из его слуг, Казен, укрыл его своим плащом, и Лоуренс принял Казена под свой. Вскоре под плащом, как под полами Мадонны-Мизерикордии, собрались ищущие тепла. Лоуренс оставил его и отправился подготавливать взрыватель. Около него он и провел всю ночь, один на равнине, под тоскливым стоном телеграфных проводов. Мучительный холод отгонял дремоту.

Даже познав собственный холод, одиночество и томление, при всем усилии воображения почти невозможно во всей глубине объять безысходность тех неподвижных минут на цепенящем ветру под мрачным дождем, равно как всей той горечи, боли и тяжести, что полнили сердце Лоуренса на его пути к своей голгофе. Но «понять – значит спасти», выхватить из мрака в свою теплоту, из смерти одиночества – в бытие братства, согреть – и самому отогреться. Спасти – как спастись, ибо мы живы, лишь когда способны чувствовать чужую боль. Оттого и страшно не воспринять до конца – словно нечто важное недослышать, покинуть другого и – заплутать самому, ибо только чуткое сердце живо. В общей боли создается братство, и в таинстве понимания нет смерти. Если бы только хватило сил...

Рассвет казался еще безысходнее. Лоуренс вернулся к остальным. При помощи динамита удалось, наконец, развести огонь, и был зарезан верблюд. Как раз во время его разделки часовой возвестил о появлении поезда, и все вновь бросились на прежние места.

Приближающийся поезд состоял из двадцати пассажирских вагонов, которые тянули два паровоза. Лоуренс, в своем иллюзорном укрытии, нажал на ручку взрывателя. Раздался оглушительный грохот, в лицо ему ударила земля, а взрывная волна закружила его. Когда взметнувшаяся тьма немного рассеялась, и чувства вернулись к нему, он обнаружил, что на его левом предплечье кровоточит длинная рваная рана, а взрыватель лежит меж колен, разбитый куском закопченного железа. Прямо перед Лоуренсом дымилась чья-то верхняя часть туловища.

Лоуренс попробовал идти, но был остановлен резкой болью в правой ноге. Преодолев ее, он с головокружением и смутой в сознании похромал к арабам, которые яростно обстреливали вагоны. Турки начали им отвечать, и Лоуренс, оказавшись меж двух огней, залег. Али, увидев это, решил, что тот ранен, и бросился под пули к нему вместе с Турки, а с ними – около двадцати его слуг и бени-сахр. Семеро из них были убиты.

Лоуренсу запомнилась картина, «пригодная стать вдохновением для скульптора»:[4] группа стройных людей вокруг него, наполовину обнаженных, с безволосыми коричневыми телами, в белых широких штанах и с туго заплетенными косичками, спускающимися с висков.

Добравшись до укрытия, Лоуренс осмотрел себя и нашел, что, кроме многочисленных порезов и ушибов от летевшего железа, у него сломан большой палец на ноге и имеются пять поверхностных пулевых ранений: совершенный пустяк, по его меркам. Потом он взглянул на произведенные им разрушения. Взрыв уничтожил арку водостока, и остов первого паровоза лежал под откосом. Второй упал сверху. Первые три вагона, наползшие один на другой, были разбиты в щепки, остальные сошли с рельс. В одном из них находился новый турецкий командующий, назначенный для руководства обороной Иерусалима, с охраной в несколько сотен человек.

Арабов оставалось около сорока: силы были слишком неравными. Если бы наличествовал пулеметный расчет, как то обычно бывало в набегах Лоуренса, на их стороне была бы полная победа. Но без него у них не было иного

выбора, как только бежать. В каждом подходящем месте они останавливались, чтобы отстреляться от погони. «Маленький Турки проявлял замечательное спокойствие, хотя ему из-за своего прямого турецкого кавалерийского карабина приходилось так высовывать голову, что четыре пули прошли сквозь головное покрывало. Али сердился на меня за медлительность. На самом деле, мои свежие раны причиняли мне боль, но, чтобы скрыть от него настоящую причину, я принимал беззаботный вид, изображая, что заинтересованно изучаю турок. Такие повторяющиеся остановки, во время которых я набирался мужества для новой перебежки, держали его и Турки далеко позади остальных».[5]

Когда, наконец, была достигнута вершина холма, каждый вскочил на верблюда и помчался галопом в пустыню. Через час они спешились в безопасном месте, где смогли приготовить первую за три дня пищу.

Единственной добычей стали около шестидесяти винтовок. «На следующий день мы отправились в Азрак, где нам была оказана торжественная встреча и где мы – да простит нас Бог – хвастались, что были победителями».[6]

Глава XCVII

Благоустройство форта. – Посетители. – Образ Али. – Вой в ночи. – В глубине грез. – Идея Лоуренса. – Талал эль Харейдин.

Зарядили дожди, и наступление в Палестине было приостановлено.

Лоуренс решил провести зиму в Азраке, который оказывался удобной штабквартирой, откуда можно было бы вести проповедь восстания на севере и осуществлять разведку. К тому же он отделял колеблющегося Нури Шаалана от турок.

Арабы совместно с индусами обустроили форт. Древние каменные стропила, сквозь которые зияло небо, были

покрыты хворостом, пальмовыми ветками и глиной. Находившаяся во дворе маленькая мечеть, почти лишенная крыши и использовавшаяся как загон для овец, была вычищена и восстановлена. На башнях устроили пулеметные позиции, в западной башне – склад, к каменным воротам был приставлен часовой. Провизия должна была доставляться от Джебель Друз, находившегося в одном дне пути. Лоуренс занял помещение в южной башне – довольно мрачное, под тяжелыми сводами, создававшими сходство со склепом.

Когда слухи о расположении отряда в Азраке распространились по округе, начался поток посетителей. То были бедуины на верблюдах, друзы и воинственные крестьяне равнин на лошадях, арабские офицеры, дезертировавшие из турецкой армии, иногда в сопровождении рядовых, а как-то раз появилась сотня несчастных армян, бежавших от турок.

Али назначил одного человека для приема прибывающих и отбора истинных сторонников от любопытствующих, потом одного стало мало, и он добавил второго, затем третьего. Сам Али, «безрассудный соперник еще более отчаянных членов племен в их самых отчаянных подвигах, теперь обратил все свои силы к более значимой цели»,[1] и оказался великолепным представителем царственного Фейсала.

«Никто не мог, увидев его однажды, не почувствовать желания увидеть его снова, особенно когда он улыбался (что бывало редко) – одновременно губами и глазами. Его красота была сознательным оружием. Одевался он безукоризненно, во все черное или белое, и умел пользоваться жестом».[2] Али был из числа тех немногих людей, у кого внешняя прелесть кажется отображением внутренней красоты и духовной силы. Это отмечал и Лоуренс: «Судьба одарила его физическим совершенством и необычайной грацией, но эти качества были только выражением его силы. Они выявляли отвагу, которая никогда не уступала и в его упорстве могла привести к гибели. Его гордость выражалась в военном кличе “Я из харитов,” что были кланом свободных разбойников с историей в две тысячи

лет, в то время как огромные глаза, с медленным движением черных зрачков, подчеркивали застывшее достоинство, которое являлось его идеалом держать себя и к которому он старался смирить свою мятежную сущность. Иногда раздавался его заливистый смех, и его юность – мальчишеская ли, девичья ли, – огонь и задор прорывались сквозь его ночь, как восход солнца.

Но несмотря на это богатство, в нем присутствовала постоянная подавленность – стремление простого, беспокойного человека к абстракции, что находится за пределами его разума. Его телесная сила увеличивалась день ото дня и ненавистно покрывала это смиренное нечто, которое он желал больше. Его дикая радость была только знаком тщетной растраты его желания. А эти осаждающие чужаки подчеркивали его отстраненность – вынужденную отстраненность – от его сотоварищей. Вопреки своей склонности к раскрытию себя и к обществу, он не мог найти близких – и не мог быть один».[3] Как гордый огонь собственного желания, рвущийся за свои пределы будто во влечении некого смутного воспоминания, он томился своими возможностями, не находившими полного осуществления в его жизни. Превосходство в силе, которого он достиг, было только телесным, ненадежным, низменным по отношению к способностям разума, мятущегося своим потенциалом. Эта сила страшила его, как угроза духу, тому самому «смиренному нечто», которое было им настоящим, ибо он не был человеком плоти.

Неосуществленность своей сути, недораскрытость: вот, что угнетало его, в своей гордости не могущего не состояться, в своих возможностях не могущего не стремиться к идеальному «я». «Прирожденный принц пустыни», способности его разума мучительно превосходили рамки простого существования бедуинов.

Вынужденная отчужденность была неизбежной: как и Лоуренс, Али оказывался «вне глубины» других, ибо был глубже. Он был по-своему незауряден – и оттого одинок.

Али неодолимо привлекал Лоуренса, возбуждая его чувственность своей явленной силой и одухотворенным совершенством тела, и был близок ему своей непоправи-

мой горечью одиночества.

А Лоуренс, в свою очередь, стал дорог ему. 13 ноября 1917 года Лоуренс писал Джойсу в Акабу: «Маленький Али очень храбрый юноша и со всей решимостью приходил мне на помощь при каждой необходимости. Он определенно будет убит, если не перестанет путешествовать с человеком столь ловким и осторожным, как я». И в конце письма: «Али заслуживает упоминания, потому что он необычный юноша».

Дожди усиливались, гости перестали приходить, и уединенная крепость превратилась в сокрытый от мира скит, затерянный среди болот. Никто не отважился бы идти через них или по лавовым полям (второму подходу) в эти мрачные осенние дни. К тому же у древнего форта были призрачные сторожа.

Однажды вечером Лоуренс и Али сидели с серахинами у костра, разведенного прямо посреди помещения в башне. По неровным камням темных стен блуждали теплые светотени, а пустой проем окна зиял, как провал в черноту, где шелестели под дождем пальмы. Вдруг за стенами взметнулся унылый вой, валами страха обдав форт. Сидевший рядом с Лоуренсом шейх серахинов схватил его за руку и прижался к нему, дрожа. «Что это?» – шепотом спросил его Лоуренс, и тот ответил, что это собаки бени-хиллала, легендарных строителей крепости, каждую ночь ищут своих мертвых хозяев. Все прислушались. Жуткие звуки затихли, и во мраке слышалось только шуршание частых капель, падавших на листву. Затем вой ударил снова, волнами дикого звериного плача раз за разом обрушиваясь на каменные стены и замирая где-то в черной высоте. Звуки были столь угнетающими, что арабы затянули песню, стремясь заглушить их. За окном слабо посверкивал мелкий дождь, попадая в отсветы костра…

Осенний дождь – и весенняя гроза, отблески огня – и вспышки молний, черный проем, безысходное завывание неизвестных зверей – и выхваченные синим светом ирреальные фигуры древних воинов: было что-то общее в самом мистическом настроении между этим ноябрьским

вечером 1917 года и той грозой в Кархемише последней мирной весной. Только тогда на курдских свирелях и в грозовой высоте звучала песня грома, словно древняя мелодия войны, а теперь вздымалось обреченное рыдание – крик звериный о чем-то страшном...

Замкнутые в старых стенах, как во вместилище прошлого, арабы забыли о настоящем и предались мечтаниям, которые внушал им дух этого места. Осады, празднества, набеги, песни любви в ночи – все это, давно исчезнувшее, вновь оживало в воображении, освобожденном от усилия единственной привычной мысли.

Днем туман струился сквозь бойницы, «как белые вымпелы», а по вечерам, когда арабы собирались вокруг костра и за кофе рассказывали разные истории, причудливые тени колебались по стенам, будто неприкаянные души, и капли дождя, просачиваясь сквозь крышу, с шипением падали в огонь.

Лоуренс замечтался. Форт удовлетворял его тягу к древности – может быть, еще больше, чем те замки, которые он некогда мимоходом посещал, не имея возможности вжиться в их настроение. Здесь же дни его проходили в тени далекого прошлого, как легкий поток под призрачной сенью. Но самым увлекающим, дарующим полное забвение была близость с Али. Под этими темными сводами грубого камня длилась их нежность, и не оставалось ни усилия, ни боли, ни смерти...

С трудом Лоуренс вынырнул из глубин грез и заставил себя задуматься над тем, что стоило бы использовать зимнее время для разведки у Дераа, где он предполагал в будущем, при развитии наступления, перерезать железнодорожную линию к северу, западу и югу от города.

Пока он думал, без предупреждения появился Талал эль Харейдин, шейх Тафаса, блистательный в своих шелковых одеждах и ангорском плаще, в сопровождении шести соответствовавших ему спутников. Он давно уже был объявлен турками вне закона, и за его голову была назначена цена, но его величие позволяло ему беспрепятственно ездить везде, где он хотел. Ему было около трид-

цати пяти лет, он был невысок и крепок, с тщательно ухоженной бородкой, длинными усами и насурьмленными глазами (как то было принято у крестьян Сирии). Лоуренс обрадовался ему, так как его союзничество означало доступ к Хаурану. Лоуренсу хватило одного дня, чтобы полностью увериться в благонадежности Талала, и он посвятил его в свои планы произвести разведку. Талал принял его идею и согласился сопроводить его.

Глава XCVIII

Мученичество

19 ноября Лоуренс в сопровождении Талала, старика Фариса и мальчика Халима отправился на разведку к Дераа. Они проехали мимо Умтайе, пересекли железную дорогу, миновали Шейх Саад и добрались до Тафаса, дома Талала. На следующий день они оставили позади Тель Арар и достигли Мезериба. Здесь начинались земли, где Талал был слишком хорошо известен, поэтому ему пришлось попрощаться с Лоуренсом.

Проехав вдоль линии почти до самого Дераа, Лоуренс и его спутники спешились. Лоуренс с Фарисом, игравшим роль его отца, отправился в Дераа, намереваясь пройтись вокруг станции и по самому городу и к заходу солнца прийти в Низиб, где их должен был ожидать Халим.

Прошлой ночью лил дождь, и теперь влажное пространство было пронизано жидким солнечным светом, а почва размокла, превратившись в коричневую кашу. Чтобы не поскользнуться, приходилось цепляться за грунт расставленными пальцами ног, и это миля за милей причиняло страдание Лоуренсу, только полторы недели назад сломавшему большой палец. «Едва ли хоть один день в Аравии прошел без физической боли»,[1] и она, соединяясь

с непрерывным обертоном вины, усиливала духовную муку, нарастая крещендо той пропасти, которой должна была оказаться последующая жизнь Томаса. Он сам становился одной неутешимой болью.

От поворота палестинской железной дороги Лоуренс окинул взглядом станцию Дераа и заключил, что местность была слишком открытой, чтобы попытаться когда-либо предпринять атаку с этой стороны. Поэтому он решил пройти по восточному краю оборонительных сооружений. По дороге попадались немецкие склады, колючая проволока и полузаросшие траншеи. У палаток равнодушно бродили турецкие солдаты.

Дойдя до угла аэродрома на южной оконечности станции, Лоуренс с Фарисом устремились в город. Вряд ли кто-нибудь мог заинтересоваться ими – безобидным стариком и хромающим молодым человеком в бедной, потрепанной одежде. Тем не менее, проходя мимо навесов, под которыми стояли старые аэропланы, они услышали, как кто-то окликнул их по-турецки. Они продолжали идти, словно не замечая. Однако окликавший (это был турецкий сержант) нагнал их и, грубо схватив Лоуренса за руку, сказал: «Бей желает тебя». На старика он не обратил внимания. Вокруг было немало турок, поэтому Лоуренсу ничего не оставалось, как последовать за сержантом.

Далее Лоуренс с поразительной обстоятельностью ведет свое повествование в «Семи столпах», будто каждая подробность вонзилась в его память подобно шипу, чтобы оставаться там, причиняя боль, до конца. Но излагать – все равно что переживать заново: ему было мучительно трудно писать эту самую страшную главу своей книги. Писать дважды, ибо первый вариант «Столпов» оказался утрачен. Потом – править, вдумываясь в каждое словошип, пока прошлое не ожило в памяти во всей яркости, заставляя его кричать ночами в тяжелом сне. Мне кажется почти святотатственным что-либо отбрасывать из этих слов со креста, поэтому я замолкаю, позволяя Томасу рассказывать самому:

«Меня провели за высокую ограду в лагерь, застроенный множеством казарм и еще некоторыми строениями.

Мы прошли в мазанку, окруженную земляной платформой, на которой сидел мясистый турецкий офицер, поджав под себя одну ногу. Он едва взглянул на меня, когда сержант привел меня и произнес длинный рапорт по-турецки. Он спросил мое имя, я ответил ему: “Ахмед ибн Багр, черкес из Кунейтры.” – “Дезертир?” – “Но ведь черкесы не подлежат военной службе.” Он повернулся, пристально посмотрел на меня и сказал очень медленно: “Ты лжец. Зачисли его в свою часть, Хассан Човиш, и сделай то,что необходимо, пока бей не пришлет за ним.”

Меня ввели в охранное помещение, занятое по большей части деревянными нарами, на которых лежали и сидели дюжина человек в неопрятной униформе. У меня забрали ремень и нож, заставили тщательно вымыться и накормили. Там я провел весь долгий день. Мне не позволили бы уйти ни при каких условиях, но пытались подбодрить меня. Мол, солдатская жизнь не столь уж плоха. Завтра, возможно, будет дан отпуск, если я этим вечером исполню желание бея. Бей, кажется, был Нахи, губернатор.

Вскоре после наступления темноты за мной пришли три человека. Это оказалось бы возможностью сбежать, но один из них все время держал меня. Я проклинал свою хрупкость. Мы пересекли железную дорогу, где было шесть путей, кроме запасных депо, и прошли в боковые ворота, вниз по улице, мимо площади к отдельно стоявшему двухэтажному дому. Снаружи был часовой, другие виднелись в темном дверном проеме. Меня провели вверх по лестнице в комнату бея – или, скорее, в его спальню. Он был еще одним тяжеловесным человеком, сам, вероятно, черкес. Он сидел на постели в ночной рубашке, дрожа и в поту, будто от лихорадки. Когда меня втолкнули, он, не поднимая головы, сделал страже знак выйти. Едва слышно он велел мне сесть перед ним на пол и после этого стал нем, в то время как я смотрел на макушку его большой головы, на которой стояли жесткие волосы, не длиннее темной щетины на его щеках и подбородке. Наконец, он осмотрел меня и велел мне встать, затем повернуться кругом. Я повиновался. Он откинулся на пос-

тель и потянул меня за собой. Когда я увидел, чего он хочет, я вывернулся и снова встал, радуясь, что равен ему в борьбе.

Он начал подлизываться ко мне, говоря, какой я белый и свежий, как изящны мои руки и ноги и что он избавит меня от муштры и от нарядов, сделает своим ординарцем, даже станет платить мне, если я буду любить его. Я был непреклонен, так что он сменил тон и резко приказал мне снять штаны. Когда я заколебался, он бросился ко мне, но я оттолкнул его. Он хлопнул в ладоши, вызывая часового. Тот спешно вбежал и закрутил мне руки. Бей проклинал меня с ужасными угрозами и заставил человека, державшего меня, сорвать мои одежды, часть за частью. Его глаза округлились при виде полузаживших мест, где пули недавно ссадили кожу. В конце концов, он грузно поднялся, с блеском в глазах, и начал меня грубо трогать. Я сначала это терпел, пока он не стал слишком наглым, и затем ударил его коленом.

Он доковылял до кровати, со стоном сжимаясь от боли, в то время как солдат крикнул капрала и еще трех человек, чтобы держать меня за руки и ноги. Как только я оказался беспомощным, губернатор вновь осмелел и плюнул в меня, клянясь, что заставит меня просить прощения. Он снял тапок и ударил меня несколько раз в лицо, тогда как капрал держал меня за волосы для получения ударов. Бей склонился, сжал зубы на моей шее и кусал, пока не потекла кровь. Затем поцеловал меня. После этого он взял у одного из людей штык. Я решил, что он собирается заколоть меня, и был подавлен, но он только оттянул кожу на ребрах, вонзил острие, что доставило сильное беспокойство, и повернул лезвие. Это причинило страдание, и я поморщился, тогда как кровь лилась по боку и капала на переднюю часть бедра. Он выглядел довольным и размазал ее кончиками пальцев по моему животу.

В отчаянии я что-то проронил. Его лицо изменилось, и он замер, а затем, с усилием контролируя свой голос, произнес со значением: “Ты должен понимать, что я знаю, и будет лучше, если ты сделаешь так, как я хочу.” Я лишился дара речи, и мы молча смотрели друг на друга,

тогда как остальные, чувствуя скрытый смысл вне своего опыта, неловко переминались с ноги на ногу. Но это было, очевидно, случайными словами, под которыми он не подразумевал – или не хотел подразумевать – то, чего я боялся. Я не мог доверять своим дрожащим губам, что всегда запинались в чрезвычайных обстоятельствах, поэтому вскинул подбородок, что на Востоке означает "нет." Затем он сел и почти прошептал капралу вывести меня и проучить.

Меня пинками прогнали вверх по лестнице и растянули на скамье, колотя кулаками. Двое опустились коленями мне на щиколотки и нажали на поджилки, тогда как два других вывернули мои запястья до того, что они хрустнули и затем ударили ими, вместе с головой, о дерево. Капрал сбегал вниз и теперь вернулся с плетью черкесского типа, представлявшей собой округленный ремень из гибкой черной кожи, сужающийся от толщины в большой палец у рукоятки (окованной серебром) до твердого конца тоньше, чем карандаш.

Он видел, что я дрожу (отчасти, думаю, от холода) и просвистел плетью над моей головой, насмехаясь, что перед его десятый ударом я буду взывать о пощаде, а на двадцатом молить о ласках бея, и затем начал безумно хлестать меня раз за разом со всей силы, тогда как я сжимал зубы, чтобы выдержать эту штуку, что обвивалась вокруг моего тела, как огненная проволока.

Для того чтобы владеть собой, я считал удары, но после двадцати сбился и мог чувствовать только бесформенную тяжесть боли – не рвущие когти, к которым я готовился, но постепенное раскалывание моего существа некой слишком мощной силой, волны которой катились по моей спине, пока не оказывались заключенными в мозгу, чтобы страшно сталкиваться вместе. Где-то громко тикали часы, и меня угнетало, что удары не совпадали с их ходом. Я корчился и извивался, но меня держали столь крепко, что мои усилия были бесполезны. После того как капрал закончил, приступили рядовые, очень расчетливо, давая мне столько же ударов, и затем – перерыв, во время которого они пререкались, чья следующая очередь, отды-

хали и забавлялись со мной невыразимо. Это повторялось часто и в целом длилось не более десяти минут. Всякий раз перед первым ударом очередной серии мою голову поворачивали, чтобы я увидел, как жесткая белая полоса, словно железная дорога, медленно темнеющая до малинового, ложилась на мою кожу в момент каждого удара, с бусиной крови там, где две полосы пересекались. По мере того как наказание продвигалось, плеть падала все чаще и чаще на уже существующие рубцы, кусая чернее или влажнее, пока моя плоть не затряслась от накопленной боли и от ужаса перед новым взмахом. Мое решение не кричать скоро было побеждено, но пока я мог владеть своими губами, я пользовался только арабским, а перед концом милосердная дурнота задушила мою речь.

Наконец, когда я был полностью уничтожен, они, казалось, были удовлетворены. Каким-то образом я нашел себя вне скамьи, лежащим на спине на грязном полу, где я сжимался, потрясенный и хватающий ртом воздух, но смутно довольный. Я настроил себя, что познаю всю боль, пока не умру, и, будучи больше не действующим лицом, но зрителем, думал о том, чтобы не беспокоиться, как мое тело дергается и скулит. Еще я знал – или представлял – то, что происходило вокруг меня.

Я помнил, как капрал пнул меня подбитым ботинком, чтобы поднять, – и это было правдой, так как на следующий день мой правый бок был темным и разорванным, а поврежденное ребро делало каждый вздох пронизывающим, как нож. Я помнил, как бездумно улыбался ему, так как восхитительная теплота (возможно, сексуальная) нарастала во мне, и затем – что он вскинул руку и стегнул меня со всего размаха в пах. Это согнуло меня пополам, вопящего – или, скорее, бессильно пытающегося вопить, только содрогающегося через открытый рот. Кто-то хихикнул от удовольствия. Чей-то голос крикнул: “Позор, вы убили его.” Последовал другой взмах. Рев, и у меня почернело в глазах, тогда как внутри меня суть моего “я,” казалось, медленно поднималась сквозь рвущиеся нервы, вытолкнутая из тела этой последней неописуемой болью.

Судя по синякам, они, вероятно, били меня и дальше,

но следующее, что я знал, что двое растягивали меня, держа каждый за ногу, в то время как третий сидел верхом. Это было значительно лучше, чем продолжение порки. Затем позвал Нахи. Мне в лицо плеснули воды, смыв часть грязи, и подняв меня, икающего и рыдающего о пощаде, поволокли туда, где он лежал. Но теперь он поспешно отказался от меня, как от вещи слишком изорванной и окровавленной, чтобы подходить для его постели, и поносил их за избыток усердия, который испортил меня, тогда как, без сомнения, они поработали надо мной не больше, чем обычно, и причина, главным образом, заключалась в моей нежной коже, что поддавалась быстрее, чем кожа арабов.

Так что упавший духом капрал как самый молодой и лучше всех выглядевший был вынужден остаться, тогда как остальные потащили меня вниз по узкой лестнице на улицу. Прохлада ночи на моей пылающей плоти и неподвижное сияние звезд после ужаса прошедшего часа заставили меня снова плакать. Солдаты, которые теперь могли говорить, предупредили меня, что рядовые должны терпеть желания своих офицеров или платить за это, как я только что сделал, с большим страданием.

Меня провели через открытое пространство, пустынное и темное, и потом за правительственное здание к прилегающему деревянному помещению, в котором было много пыльных одеял. Появился фельдшер-армянин, чтобы вымыть меня и перебинтовать в сонной спешке. Затем все ушли, причем последний из солдат задержался около меня и шепнул с друзским акцентом, что дверь в соседнее помещение не заперта.

Я лежал там в болезненном ступоре, с сильной головной болью и медленно цепенея от холода, пока рассвет не засиял сквозь щели сарая и паровоз не засвистел на станции. Это и иссушающая жажда привели меня в чувство, и я обнаружил, что мне не было больно. С детства легчайшая боль была моим наваждением и тайным ужасом. Был ли я теперь, к своему удивлению, излечен от этого? Но первое движение было тревожным: я, обнаженный, с усилием поднялся и стоял, пошатываясь со стоном и спраши-

вая себя, не было ли это сном и не вернулся ли я на пять лет назад, снова став робким рекрутом в Калфати, где произошло нечто подобное, но менее пятнающее.

Следующее помещение было кладовой. На ее двери висела потрепанная одежда. Я надел их, медленно и неловко из-за опухших запястий, а из лекарств взял коррозийную эссенцию как средство от повторного пленения. Окно выходило на длинную пустую стену. С трудом я выбрался и пошел, качаясь, по дороге в сторону селения, мимо тех немногих людей, что уже были на ногах. Они не обращали на меня внимания. В самом деле, не было ничего особенного в моем темном плаще, красной феске и тапках, но только упорно убеждая самого себя я мог удержаться от того, чтобы не обезуметь от дикого страха. Дераа был нечеловеческим в своем пороке и жестокости, и меня словно обливали холодной водой, когда на улице позади меня смеялся солдат.

Около моста были колодцы, около которых находились мужчины и женщины. Одно корыто в стороне было незанято. С его конца я зачерпнул руками немного воды и вымыл лицо, затем попил, что было важно для меня, и потом побрел по дну долины к югу, осторожно скрываясь из виду. Эта долина предоставляла скрытый путь, по которому наш отряд во время предполагаемого набега мог тайно достичь города Дераа и захватить турок врасплох. Так, спасаясь бегством, я разрешил – слишком поздно – проблему, которая привела меня в Дераа».[2]

Когда Лоуренс хромал в сторону Низиба, его подобрал один всадник на верблюде. Прибыв на место, он нашел своих встревоженных спутников, Фариса и Халима, и сочинил для них «веселую историю взяточничества и мошенничества»,[3] и они, пообещав никому не рассказывать, смеялись над простотой турок.

Ночью Лоуренс, на остатке воли, смог приметить большой каменный мост у Низиба. Осквернённый, будто вернувшийся из долины прокаженных, он еще помнил о своем долге – не перед абстракцией арабов, но перед тем, чей образ возник среди кошмара наяву в сарае, столь похожем на место их заключения в Калфати.

По пути в Азрак, когда Лоуренс со своими спутниками ехал на лошади, отряд еще не дружественных арабов разрешил им проехать, как только узнал, кто они. Неожиданная человечность утешила Лоуренса: «Это поддержало меня в несении той ноши, определенность которой подтвердили прошедшие дни: что той ночью в Дераа цитадель моей целостности была безвозвратно разрушена».[4]

Этот рассказ – явленная кровоточащая душа. Душа, ожидающая быть услышанной. Не понять такую боль хотя бы отчасти – стать низменнее тех, кто ее причинил, ибо верх мученичества – оказаться непонятым в своем страдании. Для Распятого болезненнее креста стал неуслышавший Его мир.

Лоуренсу было тяжело показывать эти шипы своего тернового венца: «Я хотел изложить это в книге прямо – и в продолжение многих дней боролся со своим самоуважением...»[5] Тем не менее, он решился рассказать об этом мученичестве, ибо надеялся *очиститься* в человечности слышащего. Чистота, духовная и телесная, была для него необходимостью – «цитаделью целостности». Теперь она оказывалась утраченной, и он стал противен самому себе. «Вы можете счесть это нездоровым, но подумайте об оскорблении и о моем размышлении над этим в течении этих лет. Это будет висеть на мне, пока я живу, и впоследствии, если наша личность выживет. Представьте блуждание среди приличных призраков в загробной жизни с криком “Нечист! Нечист!”»[6] Лишь понимание, как прикосновение святого, могло бы исцелить эти язвы.

Ночь в Дераа выбила из него страх, вселенный матерью, когда она порола его за провинности, как и других сыновей: его тело было истерзано до предела, за которым – смерть. Но оно относительно скоро перестало страдать, тогда как рубцы на душе остались на всю его жизнь, как клейма поругания. «Пока я живу, сила той ночи будет оставаться частью агонии, сломившей меня и заставившей сдаться».[7] Агонией стала разлука с любимым, сопряженная с провалом в Аравии – «предательством», как он мог считать. Это породило ненависть к самому себе от

«осквернения» своего Храма, ставшего духовно нечистым. След Дераа, телесная нечистота, свился с этим – и уничтожил Лоуренса.

До поражения в своем деле нести эту ношу было легче. После пытки, лежа в крайнем унижении на грязном полу, он испытывал странное чувство удовлетворения: в глубине он воспринял ее как заслуженное наказание за свою «ложь» перед арабами. Укус скорпиона отвлекал от тягостных мыслей, изнасилование же, разбив его целостность, сняло на время всю вину. После войны, когда кругом себя он увидел только руины, мрак этой ночи захлестнул его с новой силой – и уже не отпустил.

Лоуренс остался жить с осознанием двойной нечистоты, телесной и духовной, как полного поражения личности: прокаженным казался он себе. Но только себе, потому что как бы ни было осквернено его тело и как бы он не расценивал свои действия, его дух остался чист, ибо сохранил свою теплоту, человечность, смирение. Поругание тела не задевает души. «То, что ты стараешься разрушить своими пытками, – лишь слабый глиняный сосуд, который в любом случае должен разбиться. Тебе никогда не удастся растерзать то, что внутри него и что завтра будет твоим судьей», – такие слова святой Винченцо* обратил к своему палачу, разрывавшему его плоть. Единственная настоящая нечистота – в пороке души, и самый страшный – ее глухота. Человек лишь тот, кто способен понять чужую муку, и чем глубже животворящий страх недослышать, тем ближе мы к страдающему – и к Богу: в каждом страдающем страдает Христос. Для мученика Лоуренса боль другого была сильней.

* ум. 304 г.

Глава XCIX

Ад во славу Бытия. – Обострение чувства вины. – Пределы. – Прощание с Али. – В Акабу. – Соревнование с собой. – Несостоявшиеся разбойники. – Закатная алость. – Отчуждение души. – Конец пути.

В «Minorities» есть стихотворение Генри Каста, дяди Рональда Сторрса, «Non nobis». В записи Лоуренса оно датировано 22.XI.17. – следующим днем после побега из Дераа.

С подобным примером «феноменального» прочтения мы уже встречались. Для столь чуткой души, неподвластной миру, как у Лоуренса, в успокоении поэзией нет ничего удивительного. По слову З. Гиппиус, «стихотворение – это молитва». Молитва поэта, если он действительно поэт, и читателя, если он может сказать: «Это мог бы написать я». Лоуренс читал стихи так, как их пишут и как молятся, и обретал в близких ему строках утешение, надежду и силы быть тогда, когда небытие подступало черной волной; они увлекали его из тягостного усилия в незыблемое бытие – к вечности, любви, красоте.

Не нам, о Господи,
Не нам восторги дней,
Мир ночи иль любви небесная награда,
Высоты сердца, речи, дел пред восхищенным взглядом, –
Ибо все прочь уносится
Да волею Твоей.

Не нам, о Господи...
Нам бич, насмешки, скорбь,
Боль жизни и одинокость умиранья,
Невыносимая достаточность дыханья...
И меч Твой острый
Пронзает глубоко.

Не нам, о Господи,
Но ей блаженства все!
Пусть бы весь мир рассеялся на части,
Но только дар любви пусть будет нерастрачен.

Пусть самым адом строятся
Столпы ее небес!

Мы ничто не можем без Тебя и без Твоего величайшего дара – любви. Мы ничто без Тебя – и без нее. Ты есть любовь, а любовь есть бытие. Да прославится имя Твое – и Твой дар, и да будет все во имя его, через которое мы живы. Ты возлюбил нас крестной любовью – и с креста мы воздаем Тебе хвалу. Будет скорбь наша радостью да во славу Твою!

Как мученики давних лет принимали страдания и смерть во имя Христа, так Лоуренс принял мученичество во имя любви на пути к ее высшему дару – свободе. Да будет самый ад во славу Любви, мог бы сказать тогда он.

Не переставал падать мокрый снег, превращавшийся на земле в белесое месиво, бывали бури: такая погода означала, что пребывавшие в Азраке лишены возможности каких бы то ни было действий в ближайшие месяца. Оставалось только «учить и проповедовать». Лоуренс уже вряд ли мог это. Возвратившись после мученичества к усилию существования, что было для изнуренного духа еще большей пыткой, он в своей смертельной усталости с новой ясностью осознал «нелепость» (как он считал) своего положения. То, что не покидало его все месяца в Аравии, назойливо пульсируя в мозгу, и подавлялось только напряжением воли и самообманом надежды, теперь открылось с необычайной резкостью. «Я уже выполнил свою часть тягостного набора новообращенных, убеждая так хорошо, как только мог, но все время осознавая свою чуждость и нелепость иноземной защиты для национальной свободы».[1] Он потерял свое английское «я», но не смог до конца принять арабское самосознание, и оказался словно с содранной кожей. С этим народом мог быть только миг единения в упоении успеха или в забытье надежды, остальное же тянулось временем жгучей боли. «Я должен был убеждать себя, что британское правительство может сохранить дух своих обещаний»,[2] – иначе не нашел бы сил

продолжать свое дело. «Особенно трудным это было тогда, когда я бывал утомлен и болен, и бредовая активность мозга разрывала в клочья мое терпение».[3] Физическая боль обостряла, будто сублимировала мысли и восприятия. После Дераа – до предела.

Предел: где он? Если мысленно проследить духовный путь Лоуренса, то можно увидеть эти черты, перешагиваемые одна за другой. Каждый шаг на голгофу – «предел».

Лоуренс обладал редкостно сильным духом, с юности изнурявшим его тело словно в попытке высвободиться, изнашивавшим его – и тем сохранявшим себя. Его воля могла срываться, но сдаваться – никогда. После всех ордалий войны он оставался собой, как будто в себя приходил после тяжелого обморока. И снова жизненный ток главного мотива давал силы для шага к очередному пределу.

Теперь, по возвращении в Азрак, Лоуренсу в его изнеможении – с содранной кожей не только своего «я», но и тела, – было отвратительно видеть подобострастие новоприбывающих. «После прямодушных бедуинов, которые могли смело войти, приветствовав меня “Йа, Оренс,” и без похвал изложить свои нужды, эти льстивые горожане казались все более безумными по мере того, как пресмыкались ради милости приема у их принца, бея, господина и освободителя».[4] Рабское преклонение, которым они унижали себя, оскорбляло Лоуренса: «Я никогда не был важной персоной, – напротив, всегда старался быть доступным для каждого, даже если бы большинство из них приходили ко мне каждый день. Я старался являть собой простой образец существования. У меня не было ни шатров, ни поваров, ни слуг, что ухаживали бы за мной, – только мои охранники, которые являлись бойцами, не прислугой. И вот – эти византийские торговцы пытаются развратить мою простоту!»[5] Открытость для искренних посетителей и жизнь наравне со своими людьми – здесь проступает пример Фейсала, столь восхищавший Лоуренса. Что же касается брезгливости перед преклонением и оберегания своей простоты, это ему самому присущее целомудрие души. Он не был христианином *формально*, так как не принадлежал к официальной Церкви, но он

был христианином по духу – истинным. «Славы от людей не приемлю», – сказал Иисус, и повторил Лоуренс.

Поэтому он «в ярости бросился прочь, наметив отправиться к югу и посмотреть, нельзя ли будет в эту холодную погоду предпринять какое-либо действие у Мертвого моря».[6] Эту очередную попытку он решил предпринять ради того, чей «печальный взгляд» оставался прикован к дороге в пространстве ожидания и неизвестности.

Поручив индусов Али и передав ему свои оставшиеся деньги на проживание до весны, Лоуренс 23 ноября попрощался с ним.

Трогательным было их расставание. Али подарил Лоуренсу половину своего гардероба – куфии, рубашки, ремни... «В ответ я отдал ему половину своего, и мы поцеловались, как Давид с Ионафаном, каждый в одежде другого».[7] Ткани, хранившие тепло близкого человека, сокрыли раны Лоуренса... Потом, взяв в спутники только мальчика Рахаила, он устремился к пылающему закату, – и еще одна привязанность оказалась оборванной.

Дальнейшая судьба Али неизвестна: этим нежным поцелуем заканчивается повествование о нем. И среди всей боли, заключенной в книге, после предшествующего рассказа о схождении в ад, этот тихий момент кажется редкостно сладостным. «Один из самых волнующих эпизодов всей истории арабской кампании»,[8] – восхищенно назвал его В. Ричардс.

Нежность Али оживила Лоуренса: всего двое суток прошло после его испытания, а он почувствовал себя достаточно крепким телесно и духовно, чтобы предпринять новую, не близкую, поездку и продолжить свое действие. Если даже милосердие чужих арабов смогло утешить его, сколь большим упокоением стала для него теплота приятного ему юноши!.. Разрушительный мир бессилен перед любовью.

С самого начала путь был тяжел, а к ночи, в Вади Бутум, стал еще хуже. На мокрой земле верблюды скользили и падали, роняя седоков. Дальше простирались болота. Лоуренс чувствовал слабость, словно все тело было стран-

но размягченным, а мышцы – одновременно вялыми и воспаленными. Возможность нового усилия начала страшить его, и к полуночи был сделан привал. Наутро он снова заспешил в дорогу: он хотел достичь Акабы прежде, чем ее покинут люди Вуда – того базового инженера, что был с ним у Ярмука. Второй причиной спешить было его телесное нежелание переносить тяготы скорой езды. С юных лет ему было свойственно действовать назло своему сопротивлению и слабости. Именно эта борьба со своим телом и слабостями духа закалила его волю.

После полудня, когда путники завидели белые вершины Тлайтуквата, внезапно послышались выстрелы с близкого расстояния. Они спокойно остановились, и к ним вниз по склону устремились четверо всадников. Бряцая оружием, незнакомцы заявили, что они из джази ховейтата и спросили у Лоуренса, кто он, после чего, держа его и Рахаила под прицелом, приказали спешиться. Лоуренс рассмеялся в ответ, зная, что это хорошо озадачивает бедуинов. Так и оказалось. Не дав им прийти в себя, он поинтересовался у одного из них, знает ли тот свое имя. Спрошенный приблизился в недоумении, держа палец на курке, и Лоуренс, склонившись, сказал, что его, должно быть, зовут так-то, и, тем временем, наставил на него револьвер, бывший у него под плащом. Незнакомцы, ошеломленные его дерзким поведением, сочли, что где-то поблизости у него есть поддержка, а он, пользуясь их замешательством, медленно поехал прочь, ощущая, как по спине бегают мурашки. Когда они с Рахаилом отъехали на сотню ярдов, несостоявшиеся налетчики опомнились и открыли стрельбу, но было уже поздно.

На закате они достигли горного кряжа. Лоуренс взглянул с высоты назад, на равнину. «Она уходила вдаль серым простором, на котором были рассеяны здесь и там пылающие капли и большие разливы кармазинного огня – отражения угасающего солнца в мелких лужах дождевой воды. Эти озерца разбрызганной кровавой красноты были настолько более четкими, чем сама равнина, что увлекали взгляд на мили в туман и казались висящими в далеком небе, покачиваясь, как мираж».[9] Я оглядываюсь

назад, во время, и огненное солнце этого вечера представляется удивительным, словно накопившим в своем свете память обо всех, кто видел его и кого видело оно: это вечность, освещающая меня.

После наступления темноты путники миновали Баир и остановились на полчаса. Ночная езда была утомительной и для людей, и для животных. Днем верблюд мог выбирать дорогу, а седок – подстраиваться под его ход, но по ночам продвижение оказывалось чередой подскоков и ударов. Лоуренс страдал от тяжелого приступа лихорадки, вызывавшего у него раздражение, и, когда путь продолжился, намеренно не обращал внимания на просьбы Рахаила об отдыхе. Юноша за последнее время успел всем досадить своей чрезмерной живостью, которую он с гордостью проявлял, смеясь над чужой слабостью. Поэтому на сей раз Лоуренс решил перебороть его, и к рассвету тот почти рыдал от жалости к себе, но тихо, чтобы Лоуренс не услышал.

Утром, когда солнце проступало сквозь матовую дымку, они проехали Джефер и в полдень были у Ауды. Обменявшись приветствиями и вкусив фиников, они отправились дальше. Вместе с победой над Рахаилом Лоуренс одержал победу и над собой: «Теперь я был почти кончен. Шаг за шагом я поддавался медленной ноющей боли, которая вместе со ослабевающей лихорадкой и онемелым однообразием езды стремилась запереть мои чувства. Казалось, я приближался, наконец, к той бесчувственности, которая всегда была мне недоступна, но являлась восхитительным краем, ибо человек рожден столь медлительным, что ничего, если эта сторона не ослабеет, не освободит его дух».[10] Эта желанная бесчувственность была тем краем забвения, что открывается после долгого напряжения и переутомления, когда чувства цепенеют, и человек пребывает в некоем обмороке с действующим сознанием, что приносит облегчение. «Теперь я нашел себя разделенным на части. Одна продолжала мудро продвигаться вперед, подстраиваясь под каждый шаг усталого верблюда. Другая парила справа вверху и, с любопытством склоняясь вниз, спрашивала, что делает плоть. Плоть

не отвечала, ибо, в самом деле, сознавала только управляющее ею побуждение двигаться и двигаться дальше. А третья болтливая сущность говорила и удивлялась, критически воспринимая труд тела, которому оно себя подвергло, и презрительно относясь к причине его усилия.

Ночь проходила в этих беседах. Невидящие глаза ощущали впереди рассвет-цель и устье прохода, за которым лежал иной мир Рума, как будто солнечная карта, а мои части спорили о том, что усилие еще может чего-то стоить, но цель является глупостью и возобновлением беспокойства. Изнуренное тело с мучительным упорством продолжало езду и не обращало на это внимания – и вполне правильно, ибо разделенные «я» не говорили ничего, о чем я не был бы способен подумать хладнокровно: все они были моими старыми знакомыми».[11]

Подобное разделение и самоотстранение возникает в состоянии крайней усталости у того, у кого дух преобладает над плотью. Привычное преодоление физического и жизнь духа ведут к постоянному самоконтролю, приучая человека к самоанализу и осознанию своего «я» как отделенного от телесной части – незаросшего ее диким мясом. В обычной обстановке он осознает себя как дух («я»), довольно мирно заключенный в теле. Однако в минуту, когда требуется предельное напряжение духовных и физических сил, во время изнеможения или болезни происходит явственное отчуждение духа от плоти, будто некое трудное освобождение от тягостного груза. Такое возвышение души придавало сил и мужества христианским мученикам и помогало им претерпевать пытки, расценивая тело как сосуд, не принадлежащий им.

... Из забытья Лоуренса вывел Рахаил, прокричав, что они сбились с пути и едут прямиком на турецкие линии к Аба эль Лиссану. Они повернули обратно и оказались в Вади Хафира, где на них выскочил отважный мальчик-ховейтат и, держа палец на спусковом крючке, сказал им спешиться и представиться, что они и сделали, смеясь. Мальчик, покраснев, объяснил, что не мог их знать, и просил не выдавать его ошибки. Это маленькое происшествие разрядило напряжение между Лоуренсом и Рахаи-

лом, и они снова стали друзьями. Угасающим днем они весело проехали через Рум, с наступлением сумерек миновали Итм, где туман собирался, словно клочки хлопка, и к полуночи на 26-е прибыли в Акабу.

Глава C

Досадные награды. – Град раздора. – Вступление Элленби в Иерусалим. – «Величайший момент».

Лоуренса в Акабе не узнали. «Те, кто видел Лоуренса 26-го, говорят, что он был похож на призрак»,[1] – ибо страдания изнурили его до бестелесности.

Долго отдыхать ему не пришлось: в начале декабря его вызвали в Палестину, в штабквартиру Элленби в районе Газы. Он отправился туда с тяжелым сердцем: на его совести была вина за провал у Ярмука. Однако Элленби был столь упоен успехами на палестинском фронте, что неудача Лоуренса, ничему не повредившая, оказалась незамеченной. Зато были отмечены его заслуги – и сразу обоими союзниками: «Французское правительство прицепило на меня другую медаль – на этот раз Военный Крест. Мне хотелось бы, чтобы они не беспокоились, но они никогда не советуются прежде, чем делать эти вещи. По крайней мере, я еще никогда не принимал ни одной и никогда не буду носить или позволять, чтобы мне вручали это открыто. Большее сделать нельзя, поскольку эти заметки идут в прессе на первом месте, и сообщение, что кто-то отказался, создало бы еще большую известность, чем сама награда».[2] Английское командование вручило ему орден Бани. Вингейт представил его к Кресту Виктории, но, к удовлетворению Лоуренса, обстоятельства не соответствовали должным условиям награждения.

Мало того, что знаки отличия нарушали его чистоту и простоту, как и любое иное подчеркивание превосходства: теперь, после того, что он пережил, эти чествования были не только досадны, но и несли в себе некую горькую

иронию. За его подвиги турки «наградили» его лучше, мог думать он.

Пока он пребывал у Элленби, поступило известие от Чэтвуда о падении Иерусалима, что произошло 9 декабря.

Святой город трех вероисповеданий, он за свою тревожную историю оказывался и жертвой безбожия, и агнцем в огне религиозного усердия. Он был захвачен Навуходоносором в 607 году до Р.Х., Птолемеем I в 321-м до Р.Х., Антиохом Эпифаном в 170-м до Р.Х. Он видел восстание Маккавеев, отвоевывавших независимость в II веке до Р.Х., и Первую иудейскую войну против римлян, что привела к страшной осаде Иерусалима императором Титом в 70 году. Тогда окрестности почернели от крестов, на которых распяли тех, кто отважился выбраться за стены в поисках кореньев, а когда Иерусалим пал, были добиты и те, кто еще не успел умереть голодной смертью. Спустя шестьдесят лет император Адриан задумал искоренить иудаизм, и это повлекло Вторую иудейскую войну и новое осквернение Святого города римлянами. В 614 году персы разорили христианский Иерусалим, а в Средневековье разразилась безбожная «священная» война против владевших городом «неверных». Град мира, в который Господь смиренно въехал верхом на ослице, был градом раздора.

После крестоносцев семь столетий в Иерусалим не ступала нога христианских завоевателей. «Но теперь не было никакого злорадства Креста над Полумесяцем, – замечал майор Г.О. Лок в своих воспоминаниях о действиях в Палестине. – Наоборот, стража из мусульманских войск из нашей индийской армии была поставлена у каждого строения, священного для Ислама, тогда как христианская стража была определена к местам, святым для христианства. Никогда прежде Иерусалим не попадал в руки завоевателей столь ревностных до безопасности его населения или столь заинтересованного в сохранении города и того, что он содержал».[3]

Падение Иерусалима стало тяжелым ударом для гордости турок. Европейским же государствам, изнуренным беспросветной войной, оно придало некоторого воодушев-

ления, оказавшись единственным достижением после череды поражений и тупиков – паралича французских «мятежей», краха русской армии, разгрома итальянцев при Капоретто и трясины Пашендаля.

По решению Клейтона, Лоуренс как его офицер должен был принять участие в церемонии вступления у Ворот Яффы. Знакомые из штаба приодели его, чтобы этот призрак араба «выглядел как майор британской армии».[4] Церемония состоялась 11 декабря. Под аккомпанемент пулеметов и противовоздушного огня Элленби пешком вошел в город в сопровождении своих адъютантов, командиров французских и итальянских подразделений, французских, итальянских и американских военных атташе и членов генерального штаба. За Воротами Яффы он был встречен военным губернатором и почетным караулом, состоявшим из представителей войск от разных областей Британской империи, что принимали участие в недавних действиях. За стенами выстроились небольшие группы из французских и итальянских частей. Церемония завершилась чтением прокламации у основания Башни Давида. Согласно этому документу, каждый человек имел право продолжать свои законные занятия, а каждый священный монумент любой из религий был сохранен и защищен в соответствии с существовавшими традициями верующих.

Вход в Иерусалим стал для Лоуренса, как пишет он в своей книге, «величайшим моментом за всю войну»,[5] – однако не сам по себе, но ретроспективно на общем фоне нетриумфальных триумфов. В тот день, через три недели после Дераа, едва ли для него что-то могло выглядеть торжественным в изнуряющем ничтожестве мира, где его жизнь длилась, как боль. Лишь оглядываясь назад, можно было рассмотреть в том параде единственно светлый *официальный* миг его борьбы. Сохранился снятый на той церемонии видеокадр, где Лоуренс выхвачен улыбающимся в толпе – еще с «бравым выражением лица», которое он советовал сохранять на людях.

Глава CI

Пристыженный Пико. – Планы действий британской и арабской армий на начало 1918 года. – Письмо к Лидсу. – «Головорезы» Лоуренса. – «Листья на ветру» и сила мотива.

За церемонией, что, по слову Лоуренса, была «не столько триумфом, сколько почестями, оказанными Элленби господствующему духу места»,[1] последовал обед. Присутствовавший при вступлении Пико учтиво пропел: «А завтра, мой дорогой генерал, я приму необходимые меры для создания в городе гражданского правительства». Последовала напряженная тишина, и даже сам Элленби выглядел несколько растерянным. Лоуренс затаил дыхание: неужели его военный кумир окажется поверженным? Но тот быстро овладел собой и твердо произнес: «В военной зоне единственная власть принадлежит главнокомандующему, то есть – мне». – «Но сэр Грэй, сэр Эдвард Грэй...» – промямлил Пико. «Сэр Эдвард Грэй относится к гражданскому правительству, которое будет установлено, когда я сочту, что военное положение это позволяет», – ответил Элленби, и Лоуренс внутренне восторжествовал.

Позднее Лоуренс с Элленби и Доуни обсудил планы на будущее. Согласно схеме главнокомандующего, следовало закрепить успех, обеспечив необходимый простор действий к северу от Иерусалима посредством восстановления железной дороги, а затем нажимом справа к востоку отбросить турок от Иерихона и очистить долину Мертвого моря. Последнее предполагалось осуществить не ранее середины февраля.

Что же касается арабской армии, то Элленби предложил, чтобы Фейсал продвинулся до южной оконечности Мертвого моря, к Тафиле, и там соединился с британскими войсками, восстановив, таким образом, непрерывный фронт. Второй задачей являлось прекратить перевозки турецкого снабжения по Мертвому морю.

Относительно продвижения до Тафиле, ранее уже состоялся разговор с Фейсалом, который теперь готовился к этому. Лоуренс внес дополнения, сказав, что, во-первых,

при постоянном беспокойстве турок арабские силы могли бы соединиться с британскими у северной оконечности Мертвого моря. А во-вторых, база Фейсала могла быть переведена из Акабы в Иерихон, если в возможностях Элленби поставлять ежедневно пятьдесят тонн продовольствия и боеприпасов. Три тысячи человек арабских регулярных частей было бы достаточно, чтобы сохранять в безопасности восточный берег Иордана.

Элленби принял предложения Лоуренса. Перевод базы был осуществим примерно через пару месяцев после того, как восстановленная железная дорога была бы доведена до Иерусалима, что предполагалось сделать к концу января.

Таким образом, перед арабами стояла задача как можно быстрее достичь Мертвого моря, до середины февраля (когда Элленби начнет свое наступление на Иерихон) остановить турецкие перевозки, а к концу марта прибыть в долину Иордана.

На приготовления к выступлению требовался месяц, поэтому Лоуренс мог взять небольшой отпуск. Он направился в Каир и провел там неделю, экспериментируя со взрывными устройствами. Оттуда он писал 15 декабря Лидсу (то было его последнее письмо военного времени к нему), размышляя о своем занятии после войны: «Кархемиш будет либо враждебной территорией (турки никогда меня не допустят туда снова), либо дружественной (арабской). Но после исполнения роли создателя королей мне не позволят снова спокойно копать. Досадно». Что скрывалось в этом оброненном «досадно»!..

25 декабря Лоуренс вернулся в Акабу. Здесь одним из его занятий стал подбор личной охраны. Слухи постепенно увеличили его важность, так что после взятия Акабы турки назначили за него немалую цену, а после подрыва поезда Джемаль-паши в Минифире они вынесли Лоуренса и Али в начало своего списка, установив двадцать тысяч фунтов за живого или десять тысяч фунтов за мертвого. Для охраны Лоуренс выбирал тех, кто был отчаянным в езде, гордым собой, не имел семьи и не дорожил своей жизнью. Эти ребята, долженствовавшие защищать Лоу-

ренса, были отпетые разбойники, «головорезы», как их называли англичане в Акабе. «Банда» имела внушительную численность – девяносто человек, из которых пятьдесят были аджейли, «цвет армии Фейсала». Заслуга совершения самого смелого поступка за время восстания принадлежала именно одному из аджейлей, который дважды проплыл через подземный акведук в Медину и обратно и добыл сведения о положении в городе.

Лоуренс платил своей охране по шесть фунтов стерлингов в месяц, что являлось достаточным жалованьем для араба, содержавшего верблюда. Однако верблюдов он предоставлял им сам, отбирая наиболее быстрых, согласно своему мерилу езды, так что жалование оказывалось чистым доходом, и они могли тратить его на украшение себя. «Они одевались, как клумба тюльпанов, во все цвета, кроме белого, потому что это был постоянный цвет моей одежды, и им не хотелось казаться претенциозными».[2]

Они сражались, «как черти», были готовы переносить любые страдания, в своем служении находили свободу, а пережитые тяготы были для них подобны орденам. Эти люди были обязаны соответствовать Лоуренсу с его презрением к собственной слабости и должны были так же, как и он, уметь жить на пределе своих возможностей.

Поразительная выносливость Лоуренса была не физической способностью, но усилием воли, закаленной за годы аскетических упражнений. Именно эти упражнения помогли ему раскрыть огромный потенциал после того, как были преодолены косные рамки привычки – механического существования, сковывающего волевые ресурсы. Размеренный образ жизни приучает тело и душу к заведенному порядку, что начинает представляться нормой, тогда как любой сбой воспринимается как «чрезвычайное положение», лишающее сил, поскольку они сведены до мизерного гнетом обыкновения. Но когда усыпляющие условности отброшены, появляется возможность превосходить себя. Однако это – изнуряющая жизнь, сопряженная с постоянным усилием воли, с духовным и телесным напряжением: существование на пределе. Оно невозможно в отсутствие смысла, дающего побуждение

воле.

Подготовка помогала Лоуренсу переносить в Аравии все тяготы – жить усилием, так как никакая натренированность не уменьшает тяжести – лишь дает силы ее нести. «Пути бедуинов были суровы даже для тех, кто с детства привык к ним, а для чужеземца – страшны: смерть при жизни».[3] И те трудности, что для арабов являлись нормой жизни, хотя тоже требовали напряжения в преодолении, оказывались вдвойне тяжелы для Лоуренса. «Возмещением была моя энергия мотива. Их менее крепкая воля слабела раньше, чем моя, и в сравнении позволяла мне казаться выносливнее и активнее».[4]

И арабов, и Лоуренса влекла одна цель – свобода. В стремлении к ней они существовали, превосходя себя - одним порывом духа: «Тело было слишком грубым, чтобы ощущать самые глубокие из наших печалей и радостей, поэтому мы отбросили его, как хлам».[5] В дороге исчезало осознание плоти, которая не жила, но только использовалась. «А когда в перерывах это возбуждение проходило, и мы видели свое тело, это было с некоторой враждебностью, с презрительным чувством, что оно достигло своей высочайшей цели – не как вместилища духа, но когда, растворившись, послужило своими элементами к обогащению поля».[6]

«Мы были преданы свободе – второму из верований человека, цели столь яростной, что она поглощала все наши силы, надежде столь превосходящей, что наши прежние устремления блекли в ее сиянии».[7] Подобно «сухим листьям на ветру»,[8] они были увлекаемы своим порывом, достигая в нем крайностей и боли, и восторга, изнемогая в нем, исчезая в нем... «Слабые завидовали тем, кто устал достаточно, чтобы умереть, потому что успех казался столь отдаленным, а провал – таким близким и определенным, хоть и острым, освобождением от тягот».[9]

Но, если для арабов свобода являлась благородной абстракцией, томящей памятью крови о былом величии своего народа, соединявшемся в разуме с понятием кочевой независимости, то для Лоуренса она была персонифицирована в образе Дахума. То, что предназначалось для

него, со временем стало им. Другие могли сдаваться. «Упадок всегда происходил от моральной слабости, въедающейся в тело, которое само по себе, без предателя изнутри, не имеет никакой власти над волей».[10] Силой Лоуренса был Дахум. Для него он желал выстроить величественный храм, и на этом пути не могло быть отступления – только короткие остановки в минуту полного изнурения воли.

Глава CII

Испытание бронемашин. – Победа Назира при Джурфе. – Смертоносный холод. – Взятие Шобека. – Падение Тафиле. – Прибытие Зейда в Тафиле.

Проведя некоторое время в Акабе, Лоуренс вместе с Джойсом отправился испытывать бронемашины в Вади Итм, где в сентябре отметил подходящие для того территории, покрытые гладкой высохшей грязью. На этом природном шоссе автомобили смогли развить скорость до шестидесяти миль в час и без аварий преодолеть сложные участки между грязевых прогалин. Лоуренс и Джойс доехали до Мудоввары и настолько воодушевились успехом, что решили произвести набег. Вернувшись за добавочными бронемашинами, усиленными десятифунтовыми орудиями, они 1 января атаковали один из турецких постов на железной дороге. Джойс руководил действиями с вершины холма, а Лоуренс радовался, наблюдая за боем, где нападающие были защищены непробиваемым панцирем. Однако эти машины не обладали проходимостью танков, и большого успеха достичь не удалось, хотя был получен важный опыт. Благодаря этому транспорту стало возможным гораздо быстрее добираться до железной дороги, а также создавать угрозу для турок, которые не могли противостоять ей на открытой местности. Но несмотря на такие преимущества, Лоуренс, в чьи обязанности входило снабжение, не смог получить должное

количество единиц техники, равно как не в силах было добиться предоставления соответствующей возможностям арабов артиллерии, острая потребность в которой ощущалась с самого начала и до конца войны. Британцы достигали своих успехов за счет арабов, без чьей помощи увязли бы в такой же кровавой трясине, как их соотечественники на Западном фронте, но мало заботились о том, чтобы оказать им достаточную практическую поддержку.

После экспериментов Лоуренс стал ожидать в Гувейре известий о начале наступления на Тафиле, группу селений у южной оконечности Мертвого моря, которые предполагалось охватить с запада, юга и востока. Первым пунктом был расположенный к востоку Джурф эд-Дерауиш – железнодорожная станция в тридцати милях от Маана, представлявшая собой три каменных строения с внешними укреплениями. Слабым местом в защите был кряж, находившийся за станцией.

Проведение этой операции было доверено Назиру, которого прозвали «счастливчиком» за его удачные операции, всегда точно рассчитанные и мастерски осуществленные. Его силы состояли из ховейтатов с Аудой, бени сахр и трехсот человек регулярных арабских частей под командованием Нури Саида, бывшего начальником штаба Джаафара. На вооружении имелись одно горное орудие и несколько пулеметов.

Через три дня ожидания Лоуренс узнал, как прошел их набег. Назир под прикрытием темноты занял кряж, а затем разрушил линию по обе стороны от станции. На рассвете Нури открыл с кряжа огонь из горного орудия и третьим залпом заставил замолчать турецкую батарею. Воодушевленные бени сахр вскочили на верблюдов и рванулись в атаку, не обратив внимания на предостережения Нури, полагавшего безумием мчаться на турок, когда у тех еще оставались пулеметы. Тогда он открыл по вражеским позициям шквальный огонь, а бедуины, обогнув кряж, налетели на неприятеля, повергнув его в панику. Побросав винтовки, турки кинулись искать укрытия в станции. Нури сбежал с кряжа и, найдя турецкое орудие неповрежденным, разрядил его в упор в станционное

строение. «Толпа бени сахр завопила от восторга, увидев, как полетели дерево и камни».[1] Вскочив в седла, они устремились к станции. Противник сдался. В плен было взято около двухсот турок, в том числе семь офицеров. Из арабов погибли двое.

Бедуинам было чем поживиться здесь: оружие, двадцать пять мулов и семь вагонов с деликатесами для офицерских буфетов Медины. После грабежа они подожгли то, что осталось целым, но «небрежно, поскольку, как обычно после победы, каждый был слишком нагружен и слишком распален, чтобы думать об альтруистическом труде».[2]

После набега три дня валил снег, и отряд Назира, вернувшийся в Джефер, оказался под ударом непогоды. Плато располагалось на высоте в три-пять тысяч футов над уровнем моря и было открыто всем ветрам, с огромной силой дувшим из Центральной Азии и с Кавказа. «Территорию за Беэршевой и Иерусалимом британцы считали холодной, но наши арабы сбегали туда отогреваться».[3] И снова арабам пришлось пострадать из-за недомыслия своего союзника: «Британский отдел снабжения слишком поздно осознал, что мы сражались в маленьких альпах. Они не выделяли ни палаток – хотя бы для одной четверти наших войск, ни перевязочных материалов, ни сапог, ни достаточного количества одеял, чтобы предоставлять по два каждому человеку из горных гарнизонов. Наши солдаты, если они не дезертировали и не погибали, существовали в мучительной нужде, которая вымораживала из них надежду».[4] За один день того снегопада от холода погибли десять человек.

Взятие Джурфа послужило сигналом для нападения на Шобек горных арабов, проживавших около Петры. Они шли в тумане через острые скалы и обрывистые долины, по сугробам, из которых выступали смерзшиеся стволы вереска, подобные «отливам серого чугуна».[5] Мороз и лед несли смерть и людям, и животным, но ничто не могло остановить упорства этих закаленных горцев, и Шобек был взят. Это вдохновило Назира на новый набег. «Выпрыгнув из Джефера, он после штормовой ночи появился

при первых проблесках дня на скалистом краю ущелья, которое скрывает Тафиле»[6] и стал призывать жителей и небольшой турецкий гарнизон сдаться, угрожая бомбардировкой. Последнее было только словами, так как Нури со своими пулеметчиками находился в Гувейре. Назиру ответили беспорядочной стрельбой. Тогда ховейтаты открыли огонь, и завязалась перестрелка. Сопротивление привело Ауду в негодование, и он, подъехав к окраине селения, прогремел: «Собаки, вы не знаете Ауду?» И «стены Тафиле пали от голоса Ауды, так же, как некогда стены Иерихона от гласа Иисуса Навина».[7]

Однако вскоре начались раздоры между абу тайи и моталгами Мастура. К тому же местное население было недружелюбно настроено по отношению к освободителям и изгнало бы их, если бы имело средства. Все это послужило поводом для скорейшего прибытия Зейда, которого, несмотря на его неполные двадцать лет, Фейсал назначил командиром в действиях у Мертвого моря.

Зейд прибыл в сопровождении Лоуренса и Джаафара, своего советника, а за ними следовал отряд в сто человек из арабских регулярных войск с горными орудиями. Юный командующий при помощи золота смог уладить разногласия. Ауда был вознагражден за свое участие и возвращен в пустыню. А спустя недолгое время возникла новая, совершенно неожиданная, неприятность.

Глава CIII

Сражение-буфф при Тафиле, 25 января 1918 года: возвращение турок. – Подготовка к обороне. – Негодование Лоуренса и его намерение. – К месту боя. – «Устрашение» аджейлей. – На позиции и отход. – Оборона резервной линии. – Охват вражеских позиций и атака. – Бесславие. – Рапорт-насмешка.

Вопреки всякому здравому смыслу и к великому удивлению Лоуренса и арабов турки вернулись отвоевывать Тафиле – пункт, не имевший для них никакого значения,

– и это в то время, когда их главной задачей являлась защита долины Иордана.

Джаафар-паша выбрал оборонную позицию на южной стороне глубокого ущелья Тафиле, рассчитывая отдать неприятелю селение и защищать высоты. Лоуренс не одобрил его решения, так как склоны были трудны для обороны, к тому же атакующий мог обойти их с восточного фланга. Но это был единственный план, и недоставало времени для разработки другого, поэтому к полуночи Зейд отдал приказ отойти на выбранную позицию.

В селении, когда стало известно о положении, началась паника, и темные обледенелые улицы наполнились смятением и криками. Существовали сомнения в благонадежности населения, и Лоуренс, чтобы выяснить истинные настроения, закутался поплотнее в плащ и прошелся по улицам с людьми из своей охраны. Ничего подозрительного он не заметил. Напротив, жители страшились прихода турок и были готовы поддержать того, кто сразился бы с ними.

Лоуренс взял инициативу в свои руки и отправил двадцать арабов из моталги к северу сообщить крестьянам, уже вступившим там в столкновение с врагом, что помощь идет. Стремительный полет посланцев через село довел ужас до предела. Обезумевшие женщины бросились в суматохе увязывать свое добро, вторя визгу своих мечущихся детей.

Затем Лоуренс отправился к противоположным высотам на поиски Зейда и нашел его сидящим в совершенном спокойствии на камне и обозревающим в бинокль окрестности. Не то Лоуренс: неисповедимое тупоумие врага привело его в бешенство. «Турки не должны были никогда, по всем правилам здравого командования, возвращаться в Тафиле вообще. Это казалось простой жадностью, поведением собаки на сене, недостойным серьезного противника, – именно тем безнадежным делом, что турки обычно и совершали. Как они могли ожидать соотвествующего ответа, когда они не давали нам возможности относиться с уважением? Наша мораль была постоянно оскорблена их глупостями, так как наши солдаты не могли уважать их

мужество, а наши офицеры – уважать их ум».[1]

Арабы имели преимущество во всем, и было возможно одержать победу, уклонившись от боя, как то бывало прежде и после: отказ от прямого столкновения с противником являлся одним из правил стратегии Лоуренса. Но теперь ему было этого недостаточно. И, если противник действовал вопреки здравому смыслу, он решил дать ему бой вопреки всем законам логики – и в соответствии со всеми догмами военной школы.

Зейд согласился с его намерением, и для начала небольшой отряд с двумя орудиями Гочкиса был отправлен на разведку, чтобы узнать о силах и расположении неприятеля. Вскоре послышалась перестрелка: прибытие разведчиков воодушевило моталг и селян, которые погнали турецкую кавалерию в сторону Хезы. Далее находились основные силы турок.

Лоуренс собирался отправить к месту сражения Зейда, но тот из осторожности настоял на необходимости подождать точных известий от своего авангарда. Тогда Лоуренс пошел сам. Увидев по пути свою охрану, увлеченно копавшуюся в брошенных на улицах вещах, он велел отвести в укрытие верблюдов и поспешить с оружием к северной стороне ущелья. Перейдя через долину Тафиле, он выбрался на расположенное позади плато, где нашел подходящее место для резервной или для последней линии обороны – низкий, узкий вал на остатках византийского фундамента. Этот рубеж являлся основанием треугольника, образованного равниной. Две других стороны были кряжами, покрытыми зеленью. Вершина треугольника была обращена к северо-востоку, и через нее пролегала дорога на Керак, уходившая в долину Хезы. Именно по этому пути наступали турки. Ранее высланный на разведку отряд занимал западную, или левую, сторону.

Лоуренс заприметил около двух десятков аджейлей Зейда, стеснительно спрятавшихся в ложбине, и заставил их занять позиции вдоль резервной линии, пригрозив, что иначе порасплетает их столь лелеямые косы. Аджейли повиновались, и издали «выглядели красиво, будто отдельные точки значительной армии».[2] Все новоприбы-

вающие, в том числе охрана Лоуренса, должны были присоединяться к ним.

Продвигаясь дальше, Лоуренс встретил одного из разведчиков, который сообщил, что боеприпасы закончились, а пять человек убиты. Тем не менее, он собирался продолжить бой и хотел призвать к этому Зейда со всеми его людьми. Лоуренс ничего не мог изменить или прибавить и оставил его осуществлять это намерение.

Жесткие стебли мертвой полыни впивались в исцарапанные на скалах ноги Лоуренса, а по мере приближения к месту сражения вокруг него все чаще падали перелетавшие снаряды. Один упал столь близко, что он смог увидеть его калибр. Когда он, наконец, добрался до кряжа, скалы обсыпала шрапнель. Турки карабкались на восточный откос за просветом керакской дороги и могли обойти с фланга тех, кто находился на западной стороне.

Лоуренс обнаружил здесь около шестидесяти человек, располагавшихся двумя группами – моталги у вершины и крестьяне у подножия. Последние сказали ему, что у них закончились патроны, и он велел им поспешить за ними, тогда как остальные должны были прикрывать их отход.

Турки знали, что эта позиция занята, и обстреливали ее из двух десятков пулеметов. Кряж представлял собой голые кремневые выступы, в четыре фута высотой и пятьдесят длиной, и пули оглушительно били о камень, а «воздух над головой гудел и свистел от рикошетов и осколков так, что было смерти подобно взглянуть вверх»[3]. Было ясно, что арабы не смогут долго удерживать эту позицию, и Лоуренс, попросив продержаться еще минут десять, первым бросился к резервной линии, так как, в отличие от остальных, лошади у него не было. На бегу он считал шаги, чтобы в дальнейшем, – когда турки займут тот же кряж, как единственно подходящий, – определить дистанцию обстрела. Моталги продержались положенные десять минут, а затем, вскочив в седла, ускакали безо всякого вреда для себя.

На резервной линии Лоуренс обнаружил около восьмидесяти человек и среди них свою охрану. Подкрепление продолжало прибывать, в том числе подоспела еще сотня

аджейлей.

Кряж являл собой превосходную оборонительную позицию. По краю расставили пулеметы, и Лоуренс дал приказ вести редкую стрельбу, чтобы беспокоить турок, а сам, пользуясь передышкой, нашел укромное место и проспал «блаженный час», тогда как турки занимали покинутый кряж.

В середине дня прибыл Зейд, приведя с собой двадцать человек пехоты на мулах, тридцать всадников из моталги и двести селян, с вооружением из четырех пулеметов, пяти легких автоматических ружей и одного горного орудия. Был послан отряд в восемьдесят человек, чтобы, обойдя восточный кряж, охватить фланг неприятеля. Турки же, тем временем, расставляли пулеметы вдоль кряжа, точно в музее, хотя там был лишь голый камень, без малейшего укрытия. Арабы уже имели прицел благодаря измерениям Лоуренса и только ожидали момента, чтобы смести турецкий рубеж.

Неожиданно в подкрепление прибыла еще сотня человек, из аимы, – покинувшие ряды после спора с Зейдом из-за платы, но в критический момент великодушно решившие вернуться. Теперь стало возможным атаковать с трех сторон, и прибывшие были отправлены с тремя легкими пулеметами для охвата правого, или западного, фланга. Затем по расположению турок был открыт огонь с центральной позиции, после чего арабы атаковали их с восточного фланга и смели его. Аимы были местными и, отлично зная территорию, незаметно подобрались непосредственно к турецким расположениям и открыли стрельбу, повергнув противника в панику. Теперь и центральные силы арабов бросились в атаку широкой волной под кармазинным знаменем аджейлей, словно сосредоточившим в себе разлитый на снегу алый свет заката.

Лоуренс был утомлен и желал только скорейшего завершения боя, тогда как Зейд с восторгом ударял в ладоши, любуясь прекрасным осуществлением плана. С одной стороны кавалерия загоняла сбившийся левый фланг в ложбину за кряжем, с другой аимы крошили пытавшихся спастись бегством. Центр неприятеля поспешно откаты-

вался назад, устремляясь к расщелине, а за ними мчались арабы пешком, на лошадях, на верблюдах...

Перед отступавшими турками лежал овраг Хезы – с опасными тропами, зарослями и ущельями. Глядя на погоню, Лоуренс не сомневался, что будет резня... Преследование скоро было прекращено из-за усталости, ранений и резкого холода. Арабы захватили две горных гаубицы, двадцать семь пулеметов, двести лошадей и мулов и двести пятьдесят пленных. Из тысячи турок к своему расположению вернулись только около пятидесяти.

«Этим вечером не осталось никакой славы, но только ужас истерзанной плоти, бывшей прежде нашими людьми, которую мимо нас везли к их домам».[4] Из шестисот арабов погибли около тридцати. Раненые арабы оставались лежать на поле боя, пока их не собрали в последнем усилии глубоким вечером, блуждая в летящем мраке снега («дрожь победы, склонявшая нас»[5]). Турки были покинуты: «Если нашим правилом было не терять арабов даже для того, чтобы убить немало турок, мы тем более не могли терять их, чтобы их спасти».[6]

В последующие два дня снегопад только усилился, и всякие действия были парализованы. «Мы должны были пройти мимо Керака на крыльях победы, ужасая турок до Аммана слухами о нас, но на самом деле ничего не получилось после всех потерь и усилий – кроме рапорта, который я отправил в британский генштаб в Палестине для штабного потребления. Он был намеренно написан ради впечатления и, полный странных улыбок и насмешливой простоты, заставил их думать, что я скромный любитель, делающий все возможное по великим моделям, а не клоун, косо смотрящий, как они во главе с дирижером Фошем маршируют по старой дороге крови в дом Клаузевица. Как и битва, это было пародией на подчинение уставу. Генштабу это понравилось, и мне невинно, чтобы увенчать шутку, предложили на этом основании медаль. В армии у гораздо большего числа сияла бы грудь, если бы каждый был способен написать без свидетелей свой собственный отчет».[7]

Бой при Тафиле стал антитезой предыдущему сраже-

нию, при Аба эль Лиссане за полгода до того. Там была необходимость, здесь – ненужная буффонада. Тогда Лоуренс жалел даже мертвые тела, теперь он от некоего побуждения обрек на смерть тысячу.

Между было Дераа. Причиной раздражения Лоуренса, что заставило его дать этот шутовской бой, было отнюдь не презрение к глупости. Сознавал он это или, скорее, нет, но он желал отомстить за свое мученичество, и в этой сражении инстинктивно искал разрядки. Если бы он мог предполагать, во сколько арабских жизней обойдется его безрассудное движение, он, несомненно, отказался бы от него так же, как до того сознательно упускал возможность выгодного нападения, чтобы сберечь нескольких человек.

Погибли многие, и удовлетворения от такой издевки быть не могло, только – усталость, опустошенность и раскаяние, с чем он и писал свой доклад, горько смеясь над теми, кто разрабатывал стратегию страдания, и теми, кто слепо следовал проторенной дорогой ненависти и смерти.

Глава CIV

Победа кавалерии над флотом. – Нарушение плана. – Заточение в Тафиле. – Сквозь непогоду до Гувейры.

Лоуренс вспомнил про Абдуллу эль Фейра, лагерь которого был расположен на южном берегу Мертвого моря. Сообщив ему об одержанной победе, он уговорил его предпринять набег на небольшой порт близ Мезраа на восточном берегу, откуда хлеб, поступавший из района Керака, отправлялся на судах на север для снабжения турецкой армии. Абдулла взял семьдесят человек из бедуинов Беэршевы и, проехав ночью по узкой тропе между холмами Моаба и побережьем, на рассвете 28-го достиг небольшой бухты, где на якоре стояли моторный катер и шесть барж. Команды отдыхали на берегу. Арабы стремительно атаковали их и одержали победу – редкостную победу кавалерии над флотом. Не потеряв ни одного чело-

века, они взяли шестьдесят пленных и захватили десять тонн зерна. Так были остановлены перевозки по Мертвому морю – и даже на две недели раньше, чем то было обещано Элленби.

Теперь оставалась последняя задача – до конца марта достичь долины Иордана. Однако удача покинула арабов: пронзительный ледяной ветер, морозы по ночам и легкая оттепель днем сделали передвижение невозможным. Верблюды не могли ходить по снегу, а люди слишком мерзли, чтобы сохранять желание действия. Наконец, возникла необходимость отправить животных на теплые пастбища, и план Лоуренса соединиться с армией Элленби у северной оконечности Мертвого моря был окончательно разрушен.

В Тафиле арабы жили в грязных каменных жилищах, лишенные и тепла, и достаточной пищи. Лоуренс со своей охраной располагался в недостроенном доме – двадцать восемь человек в двух маленьких комнатах. Верблюды были размещены в укрытии в углу двора. Дом было чем отапливать, но от этого становилось только хуже, так как все помещение заполнялось едким зеленым дымом. Сквозь глиняный потолок сочилась вода. Лоуренсу досаждала рана в бедре, болезненно пульсировавшая от холода, и угнетала неловкая скученность. Некоторое утешение он находил только в книге «Morte d'Arthur», которую он возил с собой на протяжении всего восстания. Возможность забыться чтением – это совсем не мало...

В охране Лоуренса нарастало напряжение, пока однажды двое из нее не бросились друг на друга с кинжалами. Это было нарушением основного закона, установленного для них, – не поднимать руку на сотоварища, поэтому их начальник приговорил виновных к наказанию плетьми. Звук ударов напомнил Лоуренсу о пережитом, и он, вступившись, остановил порку. Ему было невыносимо видеть раздоры своих людей, и, чтобы чем-нибудь занять себя, он в начале февраля решил съездить в Гувейру за деньгами, которые требовались для набора новых сторонников, хотя доставку средств мог бы устроить Джойс.

Лоуренс взял четырех человек и в один из более ясных

дней, когда проблескивало солнце, отправился в дорогу. Вскоре снова надвинулись серые непроницаемые тучи, а ветер усилился, пронизывая открытую равнину. Лоуренс был, как обычно, в легкой рубашке, плаще и босиком, что подходило для безветрия с температурой градусов в пятнадцать, но не для штормовой непогоды. Его спутники были одеты не теплее.

Когда они преодолели реку Шобека, начался ливень со стремительными порывами ветра, перешедший затем в спокойный, упорный дождь. Остановки стали бы потерей времени, поэтому ехали непрерывно, делая около двух миль в час по скользкой равнине. К ночи поднялся туман, а по небу мчались обрывки облаков. Верблюды увязали в рыхлой размокшей почве, то и дело оступаясь и падая, и лишь с большим трудом можно было заставить их двигаться дальше. Потом стало подмораживать, и разбросанные по долинам камни покрылись ледяной коркой. Лоуренс собирался ехать всю ночь, но в холодной тьме это было бы безумием. Поэтому, выбрав укрытие под выступом скалы, всадники спешились. Верблюдов разместили тесной группой, а сами прижались к ним, надеясь согреться и уснуть.

«Согреться (мне, по крайней мере) так и не удалось, и едва ли я мог уснуть. Я задремал однажды только для того, чтобы, вздрогнув, проснуться, когда мне показалось, что медленные пальцы поглаживают мое лицо. Я пристально посмотрел в ночь, мертвенно-синюю от крупных, мягких хлопьев снега. Они падали одну-две минуты, а затем последовал дождь, и после – еще более крепкий мороз; тогда как я сжался в тесный комочек, ощущая всяческую боль, слишком жалкий, чтобы шевелиться, и так просидел до рассвета. То был неуверенный рассвет, но достаточный. Я перекатился по грязи посмотреть своих людей, съежившихся в своих плащах и потерянно приникнувших к бокам животных. На лице каждого застыло самое мучительное выражение покорного отчаяния.

Это были четверо южан, которые боялись оставаться в Тафиле из-за холода и собирались отдохнуть в Гувейре, пока снова не станет тепло, но здесь, в тумане, им показа-

лось, как верблюдам, что смерть близка, и хотя они были слишком горды, чтобы жаловаться, они, тем не менее, молчаливо показывали мне, что выполняемое ими ради меня – жертва. Они не говорили и не двигались в ответ. Под упавшим верблюдом лучше всего было развести небольшой огонь, чтобы поднять его. Но я взял самого маленького из этих кукол за прядь волос и доказал ему, что он еще может чувствовать. Остальные поднялись на ноги, и мы растолкали окоченевших верблюдов. Единственной нашей потерей оказался бурдюк, вмерзший в землю».[1]

Путь продолжали пешком: животные уже не могли выдерживать седоков. Позднее все из них, кроме верблюда Лоуренса, погибли на этом переходе. Теперь уже и люди скользили и падали на глинистом дне долины. Лоуренс вспомнил способ, благодаря которому пробирался по грязи Дераа, и пытался так же удержаться на этой расползавшейся почве. Порывы обжигавшего холодом ветра раздували плащи, поэтому их пришлось снять и остаться в одних тонких рубашках. Руки онемели до бесчувственности, но тела продолжали ощущать холод и дрожали под ударом каждого секущего порыва. Люди поворачивались к ветру менее поврежденной стороной, оттягивая одежду, чтобы ветер не хлестал напрямую по телу.[2]

К вечеру они преодолели десять миль и достигли Аба эль Лиссана. Там они миновали пост Мавлюда, однако никто их не приветствовал: несчастные арабы регулярных частей, снабженные только английским обмундированием летнего образца, лишились половины своих сил в борьбе с непогодой. Те, кто выжил, продолжали нести свою службу – свое жертвоприношение на алтарь свободы, который потом осквернила чужая корысть.

Вечером продвижение стало немного легче: земля на последних двух милях до Штара была скована морозом. Взобравшись на верблюдов, воодушевленные странники устремились к Гувейре, красная равнина которой простиралась под густыми облаками, образовывавшими низкое второе небо. Всадники остановились на вершине последнего кряжа и с удовлетворением созерцали этот белый

слой, от которого временами отделялись клочки и плыли к ним. Скользнув легким пухом по лицу, они летели дальше, чтобы собравшись над первым встретившимся хребтом, растаять седой пылью или тонкими струйками.

Поудивлявшись пребыванию в облаках, Лоуренс с арабами весело помчались вниз, на уютную теплую равнину. Там они ступили, наконец, на сухой песок, но радоваться не пришлось: отогревающиеся тела наполнились мелкими иглами боли, а соль почвы оживила раны избитых о камни ног. В отчаянии снова взобравшись в седло, они отправились дальше и вскоре были на месте.

Глава CV

В обратный путь – Борьба с эдомитской зимой. – В ледяной яме. – По призрачным улицам Шобека. – Отдых в замке. – Кровавая тропинка. – Неудивительное чудо.

Лоуренс провел в Гувейре три спокойных дня, в течение которых встретился с Фейсалом, Джойсом и Аланом Доуни, начальником сформированного в ноябре в Каире штаба, ведавшего операциями в Хиджазе. Из Акабы были присланы тридцать фунтов золотом. Лоуренс попросил у Фейсала попутчиков для обратной дороги, и тот предоставил ему двух атейб и шейха Мотлога с двадцатью его соплеменниками. Лоуренс раздал по два мешка с деньгами четырнадцати из людей Мотлога и два оставил при себе. В путь выступили в полдень. Вскоре опять полил дождь, и шейх, завидев шатер, решил остановиться там на ночь, чтобы посмотреть, не улучшится ли погода. Лоуренс, не желая терять времени, попрощался с ним и поехал дальше с атейбами и шестью присоединившимися ховейтатами, направлявшимися в Шобек.

Сгустились сумерки, и унылая морось вскоре заставила его пожалеть о своей решимости. Однако немного спустя во тьме замерцал огонек. Подъехав ближе, Лоуренс увидел,что это лагерь одного из его знакомых арабов. Там

путники провели ночь.

На рассвете вершины холмов оказались покрыты снегом. Атейбы с интересом устремились вверх по тропе, чтобы пощупать эту диковинку, и даже верблюды настороженно принюхивались к белому покрову.

После того как без особого труда был преодолен последний кряж, в лицо ударил столь яростный ветер, что Лоуренс и арабы поспешно повернули назад в поисках укрытия. Но пережидать непогоду было бесполезно, и они, собравшись с духом, бросились навстречу леденящему пространству. От резкого холода легкие словно сводило, и несчастные атейбы сочли, что задыхаются. Дальше ожидали еще большие трудности. У подножия одного из холмов верблюды застряли в снежной каше и, в напрасной попытке выкарабкаться, вновь и вновь оседали. Седоки спрыгнули – и стали сами так же скользить и увязать. В конце концов, они были вынуждены снять обувь и потащить животных вверх по двадцатифутовому склону, покрытому жидкой грязью. Так спешиваться приходилось часто, иногда недобровольно, – когда верблюды оскальзывались, и всадники вылетали из седел под звон монет. Ветер не прекращался и пронизывал насквозь, замораживая тело до того, что, выпадая из седла, человек подчас оставался в той же позе, в какой ехал.

Скорость составляла лишь милю в час, и Лоуренс, опасаясь, что наутро и люди, и животные будут еще более усталыми, продолжал езду и в темноте. В одном месте им встретился неширокий поток. Верблюды заупрямились у перехода, и пришлось спешиться, чтобы их перевести – через ледяную воду в три фута глубиной. К девяти часам вечера спутники Лоуренса отказались ехать дальше. Он и сам готов был плакать от изнурения и холода, поэтому втайне радовался лишней возможности привала. Расположившись среди верблюдов и укутавшись в одеяла, они проспали до рассвета.

Новым днем в туманных долинах меж древних известняковых холмов медленно струились потоки тающего снега, а со слепой белесой высоты ниспадали мокрые хлопья. К полудню они сменились дождем, который перемежаю-

щийся ветер гнал темными волнами. Для Лоуренса мысль о безденежном положениии Зейда была «превосходным поводом, чтобы помериться силами с эдомитской зимой»,[1] но несчастные арабы не имели подобного воодушевления и были измучены и телесно, и духовно. Такое сопровождение могло только препятствовать продвижению, поэтому Лоуренс покинул их у одного лагеря бедуинов и продолжил путь один.

К вечеру снег прекратился. Достигнув реки Шобека, Лоуренс увидел, что по склону вьется коричневая дорога, ведя к селению. Он хотел пройти к ней напрямик, но замерзшая почва оказалась обманчивой, и он провалился сквозь острый лед по пояс в яму глинистой грязи. Верблюд, не решившийся ступить на ненадежную корку, стоял на краю. Лоуренс, еще держа узду, заставил его подойти ближе и, извернувшись, сумел ухватить его за ногу. Верблюд отшатнулся и вытащил его. Отмыв в потоке грязь и дрожа, Лоуренс взобрался в седло и поехал по обледенелой тропе в гору, где на фоне ночного неба четко вырисовывался старинный замок. По пути ему вновь пришлось спешиться. Добравшись босиком по хрустящему насту до ворот, он снова сел в седло, «чтобы совершить сценический въезд».[2] Напрасно: верблюд, перепуганный камнями и тенями зловещего места, столь быстро бросился под арку, что Лоуренс едва успел пригнуться.

Лоуренс знал, что здесь, в Шобеке, должен пребывать шериф Абд эль Маин, поэтому он уверенно ехал по призрачным улицам, где звездный свет искрился в сосульках и создавал игру синих теней на заснеженных крышах и земле. Подъехав к нужному дому, он позвал. Дверь распахнулась с клубами дыма, и слуги спросили, кто он, после чего его провели в комнату хозяина, который лежал на полу, ловя менее задымленный жаровнями воздух.

Абд эль Маин рассказал ему, что его двести человек лишены пищи и денег, а посланцы к Фейсалу задержаны непогодой, и Лоуренс предоставил ему пятьсот фунтов. Шериф недавно женился, и они поговорили о его браке, целью которого, конечно, было единственно продолжение рода. Лоуренс выразил свое горькое мнение на этот счет,

процитировав Дионисия из Тарса и поинтересовавшись, что за радость во взгляде на воплощение своей похоти? Но собеседнику его слова показались только шуткой.

Наутро Лоуренс поднялся с раскалывающей головной болью. Шериф подобрал ему двоих сопровождающих, и они выехали вместе. Однако гора Шобека еще не скрылась из виду, как Лоуренс опять ехал один: новые спутники вернулись обратно, устрашившись холода и снега.

Ехать было возможно лишь там, где тянулись остатки древнеримской дороги, в других местах Лоуренс брел босиком по серой слякоти, онемевший от озноба. Дождь промочил его до нитки, затем приморозило, и он «захрустел в доспехах белого шелка, как театральный рыцарь, – или как свадебный пирог, прочно заледеневший».[3]

За равниной Шобека снег плотно скрывал путь, шедший вверх по склону горы между стенами, канавами и кучами камней. В одном месте верблюд оступился и вместе с Лоуренсом рухнул с высоты в восемнадцать футов во впадину замерзшего снега. Когда же он поднялся, заставить его сдвинуться с места оказалось невозможно. Лоуренс, увязая в снегу, пытался подтащить его спереди или подтолкнуть сзади: тот стоял как вкопанный. Он сел в седло, и животное опустилось. Лоуренс спрыгнул и на четвереньках начал прокапывать для него дорожку в фут шириной, три глубиной и восемнадцать шагов длиной. Наст с трудом поддавался под его весом, а запястья и щиколотки засочились кровью, и по краям тропинки потянулась бледно-розовая кайма. Закончив, он вернулся к верблюду, взобрался на него и тот, к его облегчению, легко пошел по проторенному пути. Немного проехав, Лоуренс опять спешился и повел животное, проверяя палкой дорогу. Через три часа он достиг вершины кряжа, за которым, на глубине тысяч футов, простиралась солнечная долина Арабы. Близился вечер, и Лоуренс вдруг остро осознал свое одиночество и то, что верблюд может погибнуть, а деньги – «даже в Аравии» – едва ли могут быть оставлены в безопасности у дороги...

К счастью, ехать оставалось уже немного. Вскоре он

добрался до Решидийе, где нашел людей Зейда, остановленных непогодой по дороге к Фейсалу. Они приветствовали его возгласами радости. Узнав новости, он направился дальше, и последние восемь миль до Тафиле проделал без происшествий.

Этот переход вызывает поначалу изумление.* Как мог Лоуренс, которого даже терпимый холод приводил в оцепенение, не только осилить такой путь, но даже не заболеть? Воспаление легких, менингит, обморожение, жестокая простуда в конце концов, не пощадили бы никого, а иной расстался бы с жизнью. Что же за феномен выживания?

В действительности, здесь нет ничего удивительного. Движущий мотив любви вскрыл в нем крайние ресурсы сил и жизнеспособности – так же, как вера наделяла стойкостью христианских мучеников и подвижников. Любовь стала его силой, и, пока она длилась, он мог преодолевать свои пределы – ради любимого.

Жизнь – в духе, и пока он влеком идеей, человек непобедим. «Без предателя изнутри» лишенная воли плоть не сдается. Преодолеть Лоуренса смогло только одиночество.

Глава CVI

Разведка у долины Иордана. – Недоразумение с Зейдом. – Сокрушение. – Отъезд в Беэршеву. – «Надлом» воли.

Мотлог с основной частью золота еще не прибыл, и Лоуренс, пользуясь выдавшимся свободным временем, решил произвести разведку подходов к Кераку и террито-

* Мое сострадание Лоуренсу было таково, что после работы над наброском данной главы, в начале мая 2011 года, я заболела на несколько дней простудой. Стигматы святых чудом не были. – *О.К.*

рию предстоящего наступления в сторону Иордана. Он попросил Зейда принять у Мотлога деньги и разрешил использовать на текущие нужды столько, сколько будет необходимо.

Теперь, когда холода отступили, передвижения стали намного легче. Лоуренс без труда пересек Вади Хеза и достиг начала иорданской долины, в которой слышался гул орудий Элленби: турки еще удерживали Иерихон. Обследовав местность, он столь же легко вернулся в Тафиле.

Итоги поездки были обнадеживающими, и воодушевленный Лоуренс, рассказав о них Зейду, предположил, что последняя задача может быть выполнена за месяц. Тот мрачно выслушал, а потом произнес: «Это потребует немало денег». Лоуренс заверил его, что имеющегося запаса более чем достаточно, и услышал в ответ, что у Зейда ничего нет. Он обомлел, а тот смущенно пробормотал, что истратил все добытые средства и перечислил, кому и сколько было уплачено.

Лоуренс был в ужасе: это означало крушение плана и вместе с тем потерю доверия Элленби к арабам. Он отправился к Назиру, чтобы выяснить до конца, в чем дело. Назир, лежавший с лихорадкой, уныло произнес, что действительно все плохо, а Зейд слишком молод, чтобы избежать влияния своих нечестных советчиков.

Всю ночь Лоуренс думал, что делать, но не находил выхода. Наутро он потребовал от Зейда возвращения денег, заявив, что иначе должен будет уйти, на что тот предоставил ему отчет о затратах. Лоуренс собрался подать прошение об отставке. В тот же день приехал Джойс. Лоуренс попросил его все объяснить Фейсалу и вечером в сопровождении четырех человек отправился на Беэршеву, через которую пролегал кратчайший путь до штаба.

Долину Арабы исполняла симфония красок зелени, камня и воды, теперь печальная для Лоуренса, который мысленно прощался и с красотой этой сдержанной природы, и с теми, к кому успел привязаться...

В одном селении путникам предложили отобедать. Лоуренс, опасаясь задержки, не стал входить в дом, но съел угощение на маленьком кладбище, около могилы,

где скорбящие оставили в дар покойному заплетенную косу. Лоуренс, должно быть, снова – как в Аба эль Лиссане – завидовал тем, кто закончил свой тягостный путь и теперь мог отдыхать в ненарушимом покое Вечности. Но тогда боль еще не была столь тяжела, как теперь – после провала у Ярмука, мученичества в Дераа, бессмысленной бойни при Тафиле, от которой он безотчетно ожидал облегчения, но вызвал лишь горечь раскаяния, и недавнего напрасного усилия на ледяных сквозняках Эдома, после чего вместо удовлетворения он понес поражение. Тогда он еще мог терпеть, ныне же усталость перехлестнула его предел: последней каплей стало это недоразумение с Зейдом, «человечком, который действительно нравился»[1] ему.

Изнеможение лишило его воли, и чувство вины, не отпускавшее все время, больше было не заглушить самоубеждением. Второй раз он не мог сдержать своего обещания, второй раз обманул надежды англичан и лишил арабов доверия союзника. Будучи для арабов мессией свободы, он оказывался шарлатаном, создававшим ложную веру и влекшим к гибели своих покорных обращенных. Конечно, потери среди них на стремительном пути победы были несопоставимы со смертностью на Западном фронте, где в день гибли тысячи за один километр, за два, а подчас – ни за что. Но здесь и от потери нескольких волны боли прокатывались по этой армии личностей. Провозвестником лжи, смерти и страдания оказывался он, пытавшийся создать свой дар любви – на крови... «Ничтожество», – мог называть он себя в раскаянии, которое разъедает душу тем сильнее, чем она чище.

Вина перед арабами была виной перед тем, кто из туманившейся дали ожидания словно смотрел на него с укором – как его собственная совесть, как его судья, как осквернённая икона заступника. В действительности, если бы Дахум, безо всякого «приятного подарка» любивший его и нуждавшийся только в нем, мог знать, что переносил во имя его Томас, он преклонился бы пред ним: усилие дороже достижения.

Лоуренс обманывал лишь себя в своей опрометчивой надежде на окончательную победу, от любви и молодости

переоценивал свои возможности, казавшиеся тем сильнее, чем больше были уже перенесенные испытания, и заглушал голос разума, твердивший ему о тщетности его усилия. Теперь он оказался в таких же тисках совести, как Савонарола, «перелюбивший Флоренцию» и потерпевший поражение в борьбе с косностью упоенных властью – поражение, заставившее усомниться в своей правоте. Лоуренс, не выдержав *несуществующей* вины, решил сойти с изнуряющих высот сознательного усилия и, став винтиком в машине, забыться в блаженном безволии.

Дорога, которой он продвигался, будто выражала его умонастроение. Ночью, проехав сквозь безысходную черноту ущелий и добравшись до центрального русла Вади Араба, Лоуренс обнаружил, что оказался в тупике скал. Это было неудивительно, потому что он выбирал направление, полагаясь на воспоминания трехлетней давности о карте Ньюкомба. После долгих поисков удалось, наконец, найти перевал, через который могли пройти верблюды. За ним открывалась странная местность, бесплодная от соли, «словно неожиданно замершее бурное море, где все вздымающиеся волны преобразовались в жесткую, волокнистую землю, темно-серую под полумесяцем этой ночи».[2]

К полудню следующего дня Лоуренс, преодолев восемьдесят миль через холмы, прибыл в Беэршеву. Здесь он узнал, что взят Иерихон. Он отправился в штаб Элленби и по дороге встретил Хогарта, которому и рассказал о своем злоключении и о намерении попросить главнокомандующего найти для него работу попроще, не связанную с ответственностью: «Я до смерти устал от свободы воли».[3] Лоуренс, деятельный в собственных духовных областях, в общем чуждом деле желал только пассивного подчинения и покорного исполнения порученного задания. Нежный и чувствительный, он не обладал природой воина и тем более не чувствовал никакой склонности к командованию. Его положение в Аравии было насилием над его сущностью с любовью к тишине, уединению и духовным занятиям.

Пока он мог, он терпел, изнашивая себя. «Я пребывал в движении полтора года, проезжая каждый месяц на верблюде тысячу миль, с дополнительными нервными часами в разваливающихся аэропланах или в гонках по пустыне в мощных машинах. В последних пяти операциях я был ранен, и тело так страшилось продолжения боли, что мне приходилось заставлять себя идти под огонь. Я постоянно был голоден, в последнее время все время замерзал, а мороз и грязь превратили мои раны в воспаленную массу болячек... Как бы то ни было, все эти беспокойства заняли бы свое ничтожное место – при моем презрении к телу и к моему запятнанному телу в частности. Заняли бы все, кроме жгущего обмана, который должен был быть привычкой моего разума, – этого притязания вести национальный подъем иной расы, с ежедневным пребыванием в чужом одеянии, проповедованием на чужом языке, при чувстве сквозь все это, что «обещания», на которых действовали арабы, были достойны того, чем стала бы их вооруженная сила, когда настал бы момент осуществления. ... Теперь моя воля сдалась, и я боялся быть один [предоставленный самому себе], чтобы ветра обстоятельств, власти или вожделения не выдули мою пустую душу».[4]

Положение Лоуренса было сопряжено не только с насилием над своей природой, не только с «преступной ложью» (как *он* считал), но также с нечистотой власти, способной осквернить дух уже одними превосходством и вершением чужих судеб, и с опасностью соблазнов. Тяготы и сама обстановка разжигали желания, и без того сильные, и за одухотворенными влюбленностями-неизбежностями мог беспрепятственно последовать огонь лишь физической – уничтожающей – страсти. Попытка уйти была еще и попыткой спастись духовно.

Глава CVII

Намерения военного министерства и Элленби. – Предложение Лоуренса. – Окончательный план. – Возвращение Лоуренса к действию.

Если бы Лоуренс смог тогда уйти в сторону, он избежал бы возникшей после войны ненависти к себе, что выросла из чувства вины и раскаяния. Но его попытка не удалась. Хогарт взял его к Клейтону, где он узнал о сложившейся обстановке, при которой его отставка оказывалась невозможной.

Действия на Западном фронте зашли в тупик, и британское военное министерство рассчитывало разрядить обстановку выведением Турции из войны. После взятия Иерусалима Элленби пообещали прислать подкрепления и спросили о его дальнейших планах. Он собирался оказать нажим на Хиджазскую железную дорогу, чтобы отрезать двадцать тысяч турок к югу от Аммана, а потом, немного продвинув свой левый фланг, приготовиться к наступлению в большом масштабе совместно с морскими силами.

Ллойд Джорджу его намерения показались узкими для достижения указанной цели: он желал, чтобы был взят Халеб. Таким образом стало бы возможным изолировать турецкие силы в Месопотамии или хотя бы удовольствоваться полным занятием Палестины. Элленби же предпочитал медленно, но уверенно продвигаться согласно своей схеме, чем следовать воображению премьер-министра.

Робертсон тоже был против идей Ллойда, но его влияние ослабевало, и 21 января представители высшего военного совета союзников постановили под давлением последнего остаться в составе обороны во Франции, Италии и на Балканах и развернуть решительное наступление на турецком фронте.

По окончательному плану, Элленби должен был получить подкрепления в виде британской и индусской пехотных дивизий из Месопотамии и индийской кавалерийс-

кой дивизии из Франции. Таким образом, его силы составили бы десять пехотных и четыре кавалерийские дивизии, и он мог бы выполнить задачи, намеченные им ранее, а затем развить продвижение в северном направлении по побережью, согласуя наступление с темпом строительства железной дороги. Арабам следовало прикрывать его восточный фланг.

Расположение турецких сил тогда было следующим. Внутренний участок, обращенный к Иерусалиму, удерживала 7-я армия, составлявшая лишь три тысячи девятьсот штыков на фронте в тридцать километров. На береговом участке находилась 8-я армия. К востоку от Иордана была задействована 4-я армия, включавшая все части, охранявшие Хиджазскую железную дорогу вниз до Маана. Десять дивизий 2-й армии в тысячу триста штыков стояли между Иорданом и морем напротив британских войск, численно превосходивших их втрое.

Для Лоуренса, доказавшего свой военный гений, не оставалось путей к отступлению. Поэтому он даже не стал упоминать о причинах, что привели его в штаб, и внес свои замечания. По его мнению, прежде всего следовало взять Маан. При наличии транспорта регулярные арабские части могли бы занять позицию в нескольких милях к северу от Маана и, перерезав железную дорогу, вынудить гарнизон дать бой, – в поле арабы смогли бы без труда разбить турок. Для этого требовалось семьсот верблюдов, дополнительное вооружение и прикрытие против фланговой атаки от Аммана. Элленби предоставил ему два подразделения из верблюжьего транспортного корпуса, состоявшие из египтян под началом британских офицеров, и обещал вооружение и прикрытие.

На следующий день, 28 февраля, состоялось совещание, на котором было принято окончательное решение. Арабская армия должна была выступить на плато Маана и занять Маан, тогда как англичанам следовало перейти Иордан, взять Салт и разрушить к югу от Аммана максимально возможную протяженность железной дороги.

Оставался спорным вопрос об участии амманских арабов в британской операции. Болс полагал, что они должны присоединиться, а Лоуренс возражал, указывая, что отход от железной дороги будет воспринят как отступление и вызовет реакцию. Чэтвуд, которому предстояло руководить этими действиями, поинтересовался, как его люди смогут отличить дружественных арабов от враждебных, поскольку среди них существовало предубеждение против тех, кто носит рубашки. Лоуренс сидел именно в таком наряде и ответил, что носящие рубашки, в свою очередь, недолюбливают людей в форме. Присутствующие рассмеялись, и обсуждение завершилось. Было условлено, что арабы окажут поддержку только после того, как Элленби окончательно утвердится в Салте.

После падения Маана арабские регулярные части должны были получать снабжение из Иерихона и иметь в своем распоряжение семьсот верблюдов, благодаря чему их радиус действий мог достигать восьмидесяти миль. Так они смогли бы действовать выше Аммана в то время, как Элленби вел бы масштабное наступление вдоль линии от Средиземного моря до Мертвого, что было второй фазой операции, конечной целью которой являлось взятие Дамаска.

«Арабское движение существовало до сих пор, как зрелище дикарей, со средствами столь же малыми, как его обязанности и перспективы. С этих пор Элленби рассматривал его как чувствительную часть своей схемы. А легшая на нас ответственность делать лучше, чем он желал, поскольку частично за наши неудачи расплачивались бы жизнями его солдаты, удаляло это неимоверно от области веселого приключения».[1]

Лоуренс съездил на два дня в Каир, а затем – в Акабу, где встретился с Фейсалом и рассказал ему о разрушении своих планов из-за растраты Зейда, о неудавшейся попытки увольнения и необходимости вернуться. После составления приблизительных графиков он снова отправился в Египет.

12 марта Лоуренса произвели в звание лейтенант-полковника. Кроме того, ему была вручена медаль «За заслу-

ги» за сражение при Тафиле. «Жаль, что эти хорошие штуки не присуждают тем, кто их действительно использовал бы»,[2] – замечал он.

Глава CVIII

Смерть в своей длительности

Лоуренс должен был приступить к действиям только 30 марта. Имея, таким образом, около восемнадцати свободных дней, он отправился с Назиром и Зейдом в Шобек.

Воздух был напоен весенней солнечной мягкостью, а на закате поднималась прохлада, как острое воспоминание о недавних холодах. Борения и напряжение Лоуренса прошли, и за ними настало то умиротворение усталости, что следует за духовными и телесными кризисами. Среди этой тишины он узнал новости из Азрака, где Али и индусы продолжали нести свою службу. От холода погиб один из индусов и – Дауд. «Фаррадж сам сказал нам об этом.

Эти двое были друзьями с детства, пребывая в вечной веселости: вместе работали, вместе спали, делили каждый кусок с открытостью и честностью совершенной любви. Так что я не был удивлен увидеть Фарраджа потемневшим, осунувшимся, с заплаканными глазами и повзрослевшим, когда он пришел сказать мне, что его товарищ мертв. И с того дня до конца своей службы он больше не радовал нас своим смехом. Он стал тщательно заботиться (еще больше, чем прежде) о моем верблюде, кофе, моей одежде, седле и каждый день вставал на свои три регулярные молитвы. Другие пытались его утешить, но он только беспокойно блуждал, серый и молчаливый, очень одинокий».[1]

Любимые не умирают. Умирают любящие, ибо жизнь становится смертью любимого, и весь мир – его отсутствием. Бытие – для ушедшего, для оставшегося – небытие. В разорванном братстве (как и в его незнании) – наибольшее из страданий. Высшее блаженство – быть вместе,

тяжелейшая беда – быть одному, частицей боли в равнодушной бесконечности.

Истинная любовь между мужчинами есть духовное родство, и, если оно насильственно прекращается, для оставшейся души нет утешения. Не только связь нарушается – разрушается целостность самой души, и наступает духовная агония. Если боль длиться долго, она может притупиться и стать привычной, заместив дух, но оставить – нет: потеря брата – потеря себя самого.

Существование превращается в капкан боли: все стерто, нет ни мыслей иных, ни чувств, только механичность действий сквозь обессмысленность. Иногда тоска обостряется так, будто вокруг – сплошной нож, и ранит каждое движение, каждый вздох. Во сне она является чудовищным преобразованием самой себя и давит, пока не разбудит собственный крик. Но еще мучительнее, когда забытье возвращает к прошлому, и тогда пробуждение – как новая утрата.

В такой агонии остался Фаррадж. Ни во сне, ни наяву не было для него успокоения – лишь невыразимая и нестерпимая боль отсутствия. «Брат мой!» – разрывающий крик внутри – и ни слова на губах. От отчаяния бьются, но в том, что за ним – молчат.

Этих мальчиков давно нет в земной жизни, но пропасть, что однажды пролегла между двумя любящими существами, словно зияет до сих пор. Прошлое кажется не застывшим, но живым и действующим – неким лимбом времени, где длится то, что было однажды, и улавливается чуткой от боли душой. Страдание другого ощущается, как собственное ожившее воспоминание, и, проходя сквозь знающее сердце, оно становится твоим. И мучительно, как неутолимая жажда, осознание своего бессилия: можно только видеть, стоя на обочине крестного пути. Видеть, понимать и помнить. Больше ничего. Остальное – Божье.

Глава CIX

Разногласия в армии. – Подавленность Лоуренса. – Сохраненная жизнь. – Волны памяти. – Поражение англичан у Аммана. – Разведка Лоуренса в Аммане.

Фейсал принял план Лоуренса о походе к Маану, но офицеры арабских регулярных частей были против и собирались провести фронтальную атаку. Это заставило Лоуренса, Доуни и Джойса выехать в их расположение в Аба эль Лиссан. Попытки переубедить их оказались тщетны, и Доуни составил схему в соответствии с их намерениями, согласно которой силы должны были быть разделены на три части: центральную колонну арабских регулярных частей и всадников Ауды под командованием Мавлюда, северную колонну арабских регулярных войск под началом Джаафара и южную колонну бронемашин и египетских частей на верблюдах с небольшим числом бедуинов под руководством Доуни. Этим подразделениям после взятия ближних к Маану станций предстояло атаковать Маан.*

После того как разногласия были улажены, Лоуренс отправился в Атару, расположенную к юго-востоку от Аммана, где находился лагерь Мифлеха, Фахада и Адхуба. С Лоуренсом были его охрана и Мирзук со своими аджейля-

---

* К слову стоит заметить, что в то время северную арабскую армию составляли:
– арабские регулярные части под командованием Джаафар-паши: пехотная бригада, батальон пехоты на мулах, батальон на верблюдах и около восьми орудий;
– британские части под командованием подполковника Джойса: хиджазская автоброневая батарея (три машины Роллс-Ройс с пулеметами и два десятифунтовых орудия на грузовиках Тальбот), рота египетского корпуса на верблюдах, отряд из четырех самолетов, транспортные части и рабочие батальоны;
– французский отряд с вооружением из двух горных орудий, четырех пулеметов и десяти автоматических винтовок;
– бедуины и иррегулярные части крестьян-арабов, привлекавшихся в различном числе на их собственных территориях, под командованием Лоуренса.

ми. Две тысячи верблюдов везли амуницию и продовольствие.

«Неделю назад была сильная метель, и что-то из белизны снега, казалось, перешло в свет. Свежая трава оживила землю, а соломенно-бледный солнечный свет, косо падавший на нас, смягчал легкие порывы ветра».[1] Бодрость весеннего воздуха веселила, – но только не Лоуренса, у которого остался неприятный осадок после посещения Аба эль Лиссана, а в глубине длилось привычное разъедающее чувство. Уход не состоялся, и он снова был на том же пути – не освобождения, но смерти. Стольких он уже привел к «последней свободе», думалось, должно быть, ему, и сколь многие еще погибнут по его приказу?.. Рядом ехал неузнаваемый Фаррадж, как явленная боль утраты. Смерть его любимого не была виной Лоуренса, но его горе молчаливо напоминало ему о гибельности обессмысленного усилия, волей которого он был.

Есть утешение в бездумности природы. Ее линии смягчают остроту волнений, краски утоляют духовную иссушенность, а ясность пространств освобождает ум. «Абстрактность пустынного ландшафта очищала меня и своим чрезмерным величием оставляла мой разум незанятым, – величием, что было достигнуто не добавлением мысли к его пустоте, но вычетом. В слабости земной жизни отражалась сила небес – столь обширная, столь красивая, столь явная».[2]

На закате впереди показалась железная дорога, и Лоуренс выехал вперед: она была целью многих попыток, и это придало ей нечто тревожащее. Взбираясь на насыпь, он наткнулся на турецкого солдата, отдыхавшего в тени дренажного стока. «Он дико взглянул на меня и на пистолет в моей руке, а затем с печалью – на свое ружье, приставленное к опоре моста за много ярдов поодаль. Он был молодым человеком, крепким, но выглядевшим угрюмо. Я посмотрел на него и мягко сказал: “Бог милостив.” Он знал звучание и смысл этой арабской фразы и вскинул на меня глаза, тогда как его заспанное лицо начало медленно преображаться недоверчивой радостью. Как бы то ни было, он не проронил ни слова. Я пришпорил шерстистый

бок верблюда, и тот осторожно зашагал через рельсы и дальше, вниз по склону. Маленький турок был в достаточной мере человеком, чтобы не стрелять мне в спину, тогда как я ехал, ощущая теплоту к нему, как всегда по отношению к спасенной жизни. На безопасном расстоянии я оглянулся. Он приставил большой палец к носу и поиграл пальцами».[3]

Через несколько дней легкого перехода отряд прибыл в Атару. В дальнейшем предстояло достичь Темеда, главного источника бени сахр, а оттуда передвинуться в Мадебу и сделать ее своей штабквартирой. Пока же оставалось ждать, когда британские войска захватят Салт, чтобы после этого выступить и соединиться с ними.

Все вокруг было полно жизни, но под внешней радостью смутно чувствовалось настроение конца... В каждой впадине голубела вода, словно сияющие осколки неба, долины пестрели цветами, а на меловых откосах остались после дождя уверенные зеленые мазки. «Налетали игривые дуновения ветра, накатываясь друг на друга, и их широкие краткие порывы проносились по траве, превращая ее на мгновение в полосы темного и легкого атласа, как молодое зерно за жаткой. Мы сидели на холме и подрагивали перед этими метущими тенями, ожидая тяжелого удара, – но в лицо обычно доносилось теплое, ароматное дыхание, очень мягкое, уходившее за наши спины, как серебристо-серый свет вниз по зеленой равнине».[4] Так же летели ветра на Каср ибн Вардани, неся с собой чистоту пустынного пространства, как вкус свободы. Теперь порывы накатывались волнами воспоминаний, которые, встревожив, затихали в дали времени.

Наконец, пришло сообщение о том, что англичане взяли Амман, и арабы незамедлительно выступили к Темеду. Однако немного позднее стало известно, что Амман оставлен, а следующий посланник доложил, что покинут Салт. Лоуренс едва поверил этому и отправил в Салт Адхуба, чтобы узнавать о действительном положении. К ночи тот вернулся и рассказал, что там турки, а армия Элленби, преследуемая врагом, продолжает отступление по долине Иордана. Ничего не оставалось, как вернуться на место

прежней стоянки.

История же неудачи англичан была такова. Турки решили взять реванш за поражение при Тафиле и отправили из Аммана две колонны для возвращения этого пункта – как раз в то время, когда англичане готовились к наступлению на Амман. Одна колонна была высажена в сорока милях к северо-востоку от Тафиле, другая – в двадцати милях к юго-востоку. Они соединились у Тафиле, и Зейд, несмотря на стойкое сопротивление, был вынужден эвакуировать поселок 6 марта. Турки заставили его отступить до Шобека, а когда они отправились обратно, он снова возвратился в Тафиле.

Британцы же до возвращения турок начали в ночь на 21-е марта переправляться через Иордан, чтобы атаковать Амман. Однако пошли сильные дожди, и река вышла из берегов. Попытка была отложена на два дня. Затем небольшое боестолкновение увеличило задержку, и Иордан был форсирован только к утру 24-го. Далее простиралось обширное плато, и переход по нему также занял много времени из-за плохих дорог. Таким образом, Амман, отстоящий от Иордана на двадцать пять миль, был достигнут только утром 27-го. Это промедление позволило туркам подтянуть силы к Амману. В следующие четыре дня британцы тщетно пытались атаковать их укрепления, пока конная дивизия АНЗАК после успешного ночного перехода не захватила командную высоту к югу от города и не получила «ключ позиции». Однако турки отказались признать этот факт, и «ключ в замке не повернулся».[5] Британцы отступили, разрушив незначительный участок железнодорожного полотна – при том, что именно разрушение железной дороги являлось их задачей, и она находилась в их власти четыре дня.

Лоуренс, не желая терять понапрасну время, решил произвести разведку в Аммане. Они с Фарраджем наняли трех цыганок, сами оделись в такой же наряд и беспрепятственно побродили по улицам. Однако на обратном пути им встретились несколько турецких солдат, для которых вид Лоуренса и его спутников оказался слишком соблазнительным, и только проявив хорошую сноровку в

беге, им удалось спастись.

Глава CX

Бой у Фарайфры. – Счастье умереть. – Преклонение перед любовью.

Перспективы на севере были неблагоприятны, и Лоуренс решил отозвать из Азрака индийских солдат и вернуться к Фейсалу.

«Мы выехали в один из тех ясных рассветов, что солнцем пробуждают чувства, тогда как сознание, усталое после ночных размышлений, еще дремлет. Таким утром в течение часа-двух звуки, запахи и цвета мира, не пропущенные сквозь мысль и не сделанные обычными, поражают человека отдельно и прямо. Они словно существуют сами по себе, а отсутствие замысла и тщательности в творении более не раздражает».[1] Отряд направлялся на юг вдоль железной дороги, рассчитывая встретить медленно двигавшихся индусов. Землю расчерчивала сеть дорожек, что вели к недавним привалам арабов – или к стоянкам тысячелетней давности: память пустыни хранит все отпечатки.

У Фарайфры арабы заметили турецкий патруль из восьми человек, продвигавшийся вдоль железной дороги, и решили вступить в бой. Лоуренс считал это излишним, но его люди, свежие после недавней бездеятельности, упорствовали, и он согласился. Самые молодые тотчас помчались во весь опор вперед. Лоуренс послал одну часть оставшихся изгонять противника из его убежища за водостоком, а сам направился с другой атаковать со своей стороны, чтобы таким образом охватить турок с обоих флангов.

Впереди всех ехал Фаррадж. Он иногда оглядывался на перемещения остальных, но словно не слышал ни их криков, ни предупредительных выстрелов и продолжал

упорно стремиться к мосту. Турки, занявшие оборону, прекратили огонь: возможно, перешли в укрытие на дальнюю сторону насыпи. Но как только Фаррадж въехал под арку, раздался выстрел, и он упал – или спрыгнул – с седла и исчез. Находившиеся у насыпи арабы открыли короткую беспорядочную стрельбу по туркам, которые еще могли находиться там, а Лоуренс в сильной тревоге за своего мальчика бросился к мосту. Он не мог поверить, чтобы тот сознательно спешился перед неприятелем, хотя это и выглядело именно так, и боялся худшего.

Около моста находился один убитый турок, а под аркой лежал тяжело раненый Фаррадж. «Казалось, он был без сознания, но, когда мы спешились, приветствовал нас, а затем снова замолчал, погруженный в то одиночество, что приходит к раненым, ожидающим смерти. Мы сорвали его одежды и беспомощно смотрели на рану. Пуля прошла навылет, и позвоночник казался поврежденным. Арабы сразу сказали, что ему осталось жить несколько часов.

Мы попытались подвинуть его, ибо он был беспомощен, хотя и не показывал, что ему больно. Мы попытались остановить широкое, медленное кровотечение, от которого на траве оставались маковые разливы, но это казалось невозможным, и спустя некоторое время он попросил нас оставить его одного, так как он умирал – и был счастлив умереть, ибо больше не заботился ни о чем. Действительно, так было уже давно, а люди очень уставшие и несчастливые часто влюбляются в смерть, с триумфальной слабостью возвращаясь домой после того, как их сила была покорена в последнем сражении».[2]

У него ничего не оставалось в этой жизни, ибо его жизнью воистину был любимый. В своем братстве они стали едины, слившись в чувстве и простых мыслях до высшего, интуитивного, взаимопонимания, как будто их чуткие от любви души преодолели тело и познали друг друга сполна. После потери Дауда Фаррадж существовал в боли. Теперь она приблизилась к концу, расстояние разлуки сократилось, и душа успокоилась, предчувствуя освобождение. Возлюбленный ждал его в пространстве Божьего света, и умереть означало оказаться в его объя-

тиях и воскреснуть в родной теплоте. Это было действительно счастьем, ибо единственное блаженство на земле и на небе – любовь братства. Любовь есть жизнь, одиночество же – небытие.

«Пока мы суетились вокруг него, Абд эль Лятиф возвестил о тревоге. Он мог видеть около пятидесяти турок, двигавшихся по линии в нашу сторону, а вскоре послышалось приближение дрезины с севера. Нас было только шестнадцать человек, и мы оказывались в невозможном положении. Я сказал, что мы должны тотчас отступать, взяв Фарраджа с собой. Его попытались поднять – сначала на его плаще, затем на одеяле, но сознание вернулось к нему, и он вскрикнул столь жалобно, что у нас рука не поднималась причинить ему боль еще раз.

Мы не могли оставить его там туркам, так как видели, что они сжигают живьем наших несчастных раненых. По этой причине мы все договаривались перед боем добивать друг друга в случае тяжелого ранения. Но я никогда не мог подумать, что мне придется убивать Фарраджа.

Я опустился рядом с ним на колени, держа пистолет у земли рядом с его головой, так, чтобы он не мог видеть моего намерения, но он, должно быть, догадался, ибо открыл глаза и схватил меня жесткой, шершавой рукой – крошечной рукой этих незрелых неджских ребят. Я подождал мгновение, и он сказал: “Дауд рассердится на тебя,” – и прежняя улыбка столь странно вернулась на это серое передергивавшееся лицо. Я ответил: “Передай ему привет от меня”. Он произнес обычный ответ: “Да пребудет с тобой мир,” – и, наконец, устало закрыл глаза.

Турецкая дрезина была теперь совсем близко, качаясь по линии в нашу сторону, как навозный жук, и пули с нее свистели вокруг нас, когда мы бежали к отрогам. Мохсин вел верблюда Фарраджа, на котором были его шерстяное покрывало и седельное убранство, еще сохранявшие форму его тела, именно как при падении у моста».[3]

Был вечер. «Воздух, заключенный в долинах Керака, в бездыханный полдень стоял неподвижно, впитывая благоухание цветов. С наступлением темноты мир шевельнулся еще раз, и дыхание с запада повеяло через пустыню.

Мы находились за многие мили от травы и цветов, но внезапно ощутили их вокруг, тогда как волны этого благоуханного воздуха катились мимо нас с острой сладостью»,[4] – катились, словно веяние неисповедимых далей, свободных от тяжести, боли и гибели.

Спустя шесть лет Лоуренс стал кричать по ночам от кошмаров – от образов войны, оживленных в памяти корректурами «Столпов». Должно быть, в этих снах ему являлся и Фаррадж, снова хватая его своей хрупкой рукой. Его смерть была одним из самых страшных моментов, пережитых Томасом.

Он мог сострадать даже врагу. С какой же силой он ощущал боль друга? Горе мальчика стало его собственным, и в последние дни жизни Фарраджа он мог, должен был делиться с ним своей животворящей теплотой, не надеясь утешить, ибо такую рану нельзя залечить, но осторожно давая почувствовать, что он понят, что его одиночество не абсолютно. И этого человечка, угасшее «солнечное существо», ему пришлось убивать!..

Фаррадж и Дауд, знавшие такую же любовь, как и он, были ему дороги, и его слова о них таят глубокую нежность и теплоту – то, что является самым дорогим в нем, светом его чуткой, любящей сущности. Он берег и память о них. В главе LXVIII есть «необязательная» подробность: «Фаррадж держал моего верблюда»,– когда погружали взрыватели после подрыва. Эту деталь вполне можно было бы опустить, если бы она не являлась одним из тех воспоминаний, которые смерть делает ценными, оставляя нам только их.

Лоуренс преклонялся перед любовью между мужчинами. Любовь Дауда и Фарраджа он называл совершенной, по силе и глубине своей непостижимой для европейцев, заключенных в духовную теснину предрассудков, заставляющую жаждать некоего смутного идеала, в то время как истинное благо изгоняется из их обессмысленного мира «одной попыткой поиска».[5] Эта утрата истины, из-за чего имя любви получило явление животного порядка и оказалась судорожно «сокращена» вера, была горьким сожа-

лением Лоуренса. Интуитивный, полудикий Восток показал ему духовную скудость рационального, «цивилизованного» Запада и явил, как истина открывается простым и малым, таким «детям, как эти бездумные аджейли»,[6] и сокрыта от мудрецов – мудрых ложным знанием века сего.

Эти мальчики, «они были счастливы в то время, когда остальные не были таковыми», их жизнь была «завидной», они жили «в вечной веселости» и «делили каждый кусок с честностью и открытостью совершенной любви». То было совершенное счастье, ибо братство есть высшее блаженство, и в словах Лоуренса слышатся не только понимание и восхищение, но и тоска: он сам познал это и тоже потерял, оставшись в такой же боли, что увлекла Фарраджа к смерти – к воскресению в воссоединении. Фарраджу посчастливилось: его угасание длилось сравнительно недолго. Лоуренс же всю последнюю треть жизни провел в томительном ожидании ухода, ощущая существование как «самый тяжкий груз, который мы обречены нести»[7] и сознавая, что «жизнь есть умирание»[8] – от усталости нести ее ношу...

Любовь – начало небес на земле, и в нежности братства – слияние с Богом. История маленьких аджейлей, как и Лоуренса с Дахумом, исполнена бытийственной красоты, и я чувствую признательность Томасу за то, что он сохранил ее для нас.

Глава CXI

Действия в районе Маана: успехи Джаафара, Мавлюда и Нури Саида. – Явление с иконы. – Веселое сражение при Тель Шахме. – Появление Юнга.

После случившегося Лоуренс не находил покоя. На следующее утро он встретил индусов близ Вади эль Джинз и до сумерек ехал с ними, продвигавшимися столь же неспешно, как к Ярмуку в прошлом году. Неторопливость

сосредотачивала мысль, и он покинул их, устремившись с арабами вперед в надежде, что быстрая езда утешит его.

Они были в пути всю ночь и к рассвету заметили впереди, в стороне Джердуна, яркое зарево – по всей видимости, знак успешных действий арабов. Их стоянка была уже покинута, и Лоуренс заторопился дальше. Солнце поднималось все выше, а дорога шелестела серебристыми крыльями саранчи: «Неожиданно наступило лето – мое седьмое лето подряд на Востоке».[1] У Семны, холма на юго-западе от Маана, слышалась перестрелка. Подъехав, Лоуренс узнал, что Мавлюд ранен, и поспешил к носилкам. В ответ на его расспросы старый воин проговорил ослабевшим голосом: «Да, в самом деле, Лоуренс-бей, я ранен, но, слава Богу, это ничего. Мы взяли Семну». В дальнейшем он поправился.

Командование принял Нури Саид. Он стоял на вершине холма, в том удивительном спокойствии, что отличало его от большинства людей, которых бой обычно приводит в возбуждение. Лоуренс спросил у него, где Джаафар. Нури ответил, что он должен был атаковать Джердун, и Лоуренс рассказал о всполохах, увиденных ночью. Пока они радовались, от Джаафара прибыли посланцы с известием, что в плен взяты двести турок и захвачены два пулемета, а после разрушения станции разобраны три тысячи рельс: это означало прекращение перевозок по северной линии на многие недели. Нури сам предыдущим утром обратил в руины станцию Гадир эль Хадж и разрушил пять мостов и тысячу рельс, остановив движение в южном направлении.

К вечеру перестрелка прекратилась. Лоуренс узнал, что Фейсал переместился в Ухейду, и отправился к нему. По приближении ему предстал иконописный образ: «Фейсал стоял на вершине холма, на самом краю, черный против солнца, свет которого создавал странную дымку вокруг его стройной фигуры и обрамлял его голову золотом сквозь шелк покрывала».[2] Заметив Лоуренса, он простер к нему руки с восклицанием: «Дай-то Бог, все хорошо?» «Слава и победа Богу», – ответил тот, и Фейсал увлек его в свой шатер.

Последующие дни Лоуренс провел в наблюдении за действиями. Обстрел станции продолжался. Дорога была усеяна ранеными в хаки: «Их глаза, глубокие от боли, с укором смотрели на нас».[3]

Утром 18-го апреля Джаафар, во избежание дальнейших потерь, отступил к позициям Семны, захватив семьдесят пленных. Он попытался договориться о сдаче Маана, но получил ответ, что предложение было бы с радостью принято, если бы не приказ командования сражаться до последнего патрона. Джаафар выразил готовность облегчить этот процесс израсходования боеприпасов, но, пока турки думали, Джемаль-паша, освободившийся от британского нажима на Амман, собрал войска, возвратил Джердун и отправил караван с амуницией и продовольствием в Маан.

Потом Лоуренс выехал в Тель Шахм, где располагался лагерь Доуни. Его войска состояли из англичан, египтян и арабов, причем между последними существовала вражда. Бывшие с ним английские офицеры не обладали достаточным знанием арабского языка, и Лоуренс осторожно предложил свои услуги переводчика.

Лагерь Доуни произвел на Лоуренса глубокое впечатление: «Это было удивительным зрелищем. Машины стояли в геометрическом порядке здесь, бронемашины там, часовые и пикеты были выставлены на дозор с пулеметами наготове. Даже арабы находились в тактически выгодном месте за холмом для поддержки, вне видимости и слышимости. Некий волшебный шериф Хазаа и он сам удерживали их на месте. У меня язык чесался сказать, что единственное, чего не хватало, – это противника».[4]

План Доуни усилил его восхищение. Каждая боевая единица имела свои определенные обязанности и точно установленное время для их исполнения, чтобы избежать любых недоразумений и обеспечить каждого огневой поддержкой. Согласно схеме, сначала следовало занять пост, который Лоуренс и Джойс пытались накануне нового года, затем захватить «южный пост» и, наконец, сблизившимися силами взять станцию в 11.30. Только этот пункт не удалось выполнить в точности: «Турки в неведении и

спешке сдались на десять минут раньше».[5] Несмотря на юмор замечаний, Лоуренс высоко ценил военные способности Доуни и называл его «лучшим подарком от Элленби».[6] Он сочетал знание военного дела с пониманием духа восстания, что было идеалом Лоуренса для кадрового офицера и в чем преуспел только Доуни. «Принять прямое командование он не мог из-за незнания арабского языка и из-за потерянного во Фландрии здоровья. Он обладал редким для англичан даром делать лучшее из хорошей вещи, был исключительно образован для армейского офицера и имел яркое воображение. Его совершенные манеры создавали ему друзей среди всех рас и классов. Благодаря его преподаванию мы начали познавать технику сражения в тех вопросах, в которых прежде обходились грубым и расточительным практическим методом. Его чувство меры изменило наше положение».[7]

На рассвете началось осуществление блестящего плана. Автомобили «крадучись» поползли на траншеи, из которых стали выскакивать изумленные турки, с готовностью поднимая руки. Хорнби вырвался вперед на двух роллс-ройсах и, заложив взрывчатку под мост, подорвал его с таким грандиозным грохотом, что Лоуренс и Доуни едва не вылетели из машины, в которой «важно восседали», обозревая происходящее. Пережив это, они побежали показывать Хорнби более экономный способ закладывания пироксилина в дренажные отверстия, служившие зарядными отделениями мин.

Затем, когда для остальных наступила передышка, к действию приступил Лоуренс, при содействии Хорнби. Достигнув железной дороги на роллс-ройсах с двумя тоннами динамита, они принялись подрывать рельсы и мосты всюду, где только желали. «Команды машин прикрывали нас, а иногда и себя, под машинами, когда обломки музыкально пролетали в дымном воздухе. ... В перерывах каждый делал фотографии удачных подрывов. Это было сражение de luxe и разрушение de luxe: мы наслаждались».[8]

«Южный пост» пал в назначенное время, но не должным образом. Хазаа и его амраны были слишком возбуж-

дены, чтобы продвигаться короткими перебежками, и помчались на верблюдах вверх по холму через брустверы и траншеи. «Уставшие от войны турки с отвращением сдались».[9]

После наступил черед станции. Египтяне подходили с севера под прикрытием артиллерийского огня, самолеты сбрасывали бомбы, бронемашины ползли вперед, пока, наконец, из дыма не показались сдающиеся турки. Тогда автомобили прибавили газу, арабы вскочили на верблюдов, египтяне пустились бегом, и все сонмище обрушилось на станцию. «Наша машина победила, и мне достался станционный колокол, достойный образец дамасской медной работы. Следующий взял компостер, третий – почтовый штемпель, тогда как турки взирали на нас с растущим негодованием оттого, что их важность была только второстепенной».[10]

Через мгновение бедуины с завыванием принялись грабить, в диком восторге от преизбыточества добычи: двести винтовок, восемьдесят тысяч патронов, бомбы, продовольствие, одежда – обогащался каждый. Один из египетских офицеров обнаружил нетронутый склад и приставил к нему охрану: его частям недоставало провизии. Бедуины, не удовольствовавшись имеющимся, не признали их прав, и только вмешательство Лоуренса усмирило их. Затем последовало столь оживленное всеобщее кишение над богатствами, что стены рушились. На другой день почти все арабы исчезли. Те же, что остались, были вознаграждены при занятии следующей станции, Рамлех, которая оказалась покинутой и тоже содержала много полезных вещей. День был проведен за разрушением железной дороги, чтобы занять как можно больший ремонтный отряд хотя бы на две недели.

Далее следовало взятие Мудоввары. С оставшимися силами едва ли приходилось рассчитывать на успех, но было возможно посеять панику и добиться эвакуации. Ночь провели у Рамлеха. «Неутомимый Доуни выставил часовых, которые, стараясь перед своим аккуратным командиром, устроили парад в духе стражи Букингемского дворца, вышагивая взад и вперед мимо наших голов,

пока я не поднялся и не разместил их в соответствии с правилами дозора в пустыне».[11]

Утром выехали к Мудовваре – величественно, «как короли», в ревущих машинах по равнине кремня и песка, тогда как позади восходило ясное солнце. У станции стоял поезд. «Подкрепление или эвакуация?» – и тотчас с него был открыт огонь, заставивший обратиться в бегство с «недостойной поспешностью».

Разрушив мост у того места, где в прошлом году Лоуренс с Заалом заминировали первый поезд, они вернулись в Рамлех и усердно приступили к подрыву железной дороги и мостов. В то же время Фейсал отправил Мохаммеда эль Дейлана на еще сохранившийся участок перед Мааном. Таком образом, восемьдесят миль от Маана до Мудоввары были разрушены, что положило конец активной обороне Медины.

Из Месопотамии был прислан новый офицер, Хьюберт Юнг, предполагаемой ролью которого было дублировать Лоуренса, чтобы расширить сферу действий. С ним было решено, что часть арабской регулярной армии будет оставлена для сдерживания маанского гарнизона, тогда как основные силы под командованием Зейда двинутся на север и разрушат к северу от Маана еще восемьдесят миль железнодорожной линии. Юнгу предстояло принять участие в этой операции, тогда как Лоуренс отправился в Акабу, чтобы оттуда отбыть пароходом в Египет.

Глава CXII

Недоразумения в британских действиях. – Немецкий прорыв 21 марта. – Вторая неудача англичан в Трансиордании. – «Средства для победы». – Оживление в действиях арабов. – Цели на лето.

2 мая Лоуренс прибыл в каирский штаб, чтобы узнать о дальнейших намерениях Элленби. Там его, вместе с Доуни, встретил сияющий Болс: «Ну, в Салте всё в поряд-

ке». В ответ на их изумленные взгляды он объяснил, что как-то утром вожди бени сахр появились в Иерихоне и предложили помощь силами двадцати тысяч своих людей, а на другой день он разработал соответствующий план. Лоуренс спросил, кто был вождем, и тот сказал, что Фахад. Это было невероятно, так как Фахад не смог бы собрать и четыреста человек, и Лоуренс заподозрил обман.

Однако в штабе выяснилось, что это было, к несчастью, правдой. Британская кавалерия действительно отправлялась в холмы Моаба, основываясь на туманных обещаниях шейхов зебна, прибывших в Иерусалим только для того, чтобы воспользоваться щедростью Элленби, однако там быстро поняли их намерения. Доверие Болса частично извиняло то, что Мирзук, представлявший Фейсала на севере, отправил шейхов с письмом для Элленби, в котором говорилось, что ему необходима небольшая поддержка британских войск, чтобы расправиться с турками в Трансиордании.

Это было время, когда четко функционировавшее движение арабов оказалось скованным зависимостью от действий своего союзника, находившегося не в лучшем положении. В штабе не хватало исполнителей для замыслов Элленби: Гай Доуни отбыл во Францию в штаб Хэйга, Бартоломью, который должен был осуществлять осеннее наступление на Дамаск, еще находился у Чэтвуда. К тому же Элленби лишился части своих войск из-за немецкого прорыва во Франции.

После того как Россия выбыла из войны, Германия смогла увеличить свои силы на Западном фронте. То был ее последний резерв, и немецкое командование спешило предпринять решающее наступление до прибытия американских войск, которые значительно изменили бы баланс сил. Целью был выбран участок у Сен-Кантена, в Пикардии. Немцы рассчитывали, что, продвигаясь оттуда вдоль Соммы к морю, они свернут британский фронт.

Атака была начата утром 21 марта, при использовании хлора, фосгена и слезоточивого газа. После трехчасового заградительного огня немецкая пехота пересекла нейтра-

льную полосу и обрушилась на ошеломленного противника. Англичане стойко сопротивлялись, но, не выдержав натиска, были вынуждены отступить. К вечеру на фронте в девятнадцать миль все передовые позиции, кроме двух, были утрачены. Семь тысяч человек погибли, двадцать тысяч были захвачены в плен. Экспедиционные силы потерпели первое поражение за три с половиной года окопной войны.

Из-за этого события все директивы, данные Элленби, были отменены. Отозванные части заменили войсками из Индии. Сокращение имело благоприятные последствия, придав мобильность обычно весьма громоздкой армии, но перейти в решающее наступление Элленби мог только осенью.

После поражения при Аммане и Салте англичане потерпели вторую неудачу в Трансиордании. За последнее время турецкие силы возросли, а их основная часть, численностью примерно в шесть тысяч человек, удерживала сильно укрепленную позицию поперек главной дороги к Амману. Предполагалось, что 60-я дивизия, частично усиленная конной дивизией АНЗАК, проведет фронтальную атаку позиции, тогда как остальным кавалерийским частям предстояло пройти по долине Иордана и взять Салт, который удерживали лишь несколько рот. Оттуда они должны были направиться к югу против тыла главной позиции. Тем временем бени сахр следовало перерезать пути к Амману, по которым осуществлялось снабжение турок.

Расчеты не оправдались. Наступление 60-й дивизии было задержано пулеметным огнем. Кавалерия прошла 12 миль к северу и тоже столкнулась с противостоянием. В продолжение дня Салт не был занят. На следующее утро 5-я кавалерийская бригада, задержавшаяся еще больше, произвела атаку, «но была встречена не турецкими пулями, а добродушными насмешками австралийцев».[1]

В то же утро 60-я дивизия попыталась возобновить наступление на Шунет-Нимрин, но снова встретила отпор. Командир 5-й бригады не спешил приходить на помощь. В конце концов, командование и дивизии, и бригады сош-

лось на том, чтобы отложить бой на другой день, когда стало бы возможным использовать другую кавалерийскую бригаду. Таким образом, терялось время и вместе с ним исчезали возможности.

Турки доставили подкрепления со стороны Наблуса через мост Дамие и выдвинулись клином на восточном берегу Иордана, угрожая линии отступления британских войск. Последовало состязание между британской кавалерией, наступавшей на тыл турок, и турецкой пехотой, наступавшей на тыл британцев. Положение становилось тупиковым – тем более, что у кавалерии закончилась провизия. 3 мая Элленби встретился с Шовелем и, ознакомившись с докладом, принял решение приостановить операцию во избежание дальнейших потерь. Британцы отступили к Иордану, и до сентября он оставался их передовой линией.

Однако повторная неудача принесла неожиданную пользу. Во-первых, внимание противника оказалось приковано к данному участку, чем стоило воспользоваться. Во-вторых, с точки зрения Лоуренса, британский штаб мог быть теперь снисходительнее к трудностям Фейсала. В-третьих, неуспех укрепил положение самого Лоуренса, заставив штаб осознать, что действия иррегулярных частей являются таким же искусством, как руководство регулярными войсками.

Нежелательным следствием стало то, что ослабление британских усилий помешало арабам продвинуться к Иордану и ограничило их действия неполной осадой Маана, которой неприятель мог воспрепятствовать, выступив из Аммана и отогнав их из Аба эль Лиссана к Акабе. Вероятность этого была достаточно велика, несмотря на то, что Элленби продолжал угрожать туркам у Иордана, создавая иллюзию третьей попытки и заставляя их сосредотачивать внимание на амманском участке.

Элленби обещал оказать арабам поддержку технической экипировкой. Лоуренс попросил о повторении воздушных налетов на Хиджазскую железную дорогу, и с этих пор Королевские ВВС сохраняли давление на Амман вплоть до падения Турции. В дополнение, Лоуренс полу-

чил от него неожиданный и чрезвычайно ценный подарок.

За чаем Элленби с сожалением упомянул об имперском верблюжьем корпусе, которые при сложившихся обстоятельствах приходилось расформировывать. Лоуренс поинтересовался, что он собирается делать с верблюдами. Элленби рассмеялся и ответил: «Спросите Кью». «Повинуясь, я прошел через пыльный сад, вломился к генерал-квартирмейстеру, сэру Уолтеру Кэмпбеллу, истому шотландцу, и повторил свой вопрос. Он решительно ответил, что они предназначены как дивизионный транспорт для второй из новых индийских дивизий. Я объяснил, что желал бы получить две тысячи из них. Его первый ответ не относился к делу, второй означал, что я могу продолжать желать. Я спорил, но он, казалось, вовсе не был способен понять мою точку зрения. Конечно, это в природе квартимейстеров быть прижимистыми.

Я вернулся к Элленби и громко сказал перед всеми, что в распоряжении имеются две тысячи двести верховых верблюдов и тысяча триста вьючных. Все были заранее определены для транспорта, но, конечно, верховые верблюды это верховые верблюды. Присутствующие присвистнули и приняли умное выражение, как если бы они тоже сомневались, могут ли верховые верблюды перевозить багаж».[2] Тем же вечером квартимейстер был приглашен на ужин к главнокомандующему.

«Элленби заговорил о верблюдах. Сэр Уолтер выпалил, что провиденциальный роспуск верблюжьей бригады позволил усилить транспорт энной дивизии и оказался Божьим подарком, так как весь Восток был тщетно обыскан в поисках верблюдов. Он переиграл. Элленби, читатель Мильтона, обладал острым чувством стиля, а эта линия была слабой. Он совершенно не заботился об усилениях, являющихся фетишем административной части. Он посмотрел на меня и подмигнул: “Ну, а Вы для чего их желаете?” Я пылко ответил: “Доставить тысячу человек в Дераа в любой день, какой Вам будет угодно.” Он улыбнулся и кивнул сэру Уолтеру Кэмпбеллу, проговорив печально: “Кью, Вы проиграли”».[3] Так арабы получили возможность

победить в своей войне «когда бы и где бы ни пожелали».

Вскоре Лоуренс был у Фейсала в Аба эль Лиссане. «Мы говорили об истории, племенах, передвижениях, чувствах, весенних дождях, пастбищах наконец. В конце концов, я заметил, что Элленби дал нам две тысячи верблюдов. Фейсал ахнул и схватил меня за колено: “Как?” Я рассказал. Он вскочил и поцеловал меня».[4]

В ожидании приглашенных в шатер вождей Лоуренс проговорил: «Почти закончено. Скоро вы разрешите мне уйти», – на что Фейсал принялся горячо возражать, уверяя, что Лоуренс «должен всегда быть с ними – и не только до Дамаска»,[5] как тот обещал в Умм Ледже. Фейсалу не хотелось расставаться с ним, со своим «любимым, нежным» другом, подарившим ему незнакомую радость единения. Их близость была такова, что он считал Лоуренса братом.

Немного спустя шатер заполнился степенными вождями, и Фейсал провозгласил, что Бог даровал средства для победы – две тысячи верблюдов. Движение радости прошло по присутствующим, и каждый взглянул на Лоуренса, угадывая, какую роль в этом мог сыграть он. «Это щедрость Элленби...» – произнес тот. «Да хранит Бог его и вас», – ответил за всех Заал.

Арабское движение оживилось. Фейсал в своем шатре продолжал наставлять и убеждать, арабские регулярные части в третий раз добились успеха у станции Джердун, «сделав почти привычкой брать ее и оставлять»,[6] бронемашины случайно наткнулись у Маана на турецкую разведку и одержали победу, а Зейд, командовавший половиной армии к северу от Ухейды, добивался успехов, проявляя замечательную отвагу. «Веселость его духа находила больший отклик у кадровых офицеров, чем поэзия и серьезность Фейсала, так что этот счастливый союз двух братьев предоставлял каждому возможность симпатизировать тому или другому руководителю восстания».[7]

Задачами на лето являлось поддерживать осаду Маана и препятствовать работе железной дороги. Трудным был вопрос снабжения, и Лоуренс предложил ради увеличе-

ния подвижности отказаться от египтян, обслуживавших вьючных верблюдов, и заменить их арабами. Обязанности квартирмейстера принял на себя Юнг, получив больше возможностей для проявления своих организаторских способностей, чем при утомительном попытке согласовать действия бедуинов.

Глава CXIII

Успехи Назира у Хезы. – Лоуренс в расположении Назира. – Идея Лоуренса о переводе войск из Хиджаза. – Новые возможности для британского наступления. – Упрямство Хуссейна.

Находившиеся в Аммане значительные турецкие силы ожидали отправки в Маан после организации снабжения из Дамаска по железной дороге, а затем должны были выступить на Аба эль Лиссан.

Для того чтобы предотвратить возникшую угрозу, Назир («наш лучший партизанский генерал»,[1] – замечал Лоуренс) вместе с ховейтатами, бени сахр, египетскими частями и Хорнби в качестве инструктора по подрывному делу отправился на север, к станции Хеза. Разрушив в ночь на 23-е мая железнодорожную линию к северу и югу от нее, он начал атаку станции плотным огнем. Турки оказались захвачены врасплох. Арабы устремились на штурм и одержали блестящую победу, без единой потери в своих рядах – «как всегда бывало при применении такой тактики».[2] Затем были взорваны колодец, цистерны, подвижной состав, три моста, станционные строения и четыре мили полотна. На следующий день Назир столь же удачно атаковал станцию Фарайфра. В промежутках между набегами он отходил в долины, что были богаты пастбищами и водой и где он мог рассчитывать на поддержку из Тафиле, расположенного неподалеку. Так Назир осуществлял идею Лоуренса о «неуловимом привидении».

По рассказам Лоуренс узнал, сколь замечательны были успехи Назира, и захотел посмотреть сам. Он взял с собой

дюжину человек и поехал к Хезе, где в одной из долин тот укрывался под утесами с шестью сотнями своих людей. Место не было безопасным: незадолго до того, как туда прибыл Лоуренс, турки произвели бомбардировку с воздуха, приведшую ко многим жертвам. Лоуренс устроился в убежище Назира – в пещере, вход в которую обрамляли два известняковых выступа, подобные клыкам, белевшим из зелени.

Пока Назир отдыхал, Хорнби и Пик, командир египетских частей, продолжали набеги на железную дорогу и довели протяженность разрушений до четырнадцати миль, между Джурфом и Султани. В день прибытия Лоуренса Назиру снова пришлось выступить на Фарайфру, куда турки направили кавалерию и пехоту для ее возвращения. Как и в первый раз, неприятель не устоял под натиском арабов.

Действия Назира на железной дороге должны были продолжаться и следующий месяц, после чего еще турки оказались бы заняты восстановлением линии в течение еще одного месяца. Таким образом, остальные арабские силы получили бы необходимое время, чтобы подготовиться к наступлению.

Из Хезы Лоуренс вернулся к Фейсалу. Рассказав ему об обстановке, он предложил спросить разрешения его отца на переброску в Акабу регулярных войск, находившихся у Али и Абдуллы: это позволило бы увеличить силы арабов в форме до десяти тысяч человек. Лоуренс предполагал разделить их на три части. Одна, наиболее крупная и обладавшая наименьшей мобильностью, должна была удерживать Маан. Другой, из двух-трех тысяч человек пехоты, следовало переместиться на Амманское плато как ядро для бени сахр и связаться с Элленби. Задачей для третьей, самой подвижной, части численностью в тысячу человек на верблюдах было совершить длительный переход к Дамаску и разрушить турецкие линии связи, чтобы таким образом затруднить сопротивление турок, находившихся перед Элленби.

Фейсал принял план Лоуренса и дал ему письма к Хуссейну, в которых советовал произвести этот перевод. «К

несчастью, старик теперь был мало расположен принимать его советы – из ярой ненависти [!] к этому сыну, который делал все слишком хорошо и которому сверх меры помогали британцы».[3] Поэтому Лоуренс решил воспользоваться поддержкой британского начальства для воздействия на строптивого короля. Он выехал в Каир, где представил свою идею Доуни, и они вместе сначала убедили Вингейта написать к Хуссейну, а затем, 19 июня, отправились к Элленби. В штабе царила совершенно иная атмосфера. Прибыли подкрепления из Индии и Месопотамии, и это настолько расширило перспективы, что Элленби собирался теперь не только осуществить отложенное весеннее наступление, но и выполнить его в намного больших масштабах, имея конечной целью взятие Дамаска и Халеба. Это наступление было намечено на конец сентября. Роль арабов, как то было условлено весной, состояла в прикрытии фланга Элленби и проведении отвлекающего удара на Дераа.

Таким образом, значимость переброски войск с юга уменьшалась. Но Лоуренс, зная, как часто расчеты не оправдывались, желал обладать альтернативой и, заручившись поддержкой Элленби, выехал в Джидду. Как он и ожидал, добиться успеха не удалось. Хуссейн, по всей видимости, был предупрежден о цели его приезда и, под предлогом Рамадана, укрылся в Мекке. Телефонные же переговоры оказались напрасными: Хуссейн решительно «не слышал» того, чего не хотел. Лоуренс был не в настроении прилагать лишние усилия и, положив невскрытые письма в сумку, уехал в Каир.

Глава CXIV

План решающего наступления. – Неожиданная угроза для арабов и схема отвлекающего маневра. – План Лоуренса для атаки на Дераа и спор с Юнгом.

11 июля Лоуренс и Доуни снова были в штабе, где их ознакомили с основными пунктами плана Элленби. Главнокомандующий еще не известил британское правительство о своих намерениях, скрывая их до точной проработки всех расчетов, что дала бы уверенность в их осуществлении. Лоуренс скептически относился к расчетам штаба, поэтому посетил отделы, чтобы лично убедиться в верности применяемых способов. Болс, начальник штаба, и Уолтер Кэмпбелл, начальник отдела снабжения и перевозок, были в отпуске, и вопросами обеспечения ведали их помощники, Бартоломью и Эванс. Они собирались выполнить перераспределение транспортов армейских корпусов по методу соответствия подвижности, в зависимости от их задач. Это могло позволить выдержать стремительность наступления и продлить преследование противника. Обеспокоенность Лоуренса уменьшилась.

Согласно плану главнокомандующего, наступление следовало вести по прибрежному коридору, тогда как турки должны были считать, что английские войска собираются двинуться через внутреннюю территорию из долины Иордана. К 19 сентября Элленби предполагал собрать пехоту и кавалерию в рощах Рамле. После прорыва, который осуществил бы 21-й корпус, через брешь должен был пройти конный корпус и преследовать противника. Отогнав его на пятнадцать миль к северу, ему надлежало свернуть на восток в холмы Самарии, чтобы захватить узловой пункт железной дороги у Себастие и перерезать линии сообщения, в то время как 20-му корпусу Чэтвуда предстояло атаковать турецкий фронт на холмах. «Это была прекрасно разработанная схема обходного движения, что по своей полноте может быть сравнима с Каннами»,[1] – отмечал Лиддел Гарт.

В то же время Элленби рассчитывал осуществить в долине Иордана отвлекающие маневры для убеждения турок в том, что именно этот участок является угрожаемым. Введению противника в заблуждение исключительно поспособствовали две предыдущих атаки на Трансиорданию, и любая активность в данном секторе спровоцировала бы сосредоточение их сил, тогда как действительная опасность нависала над прибрежным участком, ими игнорируемом. Таким образом, отвлекающий маневр оказывался залогом успеха.

Бартоломью собирался разместить у Иерихона муляжный лагерь, а авиация должна была имитировать воздушную разведку. Однако это было балансированием на лезвии ножа: турки, отступив на семь-восемь миль от прибрежного сектора, могли оставить британскую армию в положении «рыбы, выброшенной на берег»[2] – с неудачно расположенными линиями сообщений, тяжелой артиллерией, складами и лагерями. Надеждой на успешное исполнение были арабы. Бартоломью просил Лоуренса и Доуни проявить всю их изобретательность в отвлечении противника со стороны Аммана.

Тем временем из Акабы пришли известия, что турки изгнали Назира из Хезы и собираются нанести удар по Аба эль Лиссану в конце августа – тогда, когда арабы намеревались выступить против Дераа. Теперь сами арабы нуждались в отвлечении противника.

Доуни вспомнил об оставшемся батальоне имперского верблюжьего корпуса, и после серии телефонных переговоров были получены триста человек под командованием полковника Бакстона – при условии, что они будут избегать потерь.

Лоуренс и Доуни составили схему, согласно которой Бакстон должен был дойти до Акабы, оттуда пройти через Вади Рум и ночной атакой взять Мудоввару. Потом продвинуться до Баира, разрушить мост и туннель около Аммана и вернуться 30 августа в Палестину. Эти действия предоставили бы арабам спокойный месяц.

Между тем, из Акабы поступил разработанный Юнгом график организации транспорта и снабжения арабской

регулярной армии при предстоящем наступлении на Дераа. Согласно этим расчетам, атака должна была начаться в ноябре. Однако по самой своей сути план был неосуществим, так как опирался на получение немедленного подкрепления в Аба эль Лиссане, – что стало невозможным после отказа Хуссейна осуществить перевод, к тому же зимой дороги в Хауране становились непроходимыми.

Как бы то ни было, Элленби рассчитывал атаковать 19 сентября и надеялся, что арабы окажут поддержку не более чем за четыре и не менее чем за два дня до его наступления. По его словам, «трое мужчин и мальчик с револьверами у Дераа 16 сентября» выполнили бы его намерение. Он рассматривал арабов в данном случае только как отвлекающее средство – хотя и крайне необходимое. Если Лоуренс и мог разделить эту точку зрения с английских позиций, то как «араб» считал это пассивное вспомоществование недостаточным. Арабы были способны на большее.

Так что Лоуренс отбросил предложенный план и разработал собственный, основанный на практическом знании возможностей арабов и условий. «Мне были известны:

а) области, где имеются пастбища для прокорма двух тысяч верблюдов, и, соответственно, дороги, по которым нам нужно было идти;

б) места, где находились водохранилища (между Азраком и Музейрибом колодезной воды нет, но только водохранилища). Они заполнялись при разливе потока в долине, и наш выбор стоянок полностью зависел от них. Если бы водохранилище в Умтайе не заполнилось, мы, конечно, не должны были идти этим путем.

Что касается отступления, то в случае неудачи для нас была бы открыта вся область Вади Сирхан, а за ней – Акаба. В сентябре в Сирхане множество овец и изобилие муки и фиников. Кроме того, мы имели две тысячи верблюдов, из которых каждый давал мясной паек для двухсот человек».[3]

Согласно его плану, колонна в одну тысячу всадников на верблюдах должна была достичь Азрака. 13 сентября

там завершилось бы сосредоточение сил. 16-го следовало окружить Дераа и перерезать железнодорожную линию. Спустя два дня надлежало отойти к востоку от Хиджазской железной дороги и ждать известий от Элленби. Как средство предосторожности на крайний случай была предусмотрена закупка зерна в Джебель Друз. В операции должны были принять участие Нури Шаалан с руалла, сердийе, серахин и хауранские крестьяне под началом Талала эль Харейдина.

«[В целом], для того чтобы достичь Дераа из Аба эль Лиссана требовалось две недели. Разрушение железной дороги и отход в пустыню занял бы еще одну. Наши налетчики должны были везти все необходимое на три недели. Картина того, что это значит, была у меня в уме: мы делали так в продолжение двух лет. Таким образом, я сразу дал Доуни свою оценку того, что наши две тысячи верблюдов в одном переходе, без выставленных складов или продовольственных обозов будут стоить пятисот пехотинцев верхом, батареи французских скорострельных горных орудий “point 65,” соответствующего количества пулеметов, двух бронемашин, саперов, разведчиков на верблюдах и двух аэропланов, – до тех пор, пока мы не выполним свою миссию. Это выглядело вольным прочтением представленной Элленби идеи о “трех мужчинах и мальчике”».[4] Генштаб согласился с его «прочтением», и Лоуренс вылетел в Акабу, чтобы ознакомить со своим планом Джойса и Юнга.

Джойс счел ошибкой смешивать операции арабов и англичан. Юнг заявил, что идея Лоуренса – погоня за двумя зайцами. Лоуренс рассеял сомнения Джойса, объяснив, что англичане не войдут в соприкосновение с арабами, а слухи об их присутствии вызовут у неприятеля преувеличенное представление об их численности и удержат от вмешательства в действия арабов. Аргументация была неоспоримой.

Что до возражений Юнга, то это был спор ученика с мастером – при том, что ученик являлся английским офицером регулярных войск, а мастер – партизаном, вжившимся в арабские условия. Юнг был новым человеком, не

успевшим (а возможно, и не умевшим) постичь суть действий, не нуждавшуюся в его доскональных графиках. Лоуренс позволил ему продолжать работать в том же духе в отношении британского корпуса, но арабская часть была его собственным делом, и он без колебаний повычеркивал просчитанные пункты. Первым и самым обременительным являлась заготовка фуража на землях за Баиром: Лоуренс знал, что в том году в районе Азрак-Дераа были богатые пастбища. Далее он урезал продовольствие, так как было возможно прожить и на то, что удастся раздобыть на месте. Юнг иронично заметил, что десятидневное возвращение в Акабу окажется длительным постом. Лоуренс отвечал, что он и не собирается возвращаться туда. Его оппонент поинтересовался, что он подразумевает – поражение или победу? Лоуренс указал, что у каждого человека есть верблюд, и при необходимости шесть верблюдов в день могут снабдить пропитанием весь отряд.

Затем он посокращал количество машин, топлива, амуниции... Юнг стал проявлять «агрессивную регулярность» в ответ на «иррегулярность» Лоуренса. Тот же подчеркивал, что арабы живут, довольствуясь малым, и наносят поражения туркам благодаря своей неопределенности.

Так Юнг с теоретическими подсчетами оказался бессилен против практических знаний Лоуренса и таланта их применять, в чем и заключалась его, внешне удивительная, безошибочная уверенность (отнюдь не самоуверенность, которая всегда слепа). Именно благодаря им Лоуренс, планируя эти действия, не сомневался, что в случае необходимости сможет «вынести всю тяжесть дела на своих плечах».[5] *Военная* сфера была проницаема...

Для помощи в организации из штаба был откомандирован майор Стерлинг, здравомыслящий и тактичный. Командовать операцией вызвался Нури Саид. «Отвага, авторитетность и хладнокровие делали из него идеального руководителя».[6] Затем начались приготовления.

Глава CXV

Умонастроение Лоуренса: Подвластность Идее. – «На чужой сцене». – Ощущение нереальности. – Озаренное окно.

За прошедшие полтора года Лоуренс стал волей восстания в попытке исполнить повеление Идеи. Не он использовал свои способности, – они его, увлекая к цели и невосполнимо исчерпывая. Он сходил на нет в своем устремлении, подчинившим его себе, чтобы потом отбросить, как ставшее ненужным орудие.

Впечатление подвластности некоей превосходящей силе – это сопровождает, должно быть, каждого, кем владеет идея. Человек перестает принадлежать себе, и его усилие воли ощущается как яростное побуждение извне: он сам – только средство, и быть им – его единственное предназначение. Так христианский пламенный проповедник становился лишь звучанием гласа Божьего, так слову вверяется поэт, так чувствовал Лоуренс в аравийские годы. «Возможно, я только наделенная чувствами дымка, делающаяся черной или белой в зависимости от проецируемых на меня предметов». Он оказался подчинен восстанию, осмысленному его любовью.

Его бытие отхлынуло, и пустынный берег надежды был чужд и страшен. «Я был столь яростно вырван из своей почвы и погружен в работу, слишком большую для меня, что все кажется нереальным. Я растерял все, что когда-то делал, и живу лишь как вор удобных случаев, урывая возможности момента где и когда я их вижу», – писал он Ричардсу 15 июля 1918 года. Он мог *быть* только урывками: забывшись над зачитанной книгой, отдавшись мысленно родным объятиям или находясь в украденный час рядом с тем, кто стал для него утешением. Такие проблески редкостно сладостны, но после них еще труднее длить свое существование, кажущееся сознательным и тягостным действом.

«Я вынужден пытаться скрыть свою франгскую наружность и быть подобием араба настолько, насколько могу.

Так что это своего рода чужая сцена, на которой играешь денно и нощно, в причудливом одеянии, разговаривая на странном языке и рискуя своей головой в случае, если роль не удастся».[1] Воспитание слишком прочно, чтобы человек по собственному выбору мог стать иным. В его возможностях приблизиться к искомому и привыкнуть к другому образу жизни – то есть к обстоятельствам внешним, но воспринять чужое самосознание во всех его глубинах, ходах и посылках – невыполнимо, и даже целая жизнь, проведенная среди чужого народа, не стирает до конца прежних черт. Каким бы ни было знание Лоуренса арабов и понимание их, его скоропалительное вживание в их сущность оставалось только приближением. Он оказывался вдали и от своих, и от чужих – в пропасти, что так легко могла опрокинуться в безумие, которое никогда не коснулось его, но которого он боялся.

«Эти годы отстранения излечили меня от желания делать что-либо для себя. Когда мои узы будут развязаны, я не найду в себе никакого побуждения к действию». Его силы вырабатывались на страшной частоте, в положении, несопоставимым ни с чьим другим в ту войну. Он, не терпевший ответственности, оказался предан ее абсолюту – свободе воли в вершении чужой судьбы. Судьбы другого народа с ответом совести перед одним из него. Завершение ощущалось как спад этой растрачивающей активности, болезненным забытьем расслабленности.

Настоящее представлялось нереальным, но было лишь оно. «Вовсе не думаешь о будущем: время с самого начала похоже на время сна – длящееся словно до эонов, из которого, вздрогнув, просыпаешься и обнаруживаешь, что все это ничего не оставило в памяти. Единственное отличие этого сна в том, что очень многие не просыпаются снова в жизни. ... Достижение, если оно будет, окажется большим разочарованием, но не достаточно большим, чтобы разбудить», – чтобы снова вернуть к жизни. Прежний Лоуренс закончился. Война не затронула стержня его личности, но наложила на него тяжелую патину усталости.

Усталость – вот, что было создаваемо его усилием. Да-

вящая и длящаяся, она была такова, словно сжалась внутри, сосредоточившись в смерть, ставшую его временем. Ему очень хотелось тихого уголка. «Дом, отсутствие какого-либо навязанного действия, покой и свобода думать и воздерживаться от всего сколь угодно... Да, думаю, что воздержание – оставление всего и наблюдение, как другие все еще идут мимо, – является именно тем, что я выбрал бы сегодня, если бы прекратили меня погонять. Это, может быть, только реакция после четырех лет приспособления и не заслуживает того, чтобы переводиться в термины географии и занятия». Это действительно было реакцией – сущности, склонной к покою. «Я не человек действия», – столько раз твердил он сам. Но он не был и пассивным созерцателем. Спокойное бытийственно осмысленное дело – вот, что соответствовало его природе.

«Эти слова “мир,” “тишина,” “отдохновение” приобретают яркость посреди шума, беспокойства и усталости, как освещенное окно в темноте. Хотя что хорошего в горящем окне? Вероятно, так кажется лишь оттого, что сам перегружен и утомлен. Знаешь, когда идешь по бесконечной равнине, холм – самый худший холм на земле – становится праздником, и после палящего зноя холодная вода приобретает качество ... невозможное в представление крестьянина, живущего среди болот». «Мир, тишина, отдохновение»: приобретя особую ценность от неимоверной усталости, эти понятия стали завораживающими, как огонек в темноте, мерцающий, словно надежда, и оттого радующий. Только в них – награда за все усилия, и ее даруют лишь объятия брата.

Такое умонастроение владело Лоуренсом в годы войны и таковым оно было накануне решающего удара. Он желал только отдыха, – когда было необходимо действовать.

Глава CXVI

Задачи на август. – С англичанами в Вади Рум. – Тоска по дому. – Блаженство не быть и освобождение случаем. – Двойное пламя: речь перед руалла. – Набор сторонников. – Самообвинение.

Операция против Дераа должна была начаться в конце августа. В предшествующий месяц следовало проинструктировать корпус Бакстона, заручиться поддержкой Шаалана, определить путь для бронемашин до Азрака и выбрать посадочные площадки для аэропланов.

Бакстон прибыл в Акабу 30 июля с корпусом в триста человек, представлявшим два эскадрона на верблюдах. Вскоре туда приехал из Египта Лоуренс, чтобы дать им необходимые указания (в частности, избегать ссор с арабами, чьей природы эти новички знать не могли) и сопроводить их на первом трудном переходе до Вади Рума.

Они выступили 2 августа и, миновав теснину Вади Итма, добрались до «внутреннего ковчега родников с его внушающей благоговение прохладой».[1] Лоуренс в очередной раз испытал трепет перед соборным величием Рума, а вместе с тем удивление – видеть этих загорелых, крепких людей в рубашках и шортах посреди своего святилища отдохновения. Он сопоставлял их с арабами, и их бледно-голубые взгляды казались невыразительными против черных глубоких взоров, черты лиц – простыми, даже примитивными, в сравнении с точеной тонкостью, а формы тел – грубоватыми на контрасте со стремительной легкостью линий... «Континентальные солдаты выглядели неуклюжими рядом с нашими худощавыми ребятами, но против моих стройных неджедцев британцы в свою очередь выглядели неуклюжими».[2]

Через день Лоуренс отправился обратно в Акабу в сопровождении шести человек из своей охраны. «Они следовали за мной, как тени, гармонично сливавшиеся со своими песками, кустарниками и холмами, и некая тоска по дому овладела мной, живо подчеркнув мою жизнь изгнанника среди этих арабов, в то время как я использовал

их высочайшие идеалы и делал их любовь к свободе еще одним орудием помощи для Англии на ее пути к победе».[3] Впереди пылал яростный закат, словно опаляя пустыню, и Лоуренс ощутил редкую печаль о «туманных небесах Англии». Среди знойной яркости он от физической усталости желал спокойствия приглушенности, как больной человек – полутьмы, а умственно жаждал после режущей четкости контрастов – полутонов, иных понятий, кроме правоты и вины, и английская бледность была только метафорой в этом физическом и духовном стремлении. Он тосковал не по неуютному, а ныне и страшному дому в Оксфорде, и не по стране, что лишь своей природой находила некоторый отклик в его душе, но по духовно родным местам, исполненным мира, покоя и тишины. Так иногда в минуты тяжелой усталости срывается с губ беззвучным стоном-выдохом «Домой...» – и одному Богу известно, где этот тихий влекущий уголок, что есть истинно *твоя* земля и опора. Для Лоуренса то смутное томление стало чувством Кархемиша, превратившегося в символ уюта и жизни, потому что лишь там ему было хорошо – рядом с любимым среди простоты умиротворенных ландшафтов («Пока война не поглотила все, для меня не было ничего лучшего, чем Кархемиш...»). Это воспоминание выявляло его одиночество и среди англичан, от которых он отдалился, и среди других арабов, остававшихся чуждыми, – так же, как выявляло его «обманное» положение, «измену» своему дому и брату. Но измена была только дикой химерой, порожденной редкостно чуткой совестью, а «еще одним орудием» для Англии стал и он сам, вместе с арабами, которые рассматривались британцами именно как средство к победе.

По возвращении Лоуренс вместе со своей охраной отправился в Джефер, где должен был встретиться с Нури Шааланом, чье племя, руалла, являлось еще одним возможным сторонником. Шаалан был проницательным старцем и год назад смог уловить, что Англия дает арабам одни обещания, а французам – другие. Это знание вызы-

вало тревогу Лоуренса, обостряя его ощущение «преступности» своих действий в Аравии.

Лоуренс сел в Гувейре в ожидавший его самолет, и машина, поднявшись в воздух, тяжело и низко прошла над вершиной Штара – словно на грани падения. «Я сидел, спрашивая себя, не разобьемся ли мы, почти надеясь на это. Я чувствовал, что Нури собирается потребовать исполнения нашей бесчестной полусделки, осуществление которой казалось еще более нечистым, чем замысел. Смерть в воздухе стала бы прекрасной возможностью избежать этого, но все же я едва ли надеялся на нее – не из страха, ибо я был слишком усталым, чтобы сильно бояться, не из угрызений совести, ибо наши жизни казались мне полностью нашими для того, чтобы сохранять их или отбрасывать, но по привычке, ибо в последнее время я рисковал собой только тогда, когда это могло принести пользу нашему делу».[4] Двойственное желание владело им: от усталости, основную тяжесть которой налагало чувство вины, ему хотелось конца. Но привычка – чувство долга перед тем, ради кого сражался, – подавляла это стремление: он должен был жить ради Дахума, какой бы ни была его ноша.

«Я был занят приведением в порядок своих мыслей, находя инстинкт и разум, как всегда, в яростном противостоянии. Инстинкт говорил «Умри», но разум говорил, что стоит лишь сбросить оковы сознания и отпустить его на свободу: лучше искать некой умственной смерти, некой медленной растраты ума, чтобы опустить его ниже этих головоломок».[5] Отпустить на свободу – в безвольную бездумность, чтобы больше не прилагать усилий для постоянного контроля своей мысли, для мучительных размышлений, для беспощадного самоанализа, бывшего характерной особенностью Лоуренса (как, должно быть, каждого глубокого человека). Перестать думать и погрузиться в забытье, где нет ни вопросов, ни ответов, но только успокаивающее опустошение – сон без сновидений наяву. Такая умственная смерть-состояние близка к тому, кто до предела изнурил свой разум непрерывной работой мысли и борением с самим собой и обстоятельствами. Тело про-

должает жить по инерции, но дух готов впасть в забытье – самого себя забыть, раствориться в той пустоте, куда его привело напряжение, не быть. Не жить, не умереть, но именно *не быть* – вот, чего хочется в этом состоянии.

«Несчастный случай был бы менее низким, чем сознательное преступление»,[6] – так впервые к нему пришло, как можно прекратить боль, не обесчестив себя срывом воли и не согрешив. После войны он станет ждать этого случайного освобождения и – то ли что-то ему откроется, то ли он настолько уверится в этой последней милости, – но нечто заставит его написать в 1928 году: «Постоянно присутствует чувство, что мне, возможно, удастся избежать старости благодаря некому счастливому несчастному случаю».[7]

«К тому же, жизнь и честь кажутся настолько различными понятиями, что не могут продаваться одна за другую. И что касается чести, разве я не потерял ее год назад, когда уверял арабов, что Англия сдержит свое слово? Или же честь подобна листьям Сивиллы – чем больше теряется, тем дороже то, что остается? Часть, равная целому?»[8] Он уже не находил ответа. «Постоянное сомнение и самовопрошание свили мой разум в головокружительную спираль и не оставили пространства для мысли».[9]

Вопреки его опасениям, беседа с Шааланом оказалась не столь неприятной. Лоуренса встретил Фейсал, и они вместе прошли в шатер вождя, заполненный именитыми шейхами с почтенной неспешностью движений, от которых шелестели их одежды. Сам Шаалан был немногословным, властным старцем, обладавшим непререкаемым влиянием в своем племени. Никто не спрашивал, кто Лоуренс: его образ был хорошо известен. «Это делало знаменитостью – быть единственным гладко выбритым, а я еще удваивал это тем, что всегда носил подозрительный чистый шелк[*] – белейший (по крайней мере, снаружи), золо-

[*] По мусульманским законам чистый шелк могут носить только женщины.

той с кармазинным мекканский головной обруч и золотой кинжал».[10]

Лоуренс с Фейсалом осторожно и убедительно начали свою речь, аппелируя к идее арабской национальности и указывая на честь жертвы во имя свободы. «Много раз на подобных советах Фейсал завоевывал и зажигал новые племена, много раз эта работа доставалась мне, но еще никогда до сегодняшнего дня мы не действовали вместе, подкрепляя и сменяя друг друга, с наших противоположных полюсов. И работа шла, как детская игра: руалла таяли в нашем двойном пылу».[11] Фейсал был художником слова и жеста, и благодаря его вдохновенным призывам удалось объединить враждовавшие племена и сохранять их в едином порыве до конца. Так было и теперь: «Он в одной фразе представлял идею арабской национальности, заставлявшую думать об арабской истории и языке. Затем он замолкал на миг: для этих неграмотных мастеров речи слова были живыми, и им нравилось смаковать каждое, не смешивая его с другими. Другая фраза раскрывала им дух Фейсала, их товарища и вождя, жертвовавшего всем ради национальной свободы. Потом снова молчание, тогда как они представляли его работающим день и ночь в своем шатре, наставляя, проповедуя, повелевая и приобретая новых сторонников. И они чувствовали, что нечто от самой идеи присутствовало за этим человеком с картины, который сидел там, подобно иконе, лишенный желаний, притязаний, слабости, ошибок: духовно богатая личность, увлеченная абстракцией и настроенная ею со всеми качествами к одной цели, чтобы жить или умереть в этом служении.

Конечно, это был человек с картины – не плоть и кровь, но, тем не менее, настоящий, так как его личность добавила третье измерение к идее и победила богатства и изощрения мира. Фейсал был сокрыт в своем шатре, чтобы оставаться нашим вождем, в то время как в действительности он был лучшим слугой народа, его орудием – не хозяином. К тому же, ничто в сумерках шатра не казалось более благородным».[12] Иконописный образ, незатронутый миром: Лоуренс любил Фейсала с благоговением.

Фейсал продолжал свою речь, и его мысли воспринимались слушателями как их собственные, он убеждал, но им казалось, что он только выражает то, что глубинным и неясным жило в них самих. Очень скоро они воодушевились, и Лоуренс с Фейсалом откинулись назад, отдыхая и наблюдая, как присутствующие взволнованно зашевелились, разговаривая друг с другом и пытаясь высказать то, что в них всколыхнули услышанные слова. И вот уже они сами стали приверженцами национальной идеи и клялись в своей верности и готовности служить идеалу. Так было завоевано еще одно племя.

Своими призывами Фейсал и Лоуренс затрагивали не чувства, но разум, так как прочно лишь рационально обоснованное действие. «Мы упорно не допускали, чтобы наше изобильное и знаменитое золото приводило тех, кто не был духовно убежден. Покупать людей означало бы поставить наше движение на основы корысти, в то время как наши последователи должны были быть готовы идти по избранному пути без иных примесей в их мотивах, кроме как человеческой слабости».[13]

Лоуренс в убеждении становился частицей всеобщего движения, но то было сознательным действием, не присущим побуждением, так как он оставался чужеземцем, о чем почти не мог забыть. Почти – ибо будут минуты, когда он до конца раствориться в общем порыве, станет частью народа, ради свободы которого принес в жертву собственное «я» – не английское, не европейское, но таковое. То была акеда своей души, и некому, нечему было остановить занесенное лезвие подчиняющей Идеи.

Пламенная проповедь у Шаалана позднее оказалась для Лоуренса одним из самых горьких воспоминаний – оттого, что, сознавая шаткость основ, он продолжал призывать к созиданию храма, в обманчивой надежде на его завершение.

В надежде спасение, но и опасность – гибельного самообмана. Только она удерживала его на пути к руинам, являя их соборной славой свободы, любви и единения, и только она стала причиной его духовного коллапса.

«Это было бы героическим – отдать свою жизнь за де-

ло, в которое я не мог верить, но то было ловлей душ – заставлять других умирать ради моего идола».[14] Самообвинение было константой умонастроения Лоуренса в те годы и – с сокрушающей силой – позднее. Вновь и вновь он твердит в своей книге об обмане, позе, своекорыстии: являет свою «осквернённую» душу. Так согрешивший простирается пред алтарем, предавая себя искупительной жертвой. «Вот мой грех. Твоя воля, Господи, осудить или помиловать». Удар: Лоуренс принял бы его в очищающей радости унижения. Прощение: возрадовался бы. Ударить мог бы каждый, простить – только один. Перед этим одним, как и пред Богом, на нем не было вины. Ее не было вовсе, и слепцом должно быть, чтобы при этом самобичевании – явлении чистоты – отыскать порок.

Глава CXVII

Успех Бакстона. – Предупреждение Элленби. – Попытка спасти свой народ: тайные переговоры Фейсала. – Разведка дороги до Азрака. – Новая встреча Лоуренса с Азраком.

Вечером того же дня, когда была произнесена эта речь, Лоуренс вылетел в Гувейру, откуда добрался до Акабы. Наутро он узнал о взятии Бакстоном Мудоввары.

По плану тот должен был пробраться окружными путями между станцией и оборонительными позициями турок с целью атаковать с тыла и станцию, и позиции. До полуночи к исходной точке были проложены белые ленты, однако из-за недостаточного знания местности оказалось трудным провести части, и лишь под утро, 8 августа, подготовка к штурму была завершена. Бомбометчики прокрались вперед и захватили врасплох два редута и станцию. Северный редут оказал сопротивление, но после обстрела и бомбардировки пал и он, и к семи утра операция была завершена. Из англичан четыре человека были убиты и десять ранены, турки потеряли двадцать одного человека убитыми и сто пятьдесят пленными. После разрушения

станции с водокачкой и паровыми насосами и колодцев отряд отправился в Джефер.

Тем временем Элленби передал Фейсалу через Доуни предупреждение не предпринимать поспешных действий – в противном случае арабы могли оказаться лишенными английской поддержки, – но вместо этого держаться до тех пор, пока положение не окажется действительно благоприятным. Лоуренс счел причиной этого послания свое пылкое заявление, сделанное однажды в штабе, о том, что 1918 год предоставляет последнюю возможность и арабы возьмут Дамаск независимо от ситуации в Дераа или Рамле, «поскольку было лучше взять и потерять, чем не взять вообще».[1] Арабы являлись не вспомогательным средством, но основной силой («Мы только гости», – как писал Лоуренс Ньюкомбу в январе 1917 года), и, если они могли что-то сделать, они должны были сделать это, чтобы в конце само положения вещей заставило бы выполнить данные обещания, как надеялся Лоуренс.

«Фейсал мудро улыбнулся на проповедь Доуни и отвечал, что этой осенью он попытается взять Дамаск, хоть бы небеса рухнули, и, если британцы не могут выполнить свою часть наступления, он спасет свой народ, заключив сепаратный мир с Турцией».[2] Фейсал давно уже был в соприкосновении с некоторыми элементами в Турции. Корреспонденцию начал Джемаль-паша, для которого происшедшее из Мекки восстание являлось брешью в целостности исламского мира. Фейсал переслал его письма в Мекку и Египет, но там их поняли слишком буквально и советовали передать, что ответом может быть только меч.

Конечно, перемирие с Джемалем было невозможным – это значило бы предать кровь своих единомышленников, казненных им, – но при умелом обращении с ним можно было бы усилить национально-клерикальные противоречия в Турции, которые уже разъедали ее организацию. Одной из целей являлась антигерманская группа в генштабе, под руководством Мустафы Кемаля. Джемаль знал об этом «ферменте» и сначала предложил арабам автономию для Хиджаза, затем добавил Сирию, потом Месопотамию. В конце концов, он признал, что имен-

но род Пророка должен быть духовным вождем Ислама. Несмотря на свою комичность, переписка способствовала разъединению турецкого штаба. Штабу было известно о соглашении Сайкса-Пико, которое было предано гласности советским правительством. О нем знал и Фейсал: Лоуренс в самом начале рассказал ему о двойной игре союзников и указал, что его единственно возможным действием было помогать англичанам так, чтобы они «из стыда» не смогли пойти на попятную, и что, если арабы будут действовать таким образом, то не будет и речи об отступлении. «Я молил его верить не нашим обещаниям, как его отец, но силе собственного исполнения».[3] Честный Лоуренс полагал, что у политиков существует подобие совести, а сам он окажется тем небольшим рычажком, нажимом которого государственная машина повернется на правильный путь...

В своих словах англичане были чрезвычайно щедры и обещали арабам, в лице небольшого комитета в Каире, сохранить за ними те земли, которые они завоюют. «Для того чтобы показать нам, что они могут давать столько обещаний, сколько существует участников, они, в конце концов, выдали документ А Шерифу, В – своим союзникам, С – Арабскому комитету, D – лорду Ротшильду... Старый Нури Шаалан, морща мудрый нос, обратился ко мне с кипой документов, спрашивая в недоумении, которому из них он может верить. Как прежде, я бойко ответил: “Последнему по дате,” – и эмир, благодаря своему чувству чести в отношении данного им слова, увидел весь юмор. Впоследствии он всегда делал для нашего общего дела все возможное, только предупреждая меня, что, если он не сдержит обещания, то это от того, что оно было заменено последующим намерением».[4]

После поражения Элленби при Салте Джемаль прислал к Фейсалу с предложением мира эмира Мохаммеда Саида, брата Абд эль Кадера. Фейсал отвечал, что тот пришел в подходящий момент, и он даст свое согласие, если Турция эвакуирует Амман и передаст его провинцию арабам. Посланник решил, что достиг успеха, и помчался обратно в Дамаск, где его встретил шквал негодования

Джемаля.

Мустафа Кемаль был обеспокоен этими сношениями и обещал Фейсалу, что после взятия арабами Дамаска, недовольные турецким режимом примкнут к ним и используют их территорию как базу для атаки на Энвера и его немецких союзников в Анатолии. Мустафа надеялся, что, собрав все турецкие силы к востоку от Тавра, сможет выступить на Константинополь.

Все эти переговоры не были открыты ни Египту, ни Мекке. Лоуренс опасался, что доверие британцев к Фейсалу может пошатнуться, а сражающиеся арабы не смогут понять политических лабиринтов. Однако рано или поздно сокрытое могло стать явью, и Лоуренс спас положение Фейсала тем, что предложил ему вести переговоры и дальше, чтобы в нужный момент его умышленное действие выглядело лишь как отвлечение противника.

Сепаратный мир оказался бы единственным спасением для воюющих арабов в случае, если бы союзники потерпели поражение в войне. Таким образом, Фейсал пытался обеспечить безопасность для будущего своего народа, и его переговоры оправдывались не только неудачами англичан, но еще и их собственными сношениями, причем с враждебными арабам консервативными турками. Лоуренса не покидал постоянный страх, что Англия может заключить с ними сепаратный мир. «Британское правительство зашло слишком далеко в этом направлении, не уведомляя своего самого малого союзника. Наши сведения о точных шагах и о предложениях (что оказались бы фатальными для столь многих арабов, сражавшихся на нашей стороне) достигали меня не официально, но частным образом. Это было одним из тех двадцати случаев, когда друзья помогали мне больше, чем наше правительство, действия и молчание которого были одновременно примером, побуждением и позволением для меня действовать так же».[5]

После того как политические дела были, наконец, оставлены, Лоуренс смог снова вернуться к «чистой рабо-

те». Он решил произвести разведку дороги для бронемашин до Азрака и утром 13 августа выехал с Джойсом на автомобиле в сопровождении охранявшей их бронемашины.

За Вади Баир кремнистая почва перемежалась с участками твердой грязи, так что путь был легким, и скоро они достигли Вади Джинз, где им повстречались бедуины из джази ховейтат, чья воинственность тотчас исчезла при виде превосходящей силы, и они радостно приветствовали Лоуренса. На следующий день они доехали до меловых склонов, предваряющих Сирхан, где «заполнили радиаторы ужасной водой из той ямы, в которой некогда играли Фаррадж и Дауд»,[6] и через это Вади направились дальше. Вечером, сделав привал за кряжами, где можно было чувствовать себя в безопасности, Лоуренс и Джойс любовались переливами заката, что завершились малиновым заревом, как будто сосредоточенным неразряжаемым напряжением.

Наутро они миновали необозримую грязевую равнину, простиравшуюся на семь миль в окрестностях Азрака и полную волнующегося трепета миражей, и, преодолев заросли тамариска и колючего кустарника на ее окраине, выехали в долину родников. Там они остановились около пригорка Аин эль Ассад, где год назад Лоуренс был с Али. Между легких стеблей тростника сияла хрустальная вода. Лоуренс с Джойсом удостоверились, что около источников, как и повсюду, никого не было, и снова сели в машину. Обогнув лавовое поле и травой поросшее болото, они завидели голубые стены форта в шелковой светотени пальм – те стены, «в спокойствии которых было, возможно, больше страха, чем мира».[7] То была не только накопленная веками невыразимая тревога, сокрытая в словно кладбищенском покое: для самого Лоуренса Азрак стал страшен. Отсюда он отправился в Дераа и сюда же вернулся, самому себе мерзкий; здесь умер Дауд, и где-то здесь была его могила, еще свежая, как рана... Радость Азрака оказалась столь же мимолетной, как тот невесомый бег Али сквозь серебрящуюся тишину осеннего дня.

Лоуренс и Джойс взобрались на западную башню и

убедились, что эта крепость действительно может стать подходящей базой для действий против Дераа. Затем они обследовали участок равнины и выбрали посадочную площадку для аэропланов.

На обратном пути в раскаленных солнцем машинах, было жарко, как в печи, но, тем не менее, удавалось ехать быстро и, к тому же, обнаружить более короткий маршрут. Вечером повеяло прохладой, а вместе с ней – ароматами цветов с Джебель Друз. Следующим вечером, спеша на скорости сорок миль в час, они достигли колодцев Баира, где пылали костры Бакстона, переместившегося сюда из Джефера.

Глава CXVIII

Мысли в день рождения: Одиночество и творческое неосуществление.

Свой тридцатый день рождения Лоуренс встретил в Баире, где долина кишела тремя сотнями солдат Бакстона, а ховейтаты не без удивления взирали на них, так как «никогда не предполагали, что в мире существует столько англичан».[1] Лоуренс, держась ото всех в стороне, как то бывало всегда, когда ему приходилось находиться в каком-либо обществе, решил подвести некоторые итоги своей жизни. В этом, с виду забавном для молодого человека занятии, было нечто зловещее: Лоуренс оглядывался на свою жизнь и оценивал ее так, словно находился в конце своего пути. И в самом деле, то происходило у последней черты...

«Теперь мне казалось странным, что четыре года назад я предполагал стать к тридцати генералом и баронетом»,[2] – пишет он в своей книге, вызывая улыбку недоверия. Четыре года назад он рассчитывал, что сумеет что-то сделать для осуществления своей юношеской мечты об освобождении арабов, и поэтому стремился попасть на Во-

сток, – об этом мы уже говорили, равно как и о том, насколько он презирал мирские почести. Тогда им владело только желание сделать «приятный подарок» своему любимому, и эти слова – не более, чем уловка для «не тех» читателей, от которых он столь тщательно скрывал то, что касалось Дахума. Подобное действие встречается в эпилоге, когда он перечисляет «мотивы», добавляя к единственному еще три измышленных, чтобы смягчить его силу и отвлечь внимание. От Дахума у него оставалась лишь память, и он оберегал ее от осквернения непониманием.

«Осталось стремление обладать хорошей репутацией среди людей»,[3] – продолжает он, выражая естественное желание. Ему хотелось, чтобы его видели таким, каким он являлся. С дикой иронией эта возможность оказалась впоследствии уничтожена той пресловутой славой, что превратила его еще при жизни в карикатуру и отняла у самого себя. Любая известность искажает образ, проводя его сквозь призму множества представлений и облепляя домыслами. Разве Христос был той отстраненной картинной фигурой, каким его воспринимают теперь тысячи и тысячи так называемых верующих? Славы должно бежать, как прокаженного, и сострадания достоин тот, кто вынужден идти к людям, неся свою распахнутую душу.

Обратившись в мыслях к своему положению, Лоуренс снова во всей силе ощутил то чувство вины, что слилось с его любовью и стало неумолчным обертоном жизни в Аравии и после. «Похвалы за мои действия теперь приходилось принимать. Любое искреннее возражение с моей стороны называлось скромностью, самоуничижением и казалось чарующим для тех людей, которые всегда готовы с радостью поверить в романтическую сказку. Меня раздражало это глупое смешение стеснительности, что есть поведение, со скромностью, являющейся точкой зрения».[4] Стеснительность – проявление неуверенности в себе, скромность – сущностная черта, происходящая от самооценки. Скрывать свою скромность есть ее высшая степень и – основное требование для христианина. «Не будьте, как лицемеры», не будьте добродетельны напоказ, ибо в этом наибольшая гордыня, сводящая на нет все достоин-

ства и заслуги. «Я был не скромным, – говорит поэтому Лоуренс, – но пристыженным своей неуклюжестью, физической оболочкой и одинокой непохожестью на других, которая не позволяла мне быть товарищем, но только знакомым – завершенным, угловатым и неудобным, как кристалл».[5] Его непохожесть, то есть незаурядность, стала для него, как для многих талантливых личностей, приговором к одиночеству, и от этой боли он почти гнушался («стыдился») своего особого склада, сделавшего его вечным изгоем, постоянно непонятым, не могущим обрести друга. «Не позволяла мне быть товарищем», – не обладать им, но быть самому: желание любить превосходило желание быть любимым. Он не хотел, не мог являться тоскующей искрой ненужной любви, для которой один путь – угаснуть в темноте одиночества. Но как бы это побуждение любить ни заставляло его презирать свою «угловатую», как ему казалось, сущность, изменить ее было равносильно духовному самоубийству. «Я слишком уважал свой разум, чтобы жертвовать им ради жизни тела»,[6] – как и ради спасения от одиночества. Наступит время, когда он предпримет попытку стереть себя, смешать с массой, но это будет лишь судорогой измученной болью души, существующей в отчаянии.

Он не имел равных, и ни для кого, кроме Дахума, не мог стать другом в настоящем смысле слова, но только – знакомым, как и ему никто, кроме того мальчика, не был близок. И это «не стать» означало не быть, ибо только в отношениях с равным можно осуществиться – сбыться, как собственное жизненное желание любить.

Дахум сумел познать его и понять интуитивно, так как для его юного разума Лоуренс даже тех лет оказался бы сложен, но в этом проницании чувством он не ошибся. И Лоуренс устремился ему навстречу со всей радостью обретения и открылся сполна. «Люди не могут считаться друзьями, пока не скажут друг другу все, что возможно», – все, что выразимо. Дахуму он рассказал всего себя, и там, где слова оказывались бессильны, помогало чувство – любящее вчувствование.

Тот мальчик не был замутнен никакими предрассуд-

ками, условностями или измышлениями, и его податливая душа принимала Лоуренса, как благодатный свет. Лоуренс вверялся ему, а в теплоте его любви раскрывался и этот чуткий бутончик. Они воспринимали друга друга, проникались один другим: вместе созидали свой мир. Их юность была возможностью таких отношений: у взрослой личности затвердевают грани, и вместо проникновения чаще всего происходит только столкновение идей.

Для всех остальных Лоуренс оказался впоследствии именно кристаллом: не по «угловатости», но по многогранности, для которой не было соответствия. Обрастая громоздкими связями, он становился для них только знакомым, оставаясь незнакомцем. Никто из того блистательного множества не смог ответить *всем* граням этого кристалла.

«С людьми у меня всегда было чувство, что я вне их понимания»[7] – «being out of depth». Точен этот английский оборот «to be out of somebody's depth» – «быть вне чьей-либо глубины». Равную глубину должно было иметь, чтобы понять Лоуренса. Эту невозможность быть понятым он мучительно осознавал: «Я не мог дружески открыться другому [кроме Дахума. «После тебя не может быть никого другого»,[8] – и не было]: ужас провала в усилии столь важном заставлял меня отшатываться от попытки. Кроме того, существовал такой стандарт, что близость кажется постыдной до тех пор, пока другой не сможет сполна ответить – тем же языком, тем же образом, по тем же причинам».[9] Но каким бы ни был страх поражения, все же оставалась некоторая надежда, из которой он пытался приоткрыться – и сознательно останавливал себя, отдавая себе отчет, сколь неподходящими для этого были его знакомые. В его письмах сквозь спокойную поверхность иногда прорывается действительное умонастроение, является нечто превосходящее меру общения с данным человеком. Так бывало в некоторых из писем к Лидсу, Ш. Шоу, Л. Кёртису. Иные обращения оказывались совершенно необоснованными – как в 1922 году к вице-маршалу О. Свенну, который по указанию Тренчарда должен был уладить вопрос с зачислением Лоуренса в авиацию, что и вы-

полнил безо всякого энтузиазма. Для Лоуренса было свойственно восхвалять заслуги других, а иногда – и приписывать их. Поэтому неудивительно, что он проникся трепетной благодарностью и написал тому дружеское письмо, относительно которого Свенн позднее замечал: «Можно было подумать, что я был близким адресатом Лоуренса, – возможно, даже другом».[10]

Некому открыться, не с кем быть собой, не с кем – *быть*. Одиночество – самое страшное для человека, а для обладающего столь сильной способностью любить – особенно.

Лоуренс с его сочетанием собственной веры, аскетизма, гомосексуальности и творческого побуждения был непостижим для слишком многих. «Они интересовались тем, что мое самосознание отвергало. Они говорили о еде и о болезнях, играх и удовольствиях – со мной, кто чувствовал, что признавать наше обладание телом было достаточной деградацией, не говоря уже о его слабостях и принадлежностях. Я почувствовавал бы стыд, если бы увидел их погрязшими в том физическом, которое могло бы быть только прославлением человеческого креста».[11] Будучи человеком духа, что он имел общего с людьми, жившими по плоти? Плоть, этот тягостный придаток, что может доставлять единственное удовольствие – боль: как возможность очищения и возвышения духа. «Непохожесть» Лоуренса была непричастностью миру плотских людей, каковых, к сожалению, большинство. Возможности для поиска равного оказывались сведенными почти к нулю.

Вместе с неосуществленностью как друга его мучила творческая невыраженность. Но, если в юности побуждение создавать вело к поискам и борениям со своим «бессилием», то теперь отсутствие чего-либо сделанного вызывало осознание, будто жизнь растрачивается понапрасну. Предназначением Лоуренса была творческая деятельность. Он ощущал свои возможности – и не находил для них формы: не потому, что не был способен ни к одному из способов отображения духа, но потому, что считал свои способности недостаточными. «Я развивал идеи других людей и помогал им, но никогда не создал никакой вещи

сам, поскольку не мог одобрить творения».[12] Самокритичность оказалась губительной для него.

Разочарование в своих способностях и усталость от свободы воли в обессмысленном деле привели к желанию находиться в подчинении, быть ведомым по чужому пути – лишь бы идти и не шарить беспомощно в темноте. «Это было частью моего провала, что я не нашел начальника, который использовал бы меня. Все они из неспособности, робости или симпатии оставляли меня слишком свободным, словно не видели, что это добровольное рабство было бы глубокой гордостью для болезненного духа, а косвенная боль – его самой почетной наградой».[13] Служить, как тряпка: это было уже не смирение и не сладость самоумаления, но только надрыв воли.

Самое важное – друг и свое дело. Лоуренс лишился первого и не осуществился во втором: в этом его трагедия. Одиночество и изнеможение от обессмысленности стали его состоянием. Духовный потенциал выгорал, и, окинув взглядом свою жизнь, он мог увидеть только пепелище неосуществленных возможностей.

Глава CXIX

С Бакстоном из Баира до Азрака и обратно. – Кризис в арабском командовании.

Вскоре отряд Бакстона выступил к Азраку. Лоуренс, задержавшись на несколько часов в наблюдении за погрузкой взрывчатых веществ на верблюдов, выехал вечером того же дня и на другой день соединился с колонной англичан. На марше он то и дело оказывался впереди всех, так как ехал на быстром верблюде, хотя и шедшем неровными рывками: «В трудном танце, ненавистном для моих аджейлей, потому что это напрягало их нежные поясницы, но для меня не было лишено забавности».[1]

20 августа они достигли Муаггара, в пятнадцати милях

к юго-востоку от Аммана, где намеревались взорвать мост. Однако в окрестных селениях были расквартированы несколько частей турецкой пехоты на мулах для охраны сборщиков налогов, и свободный подход к мосту оказывался перекрытым.

Эта угроза не была значительной, и можно было бы добиться успеха, но он мог стоить жизни примерно четырем десяткам людей. Помня предписание Бартоломью избегать потерь (и придерживаясь собственного правила), Лоуренс решил отказаться от попытки. Бакстон согласился, но его солдаты были разочарованы. Для того чтобы не уходить ни с чем, Лоуренс направил в селения посланцев для распространения слухов о численности отряда и о том, что он является разведывательной группой армии Фейсала, готовящейся в скором времени взять Амман. Турки как раз этого и боялись. Они направили в Муаггар кавалерию, – и, в самом деле, обнаружили следы пребывания немалого войска: пустые консервные банки и колеи на склонах холмов. На две недели их охватила тревога.

С наступлением темноты отряд снова двинулся в путь. Взошла блистающая белизной луна, и ее свет заворожил сознание, сделав его безразличным к вставшим из темноты древним руинам, обычно вызывавшим интерес. Лоуренс, опасаясь нападения незнакомых арабов, выехал вперед со своей охраной. С земли взлетали вспугнутые ночные птицы, стремительные и бесшумные. Их число все возрастало, и скоро пространство заполнилось трепетом множества крыльев. Спутники Лоуренса, устрашенные этим беззвучным мятущимся сонмом, начали стрелять в воздух, но через пару миль снова воцарилось спокойствие.

На другой день, с просторов лавового поля, уже можно было различить вдали могилы Меджабара – «наиболее красиво расположенного из кладбищ»[2] – около Азрака. Лоуренс устремился вперед со своей охраной, чтобы предупредить возможную неожиданность и – чтобы вновь ощутить уединенность и древность этого томящего и чарующего места, пока оно не окажется наводнено людьми и не потеряет свою царственную самостоятельность, став только декорацией. «Эти солдаты казались столь уверен-

ным, что я боялся, как бы Азрак не лишился своей единственности и не оказался вновь вовлечен в поток жизни, отхлынувшей от него тысячу лет назад».[3]

Его опасения рассеялись после того, как он убедился, что там не было и следа неприятеля, и увидел, что «Азрак, красивый, как всегда, стал даже еще красивее, когда его сияющие водоемы засверкали белыми телами купающихся людей».[4]

Два дня прошли в беззаботной праздности. Однако безмятежность оказалась нарушена трагическим происшествием: один из арабов, стрелявший рыбу в водоеме, уронил винтовку, и она выстрелила в одного из англичан. «Мы похоронили его на кладбище Меджабара, незамутненное спокойствие которого давно уже было предметом моей зависти».[5]

Спрятав пироксилин, приготовленный для сентябрьского налета на Дераа, отряд 26-го августа отправился обратно в Баир. По дороге Лоуренс ухитрился столь глубоко задуматься, что заблудился между Хади и Баиром. Ночью удавалось определять путь по звездам, и утром путники оказались в Вади Баир, хотя Лоуренс никак не мог понять, были ли они выше колодцев или ниже, пока не посчастливилось встретить одного из знакомых арабов, который и указал верное направление.

Из Баира Лоуренс выехал на бронемашине в Аба эль Лиссан. Там его ожидала неприятность.

Фейсал получил с почтой официальную газету, издававшуюся Хуссейном, и обнаружил в ней заявление о том, что лишь глупцы могут называть Джаафар-пашу главнокомандующим Северной арабской армией, тогда как в арабской армии нет звания выше капитана. По всей видимости, честолюбие амбициозного старика было уязвлено известием о награждении Джаафара британским орденом. Хуссейн понимал, что арабские офицеры сражались ради освобождения своих земель, а не для того, чтобы расчистить ему путь к власти, и это было для него невыносимо.

Джаафар попросил у Фейсала об отставке, и его примеру последовали другие старшие офицеры. Лоуренс убе-

ждал их не придавать значения причудам старика, а Фейсал отказывался принимать их прошения, объясняя это тем, что их назначил он, и, если теперь пострадала чья-то честь, то лишь его самого.

Фейсал телеграфировал в Мекку, но получил резкий ответ. Тогда он предложил собственную отставку. Хуссейн назначил на его место Зейда, который тотчас от этого отказался. Начался обмен телеграммами, и дела в Аба эль Лиссане зашли в тупик.

Через три дня следовало выступить к Дераа, и это недоразумение грозило сорвать весь точно рассчитанный план. Существовало три возможности: надавить на Хуссейна, чтобы он отозвал свое заявление; продолжать действовать, не обращая на это внимания; поставить Фейсала в формальную независимость от отца. У каждого варианта были свои сторонники.

Лоуренс первым делом предупредил Нури Шаалана, что не сможет присутствовать на его собрании племен, но будет позднее в Азраке. Это было рискованным действием, так как Шаалан мог усомниться в его надежности, а без руалл возможность достичь успеха в предстоящей операции сокращалась вдвое. Однако это оказалось бы меньшей потерей, чем лишиться Фейсала и регулярных войск.

Затем Лоуренс приступил к разрешению положения. Сначала он отправил в Азрак караваны с продовольствием и амуницией. Потом встретился с мятежными солдатами регулярных частей: в войска просочились слухи о разразившемся кризисе, и пулеметчики взбунтовались против своих офицеров. Когда они были готовы открыть огонь по их палаткам, к ним вышел Лоуренс. К нему прислушались, к этому забавному «английскому бедуину».[6] Он объяснил им, что возникший спор только буря в стакане воды, и напряжение спало: перипетии Мекки их не беспокоили, поскольку все их мысли были устремлены к Дамаску. Единственное, чего они опасались – это ухода Фейсала, который уже давно не появлялся перед ними. Лоуренс обещал незамедлительно доставить его, и вскоре они, к своему облегчению, действительно увидели своего вождя в его зеленой машине.

Третьей задачей была отправка войск в Азрак в назначенный день. В этом неоценимую помощь Лоуренсу оказал Нури Саид. Под его влиянием арабские офицеры согласились отправиться в Азрак в ожидании извинений от Хуссейна. Если бы таковых не пришло, то они были вправе вернуться или отказаться от своей клятвы верности.

Теперь Лоуренсу предстояло восстановить положение Фейсала, который уже был готов перейти под его начало. «Попытаться сделать без него что-либо серьезное между Дераа и Дамаском было бы тщетным. Мы могли произвести атаку на Дераа – то, чего Элленби ожидал от нас, но взятие Дамаска – то, чего я ожидал от арабов, та причина, из-за которой я присоединился к ним в сражении, принял множество страданий и тратил свой разум и силы, – это зависело от присутствия Фейсала на передовой, без отвлечения на военные обязанности, но готового принять и использовать политическую ценность того, что мы завоевывали для него».[7]

Элленби и Вильсон попробовали договориться с Хуссейном. В случае неудачи Лоуренс предполагал предоставить Фейсалу непосредственную поддержку британского правительства и довести его до Дамаска как суверенного принца. «Это было возможно, но я хотел избежать этого, кроме как последней необходимости. До сих пор арабы в своем восстании создавали чистую историю, и я не желал, чтобы наше приключение пришло в плачевное состояние раскола перед общей победой и миром».[8]

Хуссейн упорствовал, не поддаваясь никаким доводам разума. Его телеграммы поступали через Египет к операторам в Акабе, а оттуда высылались на машине к Лоуренсу для доставки Фейсалу. Лоуренс воспользовался этой возможностью и стал изменять знаки шифра, прежде чем передать послание в виде кода адресату. Эта хитрость помогла достичь улучшения настроений в окружении последнего.

Наконец, Хуссейн прислал длинную телеграмму, первая часть которой являлась неуклюжим извинением, а вторая была повторением заявления в новой форме. Лоу-

ренс отбросил конец, а оставшееся принес Фейсалу, сидевшему в шатре среди своих офицеров. После расшифровки, Фейсал с удивлением прочитал послание сначала про себя, а затем вслух, после чего произнес: «Телеграф спас нашу честь». Присутствующие принялись дружно выражать свою радость, а Фейсал, склонившись к Лоуренсу, шепнул: «Я имею в виду честь почти всех нас». Лоуренс сделал вид, что не понимает, и тот ответил: «Я предложил служить под Вашим командованием в этом последнем походе, почему этого было недостаточно?» – «Потому что это не сочетается с Вашей честью». «Вы всегда предпочитает мою честь собственной», – проговорил Фейсал.

Фейсал собрался присоединиться к Лоуренсу в Азраке к 12 сентября. Пока же Лоуренс отправился на машине на север, рассчитывая еще успеть собрать руалл под началом Нури Шаалана.

Глава CXX

Дорога до Азрака. – Блаженство. – Планы: ложная атака на Амман и действительная угроза Дераа. – Сосредоточение сил в Азраке.

4 сентября Лоуренс выехал в Азрак на грузовике Роллс-Ройс. Его сопровождали Назир и лорд Уинтертон, опытный офицер из отряда Бакстона. «Шериф Назир, который был острием арабской армии с первых дней при Медине, был выбран нами и для этого последнего случая. Он заслуживал чести взятия Дамаска, поскольку ему принадлежала честь Медины, Вэджха, Акабы, Тафиле и многих иных трудных дней».[1]

Для Лоуренса передвижение на машине казалось постыдно удобным, однако Назир, полузадушенный пылью, отнюдь не разделял его мнение, особенно когда грузовик, скорость которого достигала шестидесяти семи миль в час, подбрасывало на ухабах. Пустыня была необычайно оживленной: через нее тянулись караваны верблюдов с регу-

лярными частями, бедуинами, багажом... То и дело грузовик обгонял кого-нибудь из знакомых, и нещадно пылившийся Назир в знак приветствия только взмахивал рукой.

В Баире Лоуренс узнал от встревоженных бени сахр, что накануне турки вторглись из Хезы в Тафиле. «Мифлех подумал, что я безумен или несвоевременно весел, когда я рассмеялся на эти новости, которые четырьмя днями ранее могли задержать экспедицию в Азрак, но теперь, когда мы выступили, враг мог брать Аба эль Лиссан, Гувейру, саму Акабу – и добро пожаловать!»[2] Слухи об угрозе Амману заставили турок сосредоточиться для отражения ложной атаки, и при этом все, кого они посылали на юг, оказывались потерянными для действий там, где существовала действительная опасность.

Прибыв через два дня после выезда в Азрак, Лоуренс со спутниками нашли там нескольких слуг Нури Шаалана и немного англичан. Там находился небольшой склад и брезентовый ангар.

Первую ночь спали – вернее, пытались спать – на аэродроме. В продолжение трех часов ветер навевал песок, погребая лежащих, так что каждые полчаса приходилось стряхивать эти наносы. К полуночи ветер стих, но зато появились москиты, и борьба с ним продлилась до рассвета, когда перебрались на кряж Меджабара, возвышавшийся на сотню футов над болотами и открытый всем ветрам. Немного отдохнув там, Лоуренс с Назиром и Уинтертоном отправились купаться. «Мы разделись около искрящихся водоемов, жемчужно-белые стороны и дно которых отражали небо лунным сиянием. “Восхитительно!” – крикнул я и, бросившись в воду, принялся плавать. “Но почему ты держишься под водой?” – спросил Уинтертон. Затем верблюжья муха укусила его сзади, и он, поняв, прыгнул вслед за мной».[3] Мухи продолжали свою атаку, и через пять минут купальщики выбрались на берег и с лихорадочной поспешностью стали одеваться, а стоявший там Назир смеялся на них.

Потом они нашли отдохновение в форте, в прохладной и тихой башне, где год назад жил Али. Из-за стен доносился шелковый шелест пальм. «Я счастлив», – сказал

Назир. Лоуренс тоже чувствовал себя счастливым...

Восстание близилось к концу, и он теперь не сомневался в его триумфальном завершении. Несмотря ни на что храм свободы был почти возведен, и скоро его врата могли принять того, кому он был посвящен. «Я мог чувствовать позади напряженную силу взволнованности арабов. Кульминация лет призыва миновала, и объединенная страна устремилась к своей исторической столице. В вере, что это оружие, направляемое мной, было достаточным для достижения моей цели, я, казалось, забыл английских сотоварищей, которые находились вне моей идеи в тени обычной войны. Мне не удалось сделать их участниками своей уверенности».[4]

Это предощущение достижения и безмятежность передышки в уединенном Азраке, удаленном от неприятеля и еще не наводненном войсками, позволили Лоуренсу расслабиться и в какой-то мере «почувствовать себя живым». «Днем мы, двенадцать англичан с Назиром и его рабом, бездельничали и прогуливались, на закате купались, осматривали это место, размышляли и со всем удобством спали по ночам – или, скорее, я спал...»[5] Как прошлой осенью с Али, он наслаждался удивительным покоем в этом оазисе мира, полном глубинной тишины – страшной, что-то таившей в себе, будто пропасть, тишины...

Ближайшими задачами было проведение ложного маневра у Аммана и разрушение железной дороги у Дераа, являвшегося средоточием путей сообщения трех турецких армий и линией отхода четвертой. Дальше Лоуренс не заглядывал, так как это являлось его привычкой – изучая альтернативы, выполнять последовательные шаги.

Первая часть уже была осуществлена из-за одного факта пребывания в Азраке. Лоуренс направил нескольких скупщиков зерна к бени сахр и приобрел ячмень для лошадей: слухи поползли. Он посетил округ Мадебы, где отметил посадочные площадки для самолетов и нанял арабов сторожить их. Имея возможность связи со штабными офицерами-арабами 4-й армии, он предупредил их о готовящемся в ближайшее время наступлении на Амман с

востока и запада и уговорил расположить войска так, чтобы в нужный момент не было осуществлено ни то, ни другое. Кроме того, он составил план наступления на Мадебу под руководством Хорнби с его арабами.

Что касается атаки на Дераа, то предварительным актом являлось разрушение железной дороги у Аммана, что предотвратило бы переброску подкреплений оттуда в Дераа и поддержало убеждение турок в том, что ложная угроза Амману является настоящей. Эту задачу должны были выполнить индийские части.

Основной целью было перерезать линии в Хауране по меньшей мере на неделю. Для ее достижения имелись три возможности: выступить к северу от Дераа и разрушить Дамасскую железную дорогу, а затем направиться к железной дороге, проходившей через долину Ярмука; либо пройти к югу от Дераа к Ярмуку, как с Али в ноябре прошлого года; либо атаковать сам Дераа. Третье могло быть выполнено только при поддержке авиации, которая произвела бы дневную бомбардировку станции, после чего было бы можно попытаться взять Дераа малыми силами. Этот вопрос был улажен с Сальмондом, хотя и зависел от того, сколько самолетов может быть собрано в нужное время. Все три варианта оставались равносильными до 11 сентября, когда в Азрак должен был приехать Доуни с последними известиями.

9 сентября появилась охрана Лоуренса, полная сил после месяца отдыха, 10-го прибыли два аэроплана из Акабы, 11-го – Джойс и Стэрлинг с бронемашинами. В тот же день прилетел аэроплан из Палестины. Доуни снова был болен, и вместо него прибыл штабной офицер, память которого была так ослаблена воздушной болезнью, что он забыл свои записи в самолете, а отправившись за ними, забыл сообщить, что 6-го числа Элленби изменил план, расширив обходное движение. К тому же его чрезвычайно поразило то, что в Азраке не была обеспечена безопасность. Лоуренс объяснил, что здесь они находятся вне досягаемости неприятеля, но регулярный ум не внял этим соображениям, и офицер «грациозно удалился» в свой самолет. От летчика Лоуренс и Джойс узнали, что ресурсы

Сальмонда были недостаточны для прикрытия штурма Дераа. Поэтому было выбрано обходное движение к северу от Дераа с целью перерезать магистральную линию на Дамаск.

12-го приехал Фейсал, а за ним – войска, Нури Саид «с иголочки», Пизани со своими алжирскими пулеметчиками и остальные части. Позднее прибыли Нури Шаалан, Ауда, Мохаммед эль Дейлан, Фахад с Адхубом и вождь серахинов Ибн Бани. Под винтовочные залпы появился сияющий Талал эль Харейдин с несколькими десятками крестьян верхом. Затем добавились друзы и городские сирийцы. «Каждый был крепок и здоров. Кроме меня»,[6] – от кого-то из прибывших Лоуренс узнал, что Дахум умер от тифа.

Глава CXXI

Начало агонии

Боль одинока и, когда она приходит, становится невыносимым находиться среди людей – незнающих или непонимающих, продолжающих суетный быт. В тишине она туманней, и собственная мертвенность не так тяжела, как среди живущих. «Я спустился вниз по долине к нашему отдаленному Аин эль Ассаду и лежал там весь день на своем старом месте среди тамариска...»[1] – пришел туда, где год назад открывался ласкам Али, как утреннему солнцу: будто приник в своем горе к отсутствующему другу.

Не Дахума не стало, – смертью начинается бытие, – но его самого, в одиночестве оставшегося болью.

В смерть невозможно поверить поначалу: известие, ударив, оглушает. Понимание нарастает постепенно, чтобы, достигнув пика, опрокинуть своей определенностью. Только тогда осознается вся мера распахнувшейся пустоты, а до того кажется, что ушедший где-то в этой жизни, и

хочется в отчаянии броситься к нему: «Помоги!»

Броситься, обнять и не отпускать, чтобы не потерять снова. «Брат мой!» – стоит лишь позвать, думается, и он откликнется, ибо как покинет тебя в этой боли, когда его любовь утоляла любую боль? В тоске по ушедшему – желание обрести утешение у него же.

Дахум!.. В ослепшем пространстве осталось жить только имя, которое словно вместило в себя всю теплоту, нежность, силу и стало сгустком солнца, сиявшего когда-то на берегах библейских вод. Назвать его имя – будто к нему самому прикоснуться, ощутить губами его юную нежность, соединиться с ним в слове, как прежде в объятии.

В начале, у тех темных глубин, это имя казалось его отражением и обладало некоей сакральной тайной, которою всегда наделено имя любимого. Оно волновало и словно имело способность приближать к нему самому, открывало его, дарило... «Дахум»: то был его живой образ, выраженный звуками, то был любовник в томящую ночь предчувствия, когда губы неслышно шептали его имя – целовали его самого.

Тогда оно было неразрывно соединено с ним и тревожило своей связью. Теперь, оставшись эхом в пустоте, оно казалось почти неузнаваемым, чуждым, труднопроизносимым. Произнести его – как позвать в вечность и осознать свое небытие.

Оставшееся, самостоятельное, помнящее, хранящее след возлюбленного, как примятая трава, ныне оно томило, вызывая неутолимую жажду одиночества. «Дахум!» – словно руками по следу, не видя, не слыша, не понимая – лишь зная, что был, а теперь нет, и бесконечность отсутствия поглотила родную теплоту.

Руками по земле, припадая к ней, как к груди друга, под шепоты тамариска и журчание вод – под отголоски своего внутреннего крика, – не видя, не слыша, не понимая – лишь зная, что ничего больше нет.

«Брат мой, помоги мне, я ничего не хочу, только видеть тебя, слышать, чувствовать – как жизнь...» Без брата, как без Бога, жизни нет. Никто не может быть ближе него – того, кто одной души с тобою и одной крови (жертвен-

ной!), святым духом любви с тобою соединенный: твое осуществление. Лишь в братстве бытие, тогда как одиночество – гибель.

Два года благодатная сила любви вела Лоуренса по крестному пути ради ее святого дара – свободы, и теперь, когда близилось воскресение – воссоединение с братом в созданном ими обоими храме, мир кончился.

«Я больше любил иметь дело с предметами, чем с людьми, и с идеями, чем с предметами», – и принял на себя ответственность за освобождение целого народа: ради Дахума.

«Моим долгом являлось командование, а командир, как главный архитектор, ответственен за все», – и сквозь иссушающий лихорадочный жар, между провалами в забытье, составлял свою стратегию, чтобы победить ради него.

«Ничто в этом переходе не было обычным или успокаивающим. Мы чувствовали, что находимся в зловещей местности, неспособной к жизни, враждебной даже к ее прохождению – кроме как по тем мучительным тропам, которые время проложило на ее поверхности», – и шел сквозь гибель к жизни, и смерть была только «служанкой в пути», тело было отброшено, а души были как листья на ветру...

«Пути бедуинов суровы даже для тех, кто с детства привык к ним, а для чужеземца страшны: смерть при жизни...»

«Возмещением была моя энергия мотива...»

«Мы были преданы свободе ... цели столь яростной, что она поглощала все наши силы...»

«Я разложил их всех по порядку, одного за другим, очень устал и так желал быть одним из этих безмятежных мертвецов...»

«Надеюсь, что после того, как этот ночной кошмар закончится, я проснусь и снова стану живым...»

«Мы пересекли эту линию прошлой ночью, чтобы отрезать Палестину от Дамаска, а теперь перерезали телеграф на Мединy – после всех страданий и опас-

ностей!..»

«У меня почернело в глазах, тогда как внутри суть моего “я,” казалось, медленно поднималась сквозь рвущиеся нервы, вытолкнутая этой последней неописуемой болью...»

«Мы должны были пройти мимо Керака на крыльях победы, ужасая турок до Аммана слухами о своем присутствии, но на самом деле ничего не получилось после всех потерь и усилий – кроме рапорта...»

«Согреться – мне, по крайней мере, так и не удалось, и едва ли я мог уснуть. Я задремал однажды только для того, чтобы, вздрогнув, проснуться, когда мне показалось, что медленные пальцы поглаживают мое лицо. Я пристально посмотрел в ночь, мертвенно-синюю от крупных, мягких хлопьев снега...»

«В моих пяти последних операциях я был ранен, и тело так страшилось продолжения боли, что мне приходилось заставлять себя идти под огонь...»

«Это своего рода чужая сцена, на которой играешь денно и нощно ... рискуя головой в случае, если роль не удастся...»

«Эти слова “мир,” “покой,” “тишина” приобретают яркость посреди шума, беспокойства и усталости, как освещенное окно в темноте...»

Почти два года – усилие, напряжение, изнеможение. Когда он уже не мог идти, его поднимала сила мотива – его любовь. Каждое страдание, как стадия крестного пути, приближало к искуплению из страдания общего и к воскресению в воссоединении. «Пока я видел твое ожидание...»[2] Пока видел – жил.

Животворящей силы больше не было. Чуткое сердце, которое он слушал когда-то, замолчало, и тишина обрушилась погребальным плачем – о нем самом.

«Мой любимый, мой брат...» Легкость движений, мальчишеская стройность тела и странная печаль любящего взгляда. У тех, кому отмерена короткая жизнь, таится в глазах эта глубинная грусть – словно о тех, кто будет

покинут. «Я завоевывал для него свободу, чтобы засияли его печальные глаза, но он умер, ожидая меня...»[3] Он ждал в Кархемише, и его ожидание продолжилось на берегу небесного Евфрата.

Со смертью Дахума прервалась тонкая трансцендентальная связь с его народом. Лоуренс и прежде сознавал свою инородность в общем потоке – вместе с осознанием постепенной утраты своего европейского «я» – и жил в некоем лимбе отстраненности, удерживаемый в этом ненадежном пространстве только узами с Дахумом. Все его существование было подчинено побуждению – животворному току, исходившему от этого единения. Когда оно разорвалось, арабский мир стал чужим: «Я до смерти устал от этих арабов...»[4] Кончилось восприятие иного миросозерцания, но и свое полустерлось, и он оказался между двух путей жизни – нигде.

Страдание обессмыслилось. «Сегодня я понял сполна, что мое терпение ложного положения, в котором я оказался, кончилось. Неделя, две, три – и я стал бы настаивать на отдыхе. Нервы сдали, и мне посчастливилось бы, если бы это можно было бы скрывать столь долго».[5] Не нервы сдали – дошел до своего последнего предела. В этот день, 12 сентября 1918 года, началась духовная агония Лоуренса.

Глава CXXII

Выступление из Азрака на Умтайе. – Не дар, но памятник. – Перекрытие линии на Амман. – Разрушения у Тель Арара: перекрытие железной дороги в Палестину и Хиджаз. – Помощь летчика Джунора. – Ранение Лоуренса. – Взятие станции Мезериб.

Предстоящие операции оказались под угрозой срыва из-за состояния Лоуренса, и Джойс принял на себя ответственность за их выполнение. По его приказу Пик с египетским корпусом на верблюдах в качестве саперной бригады, гуркасами как ударной силой и двумя бронемаши-

нами для прикрытия отправился разрушать железную дорогу у Ифдейна, что являлось мероприятием, предварявшим основной удар и долженствовавшим обеспечить безопасность со стороны Аммана на все время действий против Дераа. Согласно плану, гуркасам следовало взять блогкауз после наступления темноты, а Пику произвести до рассвета разрушения. Машинам надлежало прикрывать их утренний отход к востоку через равнину, по которой главные силы должны были двигаться из Азрака на север.

На рассвете 14-го основная колонна выступила из Азрака на Умтайе, находившееся в пятнадцати милях от Дераа, где имелось водохранилище дождевой воды. Там предполагалось создать выдвинутую базу. Колонна состояла из тысячи человек контингента Аба эль Лиссана и трехсот конных всадников Нури Шаалана. Еще две тысячи его всадников на верблюдах оставались в Сирхане до нужного момента.

Следующим утром выехал и Лоуренс, в «Роллс-Ройсе». Когда он нагнал армию, его ожидали неприятные известия. Пик вернулся, не выполнив своего задания, так как его отряд наткнулся в районе предполагаемого разрушения на расположения арабов, получавших от турок вознаграждение за охрану железной дороги. Как бы то ни было, план не мог быть покинут, и Лоуренс решил произвести разрушения сам.

Теперь, когда все было потеряно, он имел оправдание избегать дополнительных усилий, но, тем не менее, не отошел в сторону: «Люди просили меня довершить наше дело, ненарушенный дом, // в твою память».[1] Свобода не могла больше быть даром, но могла стать надгробным памятником. Кто нашел эти правильные, утешающие слова? Лоуренс был близок только с Фейсалом и Назиром. Должно быть, в тот день, когда наступила темнота, вернулся из своего прибежища и, не в силах удерживать боль, открылся и обрел в понимании спасение.

Лоуренс взял взрывчатку и, пересев на верблюда, вместе с аджейлями и некоторыми другими арабами направился в сторону Умтайе прямиком через лавовые поля,

которые армия обходила стороной.

К закату Лоуренс был на месте. Войска отставали от него на пять-шесть миль. Он произвел разведку и обнаружил хорошую дорогу для автомобилей и подходящий мост в четыре арки, подрыв которого заставил бы турок восстанавливать его несколько дней, что обеспечило бы ту необходимую безопасность со стороны Аммана. Имевшейся с собой взрывчатки недоставало, и Лоуренс решил вернуться сюда утром на машинах с необходимым запасом взрывчатых веществ.

По возвращении он увидел долину Умтайе искрившейся «галактикой небольших вечерних костров».[2] Он отправился в расположение англичан и обсудил предстоящие действия с Джойсом, Уинтертоном и Юнгом. «Рядом с нами лежали, покуривая, британские солдаты, спокойно рисковавшие собой в этой экспедиции, поскольку так мы им приказали. Это было типичной чертой, таким же инстинктом в нашем национальном характере, как та кипящая, смеющаяся суматоха у арабов. В критических ситуациях одна раса сосредотачивалась в себе, другая выражалась внешне».[3]

Наутро было условлено, что главные силы продолжат переход на север, к Тель Арару, расположенному на Дамасской железной дороге в четырех милях от Дераа, и там к утру следующего дня, 17-го, займут пост, тогда как две бронемашины атакуют мост и затем присоединятся к остальным.

Около двух часов дня Лоуренс с Джойсом и Уинтертоном выехал на автомобиле в сопровождении двух бронемашин в сторону железной дороги. В то же время на Дераа устремился отряд бомбардировщиков. Гарнизон оказался не готов к воздушному налету, и моральное воздействие, как и разрушение, оказалось значительным.

Достигнув последнего рубежа и оставив автомобили под прикрытием, Лоуренс со ста пятидесятью фунтами пироксилина пересел в бронемашину и поехал к мосту. Вторая бронемашина должна была атаковать блокгауз.

После непродолжительного сопротивления небольшой гарнизон сдался, и Лоуренс принялся за работу у мос-

та. Шесть зарядов были заложены зигзагом в дренажных стоках и своим взрывом пошатнули все арки: «Разрушение стало прекрасным примером того самого прекрасного вида, который оставляет конструкцию моста нетронутой, но шатающейся, так что противник при ремонте вынужден сначала уничтожить развалины, прежде чем приступать к восстановлению».[4] Как только дело было завершено, появился турецкий патруль, и подрывная команда, захватив с собой нескольких пленных, бросилась прочь. Однако, когда она отъехала всего на несколько десятков метров, у машины Лоуренса лопнуло колесо. Эти «Роллс-Ройсы» ездили по бездорожью пустыни в продолжении восемнадцати месяцев, и это стало первым серьезным происшествием в их группе из девяти. Водитель Роллс, искусный механик, поддерживавший автомобили в исправности, пришел в отчаяние. Вокруг него столпились пассажиры – англичане, арабы и турки, и встревоженно смотрели на него. Тот, поняв, что он, рядовой, должен командовать в этой чрезвычайной ситуации, воспрянул духом и благодаря своей изобретательности вскоре устранил неисправность, вставив в рессоры деревянные клинья и связав их вместе. Это позволило скрыться от преследования и потом произвести более надежный ремонт. В следующие три недели машина ездила, как всегда, и добралась до Дамаска.

За счет произведенной операции линия на Амман была перекрыта, а это означало, что был перекрыт кратчайший путь для доставки подкреплений в Дераа: безопасность тыла была обеспечена. Вместе с тем была оказана и помощь Зейду в Аба эль Лиссане: турки, находившиеся в Тафиле, оказались вынуждены приостановить наступление до восстановления своих коммуникаций.

Ночь отряд Лоуренса провел в Умтайе, намереваясь выступить перед рассветом к Дамасской железной дороге и встретиться там с Нури Саидом.

В восемь часов утра они нагнали главные силы, когда те начинали атаку на укрепленную позицию, охранявшую мост у Тель Арара. Всадники руалла устремились вниз по склону к железной дороге, за ними на «Форде» после-

довал Юнг. Лоуренсу с вершины холма показалось, что дорога была занята без единого выстрела, однако вскоре из турецкого поста, оставленного без внимания, посыпался град пуль, и «храбрецы, стоявшие на желанной линии в позе героев (спрашивая себя, что же делать дальше), тотчас исчезли».[5] Нури Саид открыл ответный огонь, под прикрытием которого руалла и регулярные части взяли редут, потеряв одного человека. К девяти часам утра десять южных миль Дамасской железной дороги были заняты. «Это была единственная линия в Палестину и Хиджаз, и я с трудом осознавал нашу удачу, с трудом верил, что наше обещание, данное Элленби, было выполнено столь просто и столь скоро».[6]

С вершины Тель Арара открывалась равнина в разливах теней от еще низкого солнца, за которой можно было различить Дераа, Мезериб и Газале. «Я смотрел дальше: на север, в сторону Дамаска, турецкой базы, их единственного звена, соединявшего их с Константинополем и Германией, теперь перерезанному; на юг, в сторону Аммана, Маана и Медины, тоже отрезанных; на запад, в сторону Лиман фон Сандерса, изолированного в Назарете; в сторону Наблуса и в сторону долины Иордана».[7] Было 17 сентября, и до решительного удара Элленби оставалось сорок восемь часов.

Лоуренс желал, чтобы вся линия была разрушена в одночасье, но работа почему-то остановились, только деловитый Нури Саид располагал орудия вокруг холма Тель Арара, чтобы ответить на возможную угрозу от Дераа. Лоуренс бросился к египтянам Пика и обнаружил их за завтраком: «Я онемел от удивления».[8] За час они все же собрались для продолжения работы, а французские пулеметчики приступили к подрыву ближайшего моста и, хотя не очень хорошо, но дело свое выполнили.

С холма Лоуренс изучил в бинокль Дераа, отстоявший на четыре мили, и заметил, что на аэродроме турки готовят к вылету около девяти самолетов, тогда как пехота занимает оборонительные позиции и начинает стрельбу, безвредную на расстоянии. Ни от Дамаска, ни от Мезериба угрозы не было, и, таким образом, инициатива туркам

не принадлежала. Было решено разрушить шесть километров железной дороги, подорвав шестьсот зарядов по типу тюльпана, изобретенного Лоуренсом и Пиком. Тридцать унций пироксилина закладывались под центром шпалы через каждые десять метров. Шпалы были стальными и внутри полыми. При взрыве металл не лопался, но выгибался на пару футов, как бутон. От подъема рельсы вытягивались дюйма на три вверх, от стягивания сходились дюймов на шесть и, к тому же, в краях коробились внутрь. Тройное искривление ремонту не поддавалось. Шестьсот зарядов задали бы туркам работу на неделю.

Когда заряды были заложены и Пик зажигал первый из них, Лоуренс собрался вернуться к войскам, как вдруг в воздухе появился турецкий самолет. Лоуренс с Нури Саидом бросились в укрытие, и, «великолепно уместившись»[9] под выступом скалы на склоне холма, замерли в ожидании бомбардировки. Но ничего не последовало: то была только разведка. По возвращении разведчика в Дераа оттуда вылетели восемь самолетов. Кружа, они начали сбрасывать бомбы и открыли пулеметный огонь. Нури ответил из пулеметов Гочкиса, размещенных в расщелинах, а Пизани – «оптимистической шрапнелью»[10] из четырех горных орудий. Неприятель оказался вынужден набрать высоту.

Укрытия на равнине не было, и единственной возможностью спастись являлось рассеяние. Регулярные и иррегулярные части рассыпались в один миг на двух квадратных милях, лишив противника цели. С самолетов, по всей видимости, не замечали, что происходит на железной дороге. А там египтяне «продолжали работу так же методично, как до этого ели».[11] Они укладывали заряды, а Пик с еще одним офицером поджигали их, и, по мере разрушения, отряд перемещался из зоны обстрела к безопасной территории.

Лоуренс с Нури и Джойсом стали совещаться, как добраться до Ярмукского участка Палестинской линии, чтобы завершить перекрытие Дамасской и Хиджазской железных дорог: под непрестанным вражеским наблюдением с воздуха это было трудно. Пока они размышляли, в небе

появился единственный уцелевший самолет арабской армии – старый «B-E-12», пилотируемый Джунором, который, оставшись в Азраке, узнал о турецкой авиации в Дераа и появился в нужное время в нужном месте. Казалось бы, его аэропланчик был легкой добычей для турок, но Джунор сначала открыл огонь из двух пулеметов, заставив их с осторожностью отнестись к неожиданному противнику, а затем устремился на запад, увлекая их за собой.

Пользуясь полученной передышкой, Нури собрал триста пятьдесят солдат регулярных войск с двумя пулеметами Пизани и отправил их к Мезерибу. За ними были отосланы крестьяне, а спустя полчаса, когда Лоуренс созывал свою охрану, чтобы тоже выступить в Мезериб, вновь появился Джунор, с трех сторон окруженный вражескими самолетами. Он ловко маневрировал, отстреливаясь от преследования, но наблюдатели на земле мало верили, что он сможет спастись. В своей слабой надежде они бросились расчищать площадку у железной дороги и через пять минут подали Джунору знак. Он сумел сесть, однако сильный порыв ветра перевернул аэроплан. К летчику поспешили на помощь, но он выбрался сам, с не большими повреждениями, чем царапина на подбородке. Из самолета забрали вооружение, побросали его в «Форд» Юнга и умчались, тогда как один из турецких самолетов сбросил бомбу на аэроплан.

Вскоре Джунор спрашивал о новом задании. Джойс дал ему «Форд», и тот смело направился к железной дороге у Дераа и успел разрушить там участок линии, пока его не заметили турки. «Найдя такое усердие излишним»,[12] они открыли пулеметный огонь, но Джунор умчался прочь, невредимый в третий раз.

Наконец, Лоуренс со своей охраной отправился к Мезерибу, тогда как Джойс остался для прикрытия у Тель Арара с сотней людей Нури Саида, руаллами, гуркасами и автомобилями.

Вопреки надеждам Лоуренса, он со своим отрядом привлек внимание неприятеля. Над ними пролетел аэроплан, и с него одна за другой посыпались бомбы. Четвер-

тая из них упала посреди их группы, убив двух верблюдов, седоки с которых чудом уцелели. За этим самолетом появился другой и сбросил еще две бомбы, взрывом которых закружило верблюда Лоуренса, а он, едва не вылетев из седла, взвыл от жгущей боли в правом локте. «Выбыть из строя как раз, когда действия еще одного дня обещали бы значительный успех! Кровь лилась по руке. Может быть, если бы я не смотрел на это, я мог держаться, как если бы не был ранен».[13] Пока он в ужасе сжимался от боли, его верблюд метнулся от пулеметного огня, и Лоуренс бездумно схватился за седло, чем и обнаружил, что рука на месте и действует. Отбросив плащ, он ощупал рану и нашел небольшой металлический осколок, не причинивший серьезного вреда.

Дальнейший путь продолжился без происшествий. К отряду присоединились местные крестьяне, и Лоуренсу было странно видеть этих плотно сложенных, румяных людей после словно выжженных солнцем худощавых бедуинов.

В Мезерибе было решено сначала занять станцию. Продвинувшись через заросли сорняков до расстояния ярдов в триста, арабы увидели толпившихся вокруг нее турок. Таллал, недавно соединившийся с отрядом Лоуренса, уверенно сказал: «Все в порядке, я знаю станционного смотрителя», – и они начали продвигаться вперед. Турки их заметили и открыли стрельбу из двух десятков винтовок, заставив наступающих залечь в чертополохе и под проклятия Таллала отползти обратно.

Прибыли Нури Саид и Назир. Лоуренс обсудил с ними положение и, хотя вместе с Нури считал, что задержка со взятием станции может помешать достижению большей цели – подрыву моста у Тель Шехаба, все решил не упускать и этого небольшого достижения. Был произведен недолгий обстрел из орудий Пизани, и Нури, в перчатках и с саблей, под прикрытием пулеметов взял в плен сорок турок.

На станции и в вагонах на запасных путях находились богатые припасы, и хауранские крестьяне в сокрушительном восторге бросились грабить. Тонны провизии, «двери

и окна, рамы дверные и оконные, даже ступеньки лестниц – были унесены».[14]

Тем временем, Лоуренс с Юнгом перерезали телеграфные провода – церемонно и с удовольствием, представляя гнев Лиман фон Сандерса (командующего турецкими войсками) по обнаружении, что прервана связь турецких армий в Палестине с их базой. «Безнадежный недостаток инициативы у турок делал их армию “направляемой,” так что, уничтожая телеграф, мы превращали их в лишенную руководства толпу».[15] Позднее они разрушили часть железной дороги.

На станции находились два грузовика, полные деликатесов для некоего немецкого буфета. Нури вышел на них и увидел, как один из крестьян с недоверием вытаскивает из банки консервированную спаржу. «Свиные кости!» – в притворном ужасе воскликнул Нури. Араб с омерзением отбросил свою добычу, а наш находчивый товарищ быстро набил седельные сумки банками и доставил их Лоуренсу с Назиром.

На закате станция и подвижной состав были преданы огню, и высокие языки бушующего пламени взметнулись в темнеющее небо. Зарево привлекло внимание окрестных жителей, и те начали приходить толпами. Поскольку они могли обладать полезными сведениями, их приходилось встречать, и это выпало на долю Лоуренса. В разговоре он отбирал ценные сведения, из которых позднее составлял полную картину. Информации было слишком много, и он, рассеиваясь, делал выводы скорее подсознательно.

Приходившие полагали, что ночью «Назир увенчает свою победу взятием Дераа»,[16] но и теперь это предприятие оставалось рискованным, так как в случае отступления оказалась бы потерянной поддержка местного населения, бывшая ключевой на пути к Дамаску. Поэтому ближайшей задачей был подрыв моста у Тель Шехаба, где Лоуренс потерпел горькую неудачу в ноябре прошлого года.

Глава CXXIII

Второй раз у Тель Шехаба. – Подрыв моста у Низиба.

Было девять часов вечера, и землю окутывала непроницаемая мгла. Уже можно было выступать, как вдруг появился юный шейх селения, занимавшего ключевую позицию на подступах к мосту. Из его обстоятельного описания стало очевидно, что задача труднее, чем предполагалось: у моста находился значительный гарнизон. Однако его командир, друг шейха, желал перейти на сторону арабов. Мальчик пообещал привести его. Через час он вернулся с капитаном-армянином, который предложил, чтобы арабы окружили селение, а несколько наиболее сильных из них спрятались у него в доме. Он вызывал бы своих подчиненных по одному, а сидящие в засаде хватали бы входящих. «Это звучало как отрывок из приключенческих книг, и мы с восторгом согласились».[1]

Крадучись, отряд начал продвигаться к селению через отрог, по узкой скользкой тропе, которая могла оказаться западней, если бы встретился неприятель. Поэтому Лоуренс и Назир со своими людьми вышли вперед, вглядываясь во тьму и прислушиваясь к каждому звуку. Ничто не долетало до их слуха, кроме отдаленного рокота водопада, наполнявшего своим гулом ту безнадежную ночь в прошлом ноябре. От собственной молчаливости темнота казалась еще плотнее и еще более осязаемой некая угроза, таившаяся в долинах.

Из одной долины поднимался столб белого дыма. Все остальное скрывал стелившийся от воды туман. Где-то там проходила железная дорога. Опасаясь ловушки, арабы остановились. Вскоре донесся шум паровоза, и они, успокоившись, возобновили продвижение.

Достигнув селения, окружили его и начали ждать. Время казалось неподвижным, безлунная ночь словно поглотила все звуки, а туман пропитывал одежды, вызывая дрожь. Наконец, появился шейх и шепотом сообщил, что его план рухнул, так как только что прибыл поезд с

немецкими и турецкими резервистами, отправленными Лиман фон Сандерсом для подкрепления Дераа. Маленький армянин был взят под арест за отсутствие с поста. У противника имелось множество пулеметов, и часовые бдительно охраняли все подступы.

Нури предложил провести штыковую атаку. Численность, вооружение и подготовка обеспечили бы успех. Но Лоуренс, подсчитав, во сколько жизней это обойдется, нашел цену, как обычно, слишком дорогой и решил воздержаться. Нури, немного подумав, согласился с ним. Они попрощались с шейхом, который так старался помочь, и передали своим солдатам приказ осторожно отходить, а сами, вместе с Назиром, сели в ожидании, когда те окажутся в безопасности. И здесь-то наступил самый трудный момент: слишком велико было искушение напасть на ничего не подозревающего врага, обратив его в панику и заставив стрелять вслепую в серые туманные склоны. «Одна и та же мысль пришла Назиру, Нури Саиду и мне. Мы хором выпалили ее, и тотчас каждый устыдился, что остальные были столь ребячливы. Взаимными предостережениями нам удалось сохранить свою почтенность».[2]

В Мезерибе, глубокой ночью, они решили сделать что-нибудь для возмещения потерянной возможности, и два отряда пару раз подорвали железную дорогу за Шехабом. Немцы сочли, что готовится атака. Загорелись огни, и началось прочесывание окрестностей. «Мы были рады устроить им такую же утомительную ночь, как и у нас, чтобы они тоже оказались вялыми утром».[3]

К рассвету из Тель Арара подошла оставшаяся часть войска Нури Саида. Теперь предполагалось вернуться на юг мимо Низиба, завершив таким образом круг у Дераа. Об этом Лоуренс написал Джойсу, предложив ему ожидать в Умтайе, богатом водой и пастбищами и более всего подходившем для сбора в ожидании известий от Элленби. Кроме того, находясь там, было возможно создавать угрозу линии отступления 4-й турецкой армии.

На другой день крестьяне были отправлены обратно в свои селения, а войска начали продвижение к Низибу, где предполагалось взорвать мост. В небе кружили турецкие

аэропланы, и их летчики докладывали, что силы арабов огромны – около девяти тысяч – и движутся они сразу по всем направлениям. «Для того чтобы увеличить их удивление»,[4] спустя много часов после отхода была подорвана водонапорная башня в Мезерибе. В то время немцы как раз вышли из Шехаба, направляясь к Дераа, и этот необъяснимый взрыв заставил их повернуть обратно и оставаться там в охранении до вечера.

Низиб был достигнут к четырем часам дня. Сначала арабы с кряжа, расположенного в двух тысячах ярдов от станции, произвели обстрел станционных строений и траншей, а затем атаковали редут, охранявший мост. После того как на редут были обращены все четыре орудия Пизани, охрана покинула его и скрылась за железнодорожной насыпью. Было неизвестно, осталась ли она там или присоединилась к гарнизону станции.

Несмотря на это, Лоуренс собирался отправиться к мосту с половиной своей охраны, которая должна была нести взрывчатку. «Это был прекрасный вечер, желтый, мягкий и неописуемо мирный: фон для нашей непрерывной канонады. Свет заходящего солнца падал под углом кряжей, и его легкие лучи создавали из них и их тончайших очертаний изысканную сложность планов. Затем солнце опустилось, и на поверхность легла тень, из которой на миг четко вырисовались бесчисленные кремни, рассеянные на ней, и каждая западная (отражающая) грань была отмечена пламенем, как черный алмаз».[5] Вечер был столь вдохновенным, а усталость от войны такова, что у верных сотоварищей Лоуренса сдали нервы, и они отказались идти с ним. После того как его шутки не помогли, он выбрал из них одного, юного и робкого, и тот, хотя и неохотно, последовал за ним.

Доехав до дальнего края кряжа, откуда открывался вид на мост, Лоуренс нашел там Нури, покуривавшего трубочку и подбадривавшего пулеметчиков, которые поддерживали заградительный огонь по дорогам между мостом, ближним селением и станцией. Нури предложил Лоуренсу план штурма станции, которую тот вовсе не предполагал штурмовать. Пока они совещались, турецкие

пули – перелеты и рикошеты – гудели и свистели в ясном воздухе, иногда попадая в кряж и выбивая белые облачка меловой пыли. В конце концов, было решено, что Нури прикроет продвижение Лоуренса к мосту. Лоуренс отослал своего спутника к остальным передать, чтобы те присоединялись к нему. На этот раз их удалось убедить, – когда подошли первые из них, Абдулла и Зааги, бушующие яростью оттого, что те ослушались повеления Лоуренса.

Добравшись до редута, Лоуренс обнаружил, что тот покинут. Никого не было и под арками моста. Тогда он подал Нури знак прекратить огонь.

Этот мост был семьдесят девятым в списке разрушений Лоуренса и обладал важным стратегическим значением, так как находился напротив Умтайе, выбранного как место расположения. Так что Лоуренс решил не оставлять здесь камня на камне.

Тем временем Нури отправил пехоту и стрелков ожидать на отдалении в пустыне. Отход занял час, и все это время Лоуренс со своими людьми просидел под мостом со спичками наготове, чтобы в нужный момент поджечь заряд. Наконец, Нури подал сигнал, и через полминуты, когда Лоуренс спрыгивал в укрытие, черный грохот потряс воздух. Для Лоуренса, находившегося в двадцати ярдах, взрыв был оглушителен. «Те, кто наблюдал за взрывом издалека, видели зловещую вспышку и арку моста, которая оказалась начисто срезанной, причем вся масса медленно соскользнула в долину».[6]

Перепуганный Нури отыскал Лоуренса и сообщил, что он дал свой сигнал прежде, чем узнал, что пропала часть пехоты. На поиски вызвалась провинившаяся охрана с Таллалом эль-Харейдином, тогда как Лоуренс с Нури стояли у зияющего провала бывшего моста, мерцая электрическим фонариком в качестве маяка. Спустя полчаса пропавшие были найдены.

Глава CXXIV

Назойливые посетители. – Вылазка к турецкому аэродрому. – «Не говори, что труд ничтожен...» – Беззащитность перед воздушными налетами. – «Светящаяся атака». – Недолгое возвращение Лоуренса в Азрак.

Вспомогательная операция для Элленби была завершена. Перекрытие путей сообщения в узловом пункте привело к приостановке доставки припасов и заставило Лиман фон Сандерса перебросить часть своих скудных резервов к Дераа. Особенно важным было то, что он выделил для этого немецкие части, скреплявшие его наспех собранные армии.

Между тем, Лоуренс с Назиром «утратили привычку спать».[1] Взрыв в Низибе возвестил на всю округу о пребывании арабской армии, и начался нескончаемый поток новых сторонников. Они бродили среди бивуаков, крича, «как потерянные души»,[2] в поиске командиров и, отыскав их, раболепно выражали свою покорность. «Мы находились в напряжении три дня, думая, отдавая приказы и исполняя, и теперь, на пути к отдыху, было до горечи жаль проигрывать еще и четвертую ночь за этой старой, унылой и сомнительной игрой приобретения друзей».[3]

Низкопоклонство посетителей вызвало у Назира подозрение, что где-то поблизости существует очаг недовольства. Лоуренс отправил свою охрану для выяснения положения, и вскоре стало известно, что в одном из селений царит недоверие, а также страх, что в случае отхода войск оно окажется на линии огня. Лоуренс выехал туда и застал недовольных врасплох, – когда те решали, кого отправить к туркам с мольбой о пощаде. Он поговорил с ними час о посторонних предметах и уехал, оставив их полагать, что выгоднее быть на стороне арабов.

Вернувшись к рассвету, Лоуренс едва успел уснуть, как был разбужен обстрелом: турки прислали бронепоезд с полевым орудием. Все были подняты и поспешно выступили к Умтайе. В небе появился аэроплан и начал бомбардировку, но армия рассеялась, лишив его цели.

В Умтайе ожидал Джойс и – такие же полчища сторонников из каждого хауранского племени и селения. «К усталому отвращению Назира»[4] Лоуренс оставил их на его долю и после завтрака, первого за довольно долгое время, выехал с Джунором на машинах на разведку к долине, находившейся в пяти милях, где, по всей видимости, располагался вражеский аэродром: там приземлились три самолета.

Доехав, они заглушили моторы и сползли в долину. На дальней стороне ее излучины стояли эти три самолета. Открыв глушители, Лоуренс и Джунор устремились вперед, однако наткнулись на глубокую канаву. Пока они лихорадочно искали проезд, команды завели моторы двух самолетов. Был начат их обстрел, но те успели подняться в воздух.

Третий самолет не заводился, тогда как автомобили приближались. В конце концов, команда оставила попытки и спрыгнула в укрытие, а Лоуренс с Джунором выпустили по фюзеляжу с полторы тысячи пуль и повернули обратно.

Ускользнувшие самолеты появились снова. С одного из них были сброшены с большим промахом четыре бомбы. Второй, снизившись, начал бомбить с более точным прицелом. Автомобили ползли, лишенные какой-либо защиты, а падавшие бомбы разрывались все ближе. Осколки от одной ударили в прорезь машины Лоуренса и поранили ему пальцы, а другая сорвала переднюю покрышку и едва не опрокинула машину. Тем не менее, удалось благополучно добраться до Умтайе. Эта разведка показала туркам, что их аэродром небезопасен, а Дераа находится в зоне досягаемости для автомобильной атаки. «Позднее я лежал в тени машины и спал, и все арабы в пустыне и турецкие аэропланы, что прилетали бомбить нас, не производили никакого воздействия на мой покой».[5]

В эти дни, в открытом турецким налетам Умтайе, среди вынужденной бессонницы и напряжения Лоуренс опять... читал стихи. Как поэтический дар заставляет писать в

самых неподходящих условиях, так и талант читателя, которым обладал Лоуренс, вызывал потребность в поэзии даже в наиболее трудное время. И именно такое прочтение делает слово живым, зорким и чутким – как речь близкого друга: живо то, что живо в боли.

Не говори, что труд ничтожен
И что напрасна боль усилий:
Враг не побежден, не уничтожен,
И вещи те же, что и были.

А если вера – дым, то страхи – мнимы:
Все б мглой сокрылось голубою.
Но враг уже почти настигнут,
Лишь ты один вдали от боя.

Когда волна, бессильно рушась,
Ни дюйма не приобретает,
Из да́ли чрез лоскутья суши
Вал неодолимый подступает.

И не в восточные лишь окна
Животворящий свет струится.
О, как неспешен свет с востока!
Но сзади день уже искрится.

Это стихотворение Артура Клафа (1819–1861) Лоуренс читал 19 сентября, через неделю после известия о смерти Дахума, лишившем смысла его борьбу. Но – «не говори, что труд ничтожен»: усилия не пропали понапрасну, только цель обрела иную форму. А ее достижение – день искрящийся – был уже близко.[6]

Оставаться в Умтайе являлось стратегически важным, так как отсюда открывался доступ ко всем трем железным дорогам Дераа. «Если бы мы продержались еще одну неделю, мы задушили бы турецкие армии, сколь мало ни сделал бы Элленби».[7] Однако это было опасное место. Одни регулярные войска не могли удержать его без помощи партизан, которой могло не оказаться из-за беззащитнос-

ти перед воздушными налетами. В двенадцати милях находился турецкий аэродром с эскадрильей по меньшей мере из девяти самолетов, а лагерь в Умтайе располагался на открытой местности, являя собой превосходную цель. Повторяющиеся бомбардировки уже создали сильное напряжение среди иррегулярных частей, которого те могли не выдержать и уйти.

Арабы были почти неуязвимы для наземных сил противника благодаря своей подвижности, вездесущности и неуловимости, но у них отсутствовала защита против атаки с воздуха. Имевшиеся в арабской армии два самолета погибли, и, таким образом, воздушное преимущество в арабской зоне – самой важной – отсутствовало, тогда как в зоне британской, где имелись самолеты, превосходившие по количеству и качеству турецкие, противник был вытеснен из воздушного пространства.

Спасением стало получение самолетов от Элленби. Один из них, для связи, должен был прилететь на днях в Азрак. Лоуренс решил выехать туда, собираясь совершить по пути набег на железную дорогу для поддержания инициативы. Он выбрал целью мост на 149 километре Хиджазской железной дороги, который только недавно был восстановлен.

Лоуренс намеревался осуществить подрыв со своей охраной, однако это оказалось невозможным из-за ее подавленных (и потому опасных) настроений, так как она понесла наказание от своих безжалостных руководителей за своеволие у Низиба. Поэтому он решил, что египтяне и гуркасы должны возвратиться в Акабу и по дороге произвести намеченное разрушение. Тем временем Джойсу предстояло подготовить посадочные площадки в Умтайе и в Ум эль Сурабе для ожидаемого воздушного подкрепления.

Обещав Назиру и Нури вернуться 22-го, Лоуренс на закате выехал на бронемашине, в сопровождении автомобиля Джунора, к долине, находившейся в трех милях от железной дороги, для прикрытия со стороны Мафрака. Египтяне направились прямиком к линии.

От усталости Лоуренс перестал ориентироваться на

местности, и они три часа блуждали в лабиринте долин, не находя ни железной дороги, ни египтян, ни исходного пункта. Наконец, завидев свет, они поехали на него и оказались у Мафрака. Повернув назад, они услышали шум приближающегося поезда. Бронемашины подождали и, когда поезд поравнялся с ними, начали преследование, пока вдали не грянули взрывы от заложенных Пиком тридцати зарядов. По поезду был открыт огонь из пулеметов, тогда как Джунор поливал его зловещим зеленым шквалом трассирующих пуль. Сквозь стрельбу и шум паровоза раздавались завывания турок, перепуганных этой «светящейся атакой».[8] Беспорядочно отстреливаясь, они попали в одну из машин, вызвав утечку топлива. Для ремонта потребовался час, после чего машины двинулись вперед, где зияли провалы и извивались рельсы после недавнего подрыва. Египтяне уже ушли.

Отъехав на милю, Лоуренс проспал три блаженных часа. На рассвете, когда он проснулся свежим и с возвратившимся чувством направления, машины отправились дальше, обогнали египтян и гуркасов и после полудня достигли Азрака. Там Лоуренс встретился с Фейсалом и смог, наконец, должным образом отдохнуть.

На рассвете следующего дня прибыл Джойс, собравшийся выехать в Аба эль Лиссан, чтобы помочь Зейду и Джаафару у Маана. Затем прилетел самолет из Палестины с радостными известиями о победе Элленби над 7-й и 8-й турецкими армиями. Лоуренс предупредил Фейсала, что победу Элленби стоит рассматривать как сигнал для всеобщего восстания в Сирии и час спустя был в Палестине, добравшись туда самолетом.

Глава CXXV

Разгром 7-й и 8-й турецких армий: Расположение турецких сил. – План англичан и мистификация их действий. – Атака через «прибрежный коридор» и отступление противника. – Шансы на отход последней, 4-й, армии.

Осенью 1918 года турецкие силы состояли из трех армий – 7-й и 8-й к западу от Иордана и 4-й к востоку. Удерживаемая ими линия к западу от Иордана начиналась у моря, примерно в четырнадцати милях к северу от Яффы, и вела через западную Палестину на восток, затем – на юго-восток близ Рафата, оттуда – через дорогу Наблус-Иерусалим и потом – к долине Иордана. Часть сил располагалась на прибрежной равнине, остальная – в холмах центрального хребта, то есть Эфраима и Самарии.

Согласно плану Элленби, предстояло произвести атаку позиций, расположенных на прибрежной равнине, а затем обходным движением левого фланга свернуть фронт турок, изгнав их в холмы Самарии, тогда как кавалерия должна была отрезать им путь отступления.

Британское наступление было тщательно мистифицировано, чтобы внимание противника оставалось прикованным к Иорданской долине. Ее заполняли палатки, взад и вперед разъезжали пустые грузовики, батальоны направлялись туда днем, а ночью возвращались. «Столь успешными были эти хитрости и столь полной неожиданность, что неприятельская воздушная разведка докладывала накануне атаки о том, что наблюдается необычное движение в долине Иордана и нет никакого необычного движения в прибрежном секторе. Все эти операции были триумфом секретности и организации»,[1] – подытоживал майор Лок.

Лиман фон Сандерс предполагал, что англичане могут начать масштабное наступление, и в начале сентября намеревался задержать его отходом на заднюю линию близ Галилейского озера. «Я отказался от этой идеи оттого, что нам пришлось бы оставить Хиджазскую железную дорогу, а также потому, что мы уже не смогли бы противостоять

развитию арабского восстания в тылу нашей армии».[2] Таким образом, благодаря действиям арабов турецкие силы оказались подставлены победоносному натиску англичан.

19 сентября в 4.30. из трехсот восьмидесяти пяти орудий, при поддержке с моря, был произведен ураганный обстрел прибрежных позиций неприятеля. После десяти минут бомбардировки вперед устремилась пехота, опрокинув защитников двух мелких систем окопов. Затем, тесня турок, войска двинулись вглубь страны. Остатки 8-й армии, под пулеметным огнем и бомбардировкой с воздуха, бросились к Мессудие. В 7.30. через возникшую брешь устремилась кавалерия, направляясь на север береговым коридором. Одна часть прошла до Тул Керама и оттуда – к Наблусу. К сумеркам была достигнута Анебта и перекрыто отступление крупным силам турок между Тул Керамом и Мессудие. Другая часть продвигалась дальше на север и, миновав ночью Кармель, утром вышла на Эздраелон. Захватив узловую станцию Эль Афуле, эта часть разделилась и взяла Бейсан, Назарет, где располагалась штабквартира противника, и Дженин. Лиман фон Сандерс, пребывавший, благодаря стараниям Лоуренса, в неведении о надвигающейся катастрофе, едва избежал плена. Таким образом, путь отступления был перекрыт. Возможность отхода через Иордан была уничтожена авиацией.

«К 21-му отступающие турки превратились в деморализованную толпу, бегущую к переправам через Иордан, как бежали от преследования Гедеона разбитые мадианитяне под началом Ореба и Зееба более трех тысяч лет назад, – рассказывал Лок. – Те, что бежали по дороге на север, были взяты в плен и доставлены нашей кавалерией в Дженин. Те, что бежали на восток, через Вади Фара, надеясь достичь до сих пор открытого брода в Джиср эд-Дамие, встретили еще более жестокую участь. Этот путь вел вниз по крутому и узкому ущелью, над которым возвышались высоты, находящиеся к востоку от Наблуса. Бригада 10-й дивизии была направлена туда форсированным маршем и заняла эти высоты, эффективно закрыв

ловушку. Наши летчики уже взяли под контроль ситуацию на этом участке, и вскоре дорога превратилась в настоящее побоище. Противник был загнан пехотой в это бутылочное горло, а летчики, снизившись до двухсот футов и производя бомбардировку головы колонны, скоро сделали дорогу непроходимой. Закончив, они начали кружить над бредущей колонной, беспрепятственно бомбя ее и обстреливая из пулеметов. Казалось, гадкие турки были, наконец, преданы возмездию в этой Долине Смерти. ...

22-го наша кавалерия двинулась вверх по долине Иордана и заняла переправу в Джиср эд-Дамие, чем лишила неприятеля последней возможности бегства. Турки сдавались тысячами. Они выглядели слабыми и изнуренными: им часто приходилось бежать по опаленной земле под обжигающим солнцем, не имея ни капли воды. Их положение было достойно жалости. К тому вечеру турецкие армии к западу от Иордана перестали существовать».[3]

Оставалась только 4-я армия, к востоку от Иордана. На ее пути отступления находились разрушенная железная дорога и арабы, чьи «булавочные уколы» быстро изматывали ее. Она еще имела возможность для отступления, но ее отвлекал отряд Чейтора, состоявший из конной дивизии, подкрепленной несколькими батальонами пехоты. Кроме того, ее отход задерживался из-за медленности получения известий и желания подождать 2-й корпус, который в данное время отступал от Маана и постов Хиджазской железной дороги, расположенных к северу от него. Таким образом, 4-я армия не начинала отступления до 22-го. В тот день 2-й корпус был еще на расстоянии многих миль от Аммана, так как его продвижение затрудняли бедуины Хорнби, а отряд Чейтора направлялся на его перехват. Шансы 4-й армии на отступление зависели от того, сможет ли она преодолеть арабов и достичь Дамаска до того момента, как кавалерия Элленби подоспеет к ним на помощь. Из-за разрушения железной дороги турки были вынуждены двигаться в походном порядке, а арабы на несколько дней оказывались в трудном положении стратегического клина между предместьями Дераа и отступающей армией.

Глава CXXVI

Лоуренс в штабквартире. – Дальнейшие намерения Элленби. – Беззаконность удобства. – Воздушное подкрепление для арабов. – Завтрак между налетов. – «Самый большой самолет». – Очередное разрушение на железной дороге.

В Рамле Лоуренс пересел в машину и прибыл в штабквартиру, где нашел совершенно спокойного Элленби, который был столь уверен в успехе перед началом наступления, что теперь, когда его план осуществился во всех деталях, внешне казался едва ли не равнодушным к итогу, и лишь некоторое сияние в глазах выдавало внутреннюю радость.

Элленби ознакомил Лоуренса со своими дальнейшими намерениями. Следующими целями являлись Бейрут и Дамаск. Что касалось взятия последнего, то намечалось наступление по трем направлениям через Иордан. Австралийская конная дивизия Шовеля при поддержке 5-й кавалерийской дивизии должна была выступить на Дамаск через Кунейтру; 4-ой кавалерийской дивизии Бэрроу следовало нанести удар к востоку от Дераа, чтобы помочь арабам отрезать путь отступления 4-й армии, а после направиться к Дамаску; новозеландским частям Чейтора предстояло выступить на Амман, чтобы также преградить туркам отход. Чейтору надлежало оставаться в Аммане, тогда как Шовель и Бэрроу должны были общим движением устремиться на Дамаск.

Арабы должны были оказать помощь в проведении этих операций. Элленби предостерегал Лоуренса от попытки самостоятельного наступления на Дамаск до прибытия британских войск. Напрасно: именно стремление войти в историческую столицу первыми будет владеть Лоуренсом в заключительные дни восстания. Это стало бы триумфом арабов, но прежде всего – возможностью создать то непререкаемое положение вещей, что, по убеждению нашего наивного гения, должно было обеспечить справедливость в отношении к ним после войны.

Лоуренс рассказал Элленби о беззащитности арабов

против воздушных налетов. Тот немедленно вызвал Сальмонда и Бортона и договорился с ними об отправке в Умтайе двух истребителей «Бристоль». «Совершенство этого человека, который мог использовать пехоту и кавалерию, артиллерию и авиацию, морские силы и бронемашины, хитрости и иррегулярные войска, и все – наилучшим образом!»[1] – восхищался Лоуренс.

В Умтайе отсутствовало горючее, но Сальмонд и Бортон проявили изобретательность, разработав план использования нового большого бомбардировщика «Хэндли-Пейдж» в качестве авиатранспорта. Было решено, что на следующий день летчик Росс Смит вместе с Лоуренсом вылетит на «Бристоле», чтобы убедиться в наличии подходящей посадочный площадки. Пока же Лоуренс мог отдыхать. Штабквартира была приятным местом – прохладным, чистым, защищенным от мух и наполненным умиротворяющим шелестом листвы, доносившимся снаружи, – местом, столь отличным от условий существования арабов – в открытой пустыне, под турецкими бомбардировками. Из-за этого Лоуренс чувствовал себя неудобно: «Я считал для себя аморальным наслаждаться белыми скатертями, кофе и денщиками в то время, как наши люди в Умтайе лежали, как ящерицы, среди камней, питаясь пресным хлебом и ожидая следующего самолета, что сбросит на них бомбу».[2] Даже зелень вызывала беспокойство, производя впечатление излишества после пустынных пространств.

Он тревожился и томился, будучи изнуренным телесно и духовно. Если бы он мог, то поддался бы желанию избежать дальнейшего усилия. Но он без колебаний продолжал приносить себя в жертву на алтарь своего храма свободы, полностью отдаваясь делу во имя Дахума – ему самому. И с той же вдохновенной устремленностью, с которой готовил для него свой дар, теперь создавал ему памятник.

К рассвету 22-го воздушные подкрепления вылетели из Палестины и через час были в Умтайе. Как оказалось,

армия покинула это место, переместившись в Ум эль Сураб, расположенный в нескольких милях. Там Нури Саид и Юнг уже подготовили посадочную площадку. Юнг рассказал, что в последние два дня армия подверглась бомбардировкам, в результате которых погибли несколько солдат регулярных войск и несколько стрелков Пизани, что и заставило покинуть Умтайе. Известия же о победах Элленби воодушевили арабов – равно, как и сияющие аэропланы.

Налеты, между тем, продолжались. Вскоре после возвращения Лоуренса, когда он с сотоварищами собрался было приступить к завтраку, часовой возвестил о появлении вражеской авиации – двухместного аэроплана и трех разведчиков. Тотчас в воздух были подняты самолеты, и через пять минут пулеметного обстрела неприятельский аэроплан был сбит.

Попытка завтрака повторилась, – как повторилась и тревога часового. И этот самолет был подбит. «Росс Смит желал бы остаться навсегда на этом арабском фронте, где враг появляется каждые полчаса»,[3] но был вынужден вернуться в Палестину. А Лоуренс вылетел в Азрак к Фейсалу и увиделся с ним всего через тридцать часов после расставания.

Лоуренс направил гуркасов и египтян для произведения разрушений на севере и вместе с Фейсалом и Нури Шааланом выехал на зеленом «Вокс-Холле» в Ум эль Сураб, где ожидалось возвращение «Хэндли-Пейджа» с горючим. По пути им встретился старик-бедуин, который бежал так, что его одеяние, седые волосы и борода развевались на ветру. Поравнявшись с машиной, он поднял сухую руку и крикнул: «Самый большой самолет в мире!» – и поспешил дальше, чтобы сообщить новость местным жителям.

«В Ум эль Сурабе “Хэндли” величественно возвышался на траве, а под его крыльями ютились, как птенцы, “Бристоли” и “9.А.” Вокруг стояли восхищенные арабы. Они говорили: “Наконец-то нам прислали настоящий самолет! А эти были его жеребятами”».[4] В те времена «Хэндли-Пейдж» выглядел гигантским самолетом: с размахом

крыльев более тридцати метров, длиной около двадцати и высотой шесть метров. Он мог подниматься на высоту в две тысячи пятьсот метров и летать со скоростью 156 километров в час.

В сумерках «Хэндли-Пейдж» вылетел в Рамле, чтобы произвести ночную бомбардировку Дераа и завершить, таким образом, разрушение железнодорожного сообщения.

Арабам предстояло продолжить подрывы, а после того, как Чейтор изгонит 4-ю армию из Аммана, отрезать ей путь к отступлению, которое могло начаться в ближайшие дни. Кроме того, следовало поднять восстание на равнинах к северу до Дамаска. Фейсал решил добавить к армии руалл из Азрака, что увеличило бы силы до четырех тысяч, из которых более трех четвертей составляли партизаны, но для осуществления намерения было необходимо согласие Нури Шаалана, не знавшего иных доводов, кроме собственного желания.

На следующий день, пока Лоуренс отдыхал в шатре Назира, Нури Саид, Пизани, Стерлинг, Уинтертон и Юнг с бронемашинами, двумя орудиями и значительными силами разрушили километр железной дороги и сожгли деревянные конструкции, которыми турки заменили мост, взорванный Лоуренсом и Джойсом перед первой атакой на Дераа. И в этом набеге Нури Шаалан сам вел своих руалл, которые проявили под его руководством такую доблесть, что заслужили похвалу даже от Нури Саида.

Глава CXXVII

Разведка у Мафрака. – Бегство 4-й армии. – Решение Лоуренса перейти в Шейх Саад. – Столкновение с одним из остатков 4-й армии. – Новое противостояние Лоуренса и Юнга. – Последнее разрушение железной дороги. – О внутренних разногласиях в арабской армии. – Остановка арабской армии в Шейх Сааде и увеличение сил. – Приближение к арабам двух турецких колонн.

Турки отказались от попытки восстановить железную дорогу между Амманом и Дераа, однако Лоуренс этого не знал и отправился с Уинтертоном на машине разведывать линию к югу от Мафрака. Там они были встречены яростным пулеметным огнем. Отступив от станции, они направились дальше, намереваясь взорвать мост. Однако это не удалось, так как кто-то бросил в машину из-за насыпи ручную гранату. Было решено повторить попытку с наступлением темноты, но по возвращении в Ум эль Сураб Лоуренс узнал, что Назир собирается снова перейти в Умтайе, и атака на железную дорогу так и не была произведена.

В полночь «Хэндли-Пейдж» совершил налет на станцию Мафрак и сбросил столь много стофунтовых бомб, что товарные вагоны, стоявшие на запасных путях, горели всю ночь и следующий день, как погребальные костры терпящему поражение врагу.

4-я армия бежала от Аммана. До 25-го числа ее тыловые части, жертвуя собой, оказывали сопротивление Чейтору. Последние поезда вышли из Аммана за несколько часов до того, как англичане заняли город, но вскоре были вынуждены остановиться перед разрушениями, которые произвели арабы, и туркам пришлось сойти. Лишь первые отправления достигли Дамаска, меняя поезда, остальные же брели беспорядочной толпой.

Лоуренс знал об этом по слухам и считал, что действия против 4-й армии закончены, а те остатки, которые избегут возмездия арабов, доберутся до Дераа как безоружные бродяги. В том, что до Дераа дойдут лишь безоружные солдаты, он ошибался, но стратегически его предположе-

ние было правильным, поскольку к тому моменту разложение в армии зашло уже далеко.

Теперь было необходимо добиться быстрой эвакуации Дераа, чтобы помешать туркам сформировать оставшиеся силы в тыловое охранение. Лоуренс предложил выступить следующим утром на север, мимо Тель Арара и за железную дорогу, к селению Шейх Саад, расположенному в десяти милях от Мезериба. Этот пункт находился в знакомой местности, обладал достаточными запасами воды и предоставлял возможность наблюдения, а также отступления в случае прямой атаки – к северу, западу и юго-западу. Заняв селение, было можно отрезать Дераа от Дамаска и от Мезериба. Назир, Нури Саид, Таллал и Нури Шаалан приняли план Лоуренса. Бронемашины было решено оставить в Азраке до падения Дераа, когда они понадобились бы, чтобы добраться до Дамаска. Аэропланы, выполнившие свою задачу, могли возвратиться в Палестину.

Однако вскоре после того, как самолеты вылетели, один из них вернулся и сбросил записку, в которой говорилось, что значительные силы турецкой кавалерии направляются прямо на расположение арабов. Это являлось неприятным известием, так как войска не были готовы к бою: часть пехоты ушла, машины уехали, самолеты улетели. Лоуренс с Назиром и Нури Саидом поколебались, не зная, что лучше – оставаться или уходить. В конце концов, они решили уйти и заторопились отвести регулярные части, тогда как иррегулярные на лошадях были высланы вперед, чтобы задержать противника. Последние нашли неожиданного союзника – машины, направлявшиеся в Азрак. Приближавшиеся турецкие части оказались не боеспособной силой, но рассеянными беглецами, искавшими кратчайшей дороги домой. Было взято в плен несколько сотен человек и захвачено немало транспорта. Слухи об этом вызвали страшную панику среди остальных отступающих, и они устремились к Дераа, бросая все, даже винтовки.

Остановка задержала выступление и породила у некоторых сомнения в его безопасности. Вечером Юнг доказывал, что это «было предупреждением против возмож-

ности беспрепятственного перехода через железную дорогу». Кроме того, по его словам, арабы уже сделали достаточно и теперь могут отойти в Босру, на двадцать миль к востоку, где собирались друзы под руководством Незиба эль Бекри, чтобы оказать помощь арабам, и подождать, пока британцы займут Дераа. Для Лоуренса его заявление прозвучало дико: «Если бы мы отошли к Джебель Друз, мы закончили бы нашу действительную службу прежде, чем игра была бы выиграна, и оставили бы нанесение решающего удара для Элленби. Я очень ревниво относился к чести арабов, на службе у которых я должен был идти вперед любой ценой. Они вступили в войну, чтобы завоевать свободу, и освобождение их старинной столицы их собственными силами стало бы знаком, который они поняли бы лучше всего».[1]

Находясь в Шейх Сааде, арабы могли оказать большее давление на турок, чем любые британские силы, и, таким образом, лишить их возможности сражаться за Дамаск. «Дамаск означал конец этой войны на Востоке и, как я считал, конец войны вообще, поскольку Центральные Державы были взаимозависимы, и разрушение их слабейшего звена – Турции – разорвало бы всю цепь. Поэтому из-за каждой имеющей смысл причины – стратегической, тактической, политической, даже моральной – мы должны были продолжать».[2]

Естественно, Юнг не мог понимать этих вещей так же, как Лоуренс, и упорствовал. Он привел Пизани и Уинтертона и принялся отстаивать свою точку зрения, расчитывая ввести в дискуссию и Нури Саида, который дремал на соседнем с Лоуренсом ковре. Юнг подчеркивал тактический риск продвижения поперек пути турецкой армии, находившейся столь близко. «Джойс, говорил он, назначил его военным советником для экспедиции, и его долгом было указать, с неохотой, что как офицер регулярной армии он знает свое дело. Если бы я был офицером регулярной армии, я нашел бы иррегулярным то, что он будоражит других. Как бы то ни было, я выдержал его сетования, терпеливо вздыхая всякий раз, когда это, по моему мнению, должно было раздражить протестующего. Под

конец я рассеянно произнес, что хочу спать, а нам надо рано вставать, чтобы перейти линию».[3] Пизани, который за свою долгую военную службу являлся подчиненным, вежливо сказал, что он последует данным ему приказам. Уинтертон тоже не спорил. Что же касается Нури Саида, то во время всего разговора он молча лежал, делая вид, что спит, но, когда Юнг удалился, подкатился к Лоуренсу и шепнул: «Это правда?» Лоуренс подтвердил, что не видит никакой опасности в намеченном переходе. Нури успокоился.

Отряд выступил, как Лоуренс и намечал. В сумерках их нагнали Назир, Нури Шаалан и Таллал. По дороге присоединялись новые сторонники. «Когда мы двигались столь сплоченно в золотом солнечном свете, мы получали редкую возможность видеть себя как единое целое, и скоро стали одним явлением, одним организмом, чем каждый из нас гордился».[4] Достигнув железной дороги, которая накануне как раз была восстановлена, они произвели значительные разрушения, следуя каждый своей фантазии. С этого времени линия оставалась недействующей, а последние шесть поездов оказались загнанными в Дераа и позднее перешли во власть арабов.

Отсутствие сопротивления побудило Лоуренса расширить план. Силы были разделены: Таллал должен был атаковать Эзраа на севере, Ауда – Кирбет эль Газала на юге, Нури Шаалану следовало отправиться в сторону Дераа в расчете напасть на турецкие части. Остальные же продолжили переход.

На ночь, безлунную и холодную, как черная яма, остановились у Шейх Мискина. Шейх Саада достигли на рассвете 27-го. Как оказалось, там стояли шатры врага Нури Шаалана. Это грозило бы неприятностями, но, к счастью, хозяин отсутствовал. Межплеменная вражда на протяжении всего восстания являлась серьезной помехой. Каково было воевать, когда угроза исходила из глубин самой армии, готовой в любой подходящий момент разделиться на противостоящие лагеря? «Мы имели в своих рядах сотни

смертельных врагов, чью вражду едва замирил Фейсал. Усилие сохранять их в действии и использовать их горячие головы в раздельных областях, уравновешивая случай и службу так, чтобы наше направление было выше всякой ревности, – все это было достаточно скверно. Ведение войны во Франции было бы тяжелее, если бы каждая дивизия, почти что каждая бригада нашей армии ненавидела бы другие смертельной ненавистью и сражалась бы с ними при неожиданной встрече».[5]

Поддерживать мир, улаживать возникавшие разногласия и распределять задания так, чтобы не сталкивать одни племена с другими, – эта тяжесть лежала на командирах, которые по своему происхождению были выше всяких раздоров: Назир, Лоуренс, но прежде всего, конечно, Фейсал, дух объединяющий. Как некогда племена Аравии стали едины благодаря проповеди Мухаммада, открывшего людям истинный свет, так теперь потомок великого Пророка своим вдохновенным словом соединил непризнававшие друг друга племена в одну силу, устремившуюся к своей древней столице, символу былого арабского могущества и новой свободы.

Но единение могло возникнуть только в пути. Испокон веков арабы не были и не могли быть единосущны. Многообразные племена, рассеянные по безжизненной пустыне, оказывались вынужденными вступать в борьбу за существование не только с труднейшими условиями, но и подчас друг с другом, отвоевывая пастбища, источники, место для себя. Однако эта борьба имела свои законы. Как уже говорилось, женщины и дети, а также имущество, которое нельзя было забрать, являлись неприкосновенными. Насколько эти враждовавшие «дикари» оказывались человечнее «цивилизованных» европейцев!..

Так сами условия жизни разделили народ, который только в крайних ситуациях осознавал свое трансцендентальное единство, заключавшееся, как в священном ковчеге, в общих языке и религии.

Утром вернулись отряды, нагруженные добычей. Эз-

раа, удерживаемый Абд эль Кадером, быстро пал под натиском Таллала; Ауда взял эль Газалу штурмом, захватив винтовки и двести пленных; Нури Шаалан доложил о четырехстах пленных, а также мулах и пулеметах.

С одного британского аэроплана было сброшено сообщение, что Болгария капитулировала. Эта новость не имела особой важности для арабов, но, тем не менее, стала знаком того, что конец мирового неистовства и их собственной борьбы приближается. «Одно напряженное усилие, – и наше испытание закончится, и каждый вернется к своим делам, забыв это безумие. Для большинства из нас это была первая война, и мы ожидали ее конца как отдохновения и мира».[6]

Армия расположилась под деревьями, с которых слетали вспугнутые птицы, и это роскошество зелени, цветов и фруктов казалось странным после долгого пути через пустыню. Население Шейх Саада с робостью приходило взглянуть на легендарную армию Фейсала, которую вели «славные или устрашающие герои – Таллал, Назир, Нури, Ауда».[7] А воины, в свою очередь, с тайной завистью смотрели на их крестьянскую жизнь.

Лоуренс вместе с несколькими людьми выбрал наблюдательную позицию, чтобы обозреть окрестности и убедиться в безопасности. К своему удивлению, они увидели небольшую группу солдат – турок, австрийцев и немцев, с восемью пулеметами, погруженными на мулов. Они продвигались от Галилеи в сторону Дамаска после поражения, нанесенного им Элленби, и были уверены, что здесь им ничто не угрожает. Чтобы не тревожить усталую армию, тревога не была поднята, только небольшой отряд отправился навстречу противнику. Офицеры оказали сопротивление и были убиты, а рядовые сдались.

Вскоре была замечена другая группа, и к ней направились ховейтаты. Вернулись они с мулами и вьючными лошадьми, столь замученными, что являли собой всю жалость разгромленного неприятеля. Пленных не взяли из презрения. Заал усмехался: «Мы отдали их в слуги мальчишкам и девчонкам этого селения».

Между тем, силы все увеличивались. «Массовый

подъем, который мы столь долго готовили, шел теперь потоком, поднимаясь все выше по мере того, как очередной успех вооружал все больше мятежников. За два дня у нас могло быть шестьдесят тысяч вооруженных людей на марше».[8]

Наступление на Шейх Саад произвело должное воздействие, и турки отдали приказ об эвакуации Дераа, причем сожгли имевшиеся там шесть самолетов, лишив себя последней возможности видеть расположение противника.

Еще один британский аэроплан сбросил известие о том, что войска Бэрроу находятся близ Ремты, а две турецкие колонны, одна в две тысячи человек, другая в четыре, отступают в сторону арабов из Дераа и Мезериба соответственно. Лоуренс считал, что эти шесть тысяч – все, что осталось от 4-й армии из Дераа и от 7-й, которая противодействовала продвижению Бэрроу. На помощь арабам должна была подоспеть британская 4-я кавалерийская бригада, однако она не появлялась. Как оказалось, она, находясь на Иордане, до утра 26-го не начинала похода в восточном направлении. Головная бригада получила приказ достигнуть Ирбида и, если возможно, соединиться с арабами в ту же ночь. Но, дойдя до селения, она наткнулась на тыловое охранение и после боя была вынуждена задержаться из-за отсутствия разведки и излишней самоуверенности. Это вызвало уже излишнюю осторожность, и на другой день бригада двигалась очень медленно, а после полудня остановилась вовсе. Таким образом, была упущена возможность обойти 4-ю армию, вышедшую из Дераа за день до прибытия бригады.

Глава CXXVIII

Тафас, 27 сентября 1918 года

Большую колонну было решено пропустить, отправив к ней Калида с руаллами и крестьянами, чтобы ускорить ее прохождение, а меньшую – встретить с половиной регулярных войск и двумя орудиями Пизани.

Путь второй колонны пролегал через Тафас, селение Таллала, и он в тревоге поспешно устремился туда, чтобы занять кряж к югу от селения. Туда же выехал и Лоуренс со своей охраной, надеясь задержать противника до того, как на помощь прибудут регулярные части. По дороге ему встретились арабы, гнавшие группу оборванных турок в сторону Шейх Саада. От этих арабов он узнал, что турецкая колонна входит в Тафас.

Когда он подъехал к селению, он увидел, что оно уже занято, а неприятель расположился вокруг. Меж домов поднимался дым, а в стороне стояли, по колено в чертополохе, старики, женщины и дети, единственные выжившие. Турки вторглись сюда всего час назад.

Лоуренс со своим отрядом занял наблюдательную позицию, откуда заметил, что турки выходят в боевом порядке по направлению к Мискину. Когда они оказались за околицей, по ним был открыт огонь. Те ответили из двух полевых орудий, но их шрапнель прошла с перелетом.

Прибыли Нури Саид, Пизани, Ауда и полуобезумевший Таллал, услышавший об учиненных зверствах. Последние турки покидали селение, и Лоуренс с частью арабов отправился туда, тогда как пехота, заняв позиции, открыла по неприятелю огонь, а Пизани выставил полевую батарею, повергнувшую арьергард в смятение.

Над замолчавшим селением тихо струился белый дым. «Несколько серых куч словно прятались в высокой траве, обнимая землю. Мы отводили от них взгляд, зная, что они мертвы; но от одной из них отделилась, покачиваясь, маленькая фигурка, будто пытаясь скрыться от нас. То была девочка трех-четырех лет, чье грязное

платьице было запятнано красным на плече и боку кровью из широкой полуволокнистой раны, – вероятно, от удара штыком, как раз там, где соединяются шея и тело. Ребенок пробежал несколько шагов, затем остановился и крикнул нам с поразительной силой (все было очень тихим): “Не трогай меня, Баба!” Абд эль Азиз, что-то прохрипев (это было его селение, и ребенок мог быть из его семьи) – бросился с верблюда и опустился на колени рядом с девочкой. Его внезапность испугала ее, ибо она вскинула руки и попыталась закричать, но вместо этого упала маленьким комочком, тогда как кровь вновь хлынула на ее одежду. Потом она, думаю, умерла.

Мы проехали мимо других тел мужчин и женщин и еще четырех мертвых малышей, выглядевших очень нечистыми в свете дня, в сторону селения, одиночество которого, как мы теперь знали, означало смерть и ужас. На окраине находились низкие глиняные стены – загоны для овец, – и на одной из них нечто красно-белое. Я присмотрелся и увидел тело женщины, распластанное через стену, нижней часть кверху, пригвожденное штыком, рукоятка которого отвратительно высилась между ее обнаженных ног. Она была беременна; а вокруг нее лежали другие, около двадцати, убитые по-разному, но выставленные со всем неприличием».[1] У Зааги, из охраны Лоуренса, сдали нервы, и он разразился диким смехом, жутко прозвучавший среди этой картины чудовищной смерти, над которой сиял ясный и теплый солнечный свет, мучительный в своей чистоте.

Милосердия к врагу теперь быть не могло. Лоуренс повернул вслед за удалявшимися турками, по пути расстреливая отставших. Один из них сидел на обочине и плакал, моля о пощаде. «Абдулла отвернул своего верблюда, но Зааги, с проклятиями, проехал наперерез и выпустил три пули из автоматической винтовки в голую грудь этого человека».[2]

То же самое открылось взору Таллала. Застонав, он выехал на возвышенность и сидел там на коне, помертвевший и в дрожи. Для Лоуренса ужас от страшной смерти, зиявшей на смолкших, как остановившееся сердце, зали-

тых солнцем и кровью улицах Тафаса, стал бы не столь невыносимым, если бы не сосредоточился в последнем одиночестве его товарища, потерявшего все и увидевшего свою потерю. И Лоуренс – один порыв сострадания – устремился к нему, чтобы спасти, – в ненужном, бесполезном движении. Ауда перехватил его поводья. Остановленный, он замер в ожидании некоего разряда, который, как раскат грома, должен был разорвать этот воздух удушья. И он наступил. Таллал медленно натянул на лицо край куфии и, словно очнувшись, пришпорил коня и бросился в самую гущу врага – вниз по склону и через равнину, выразив в своем гибельном порыве не только трагедию Тафаса, но и войны как таковой – всегда бессмысленного умерщвления, несущего не славу, не приобретение, но только безмерное горе потери.

Стрельба прекратилась с обеих сторон, и наступила глубокая тишина, в которой гулко, как под сводом склепа, раздавались топот копыт мчавшегося коня. Лоуренс с арабами застыли, следя за удалявшейся в вечность фигуркой всадника, и стучало, стучало сердце – в пространстве смерти живое от боли другого. Наконец, тот приподнялся в седле и прогремел свой военный клич: «Таллал, Таллал!» Тотчас заговорили вражеские винтовки и пулеметы, и конь его рухнул, как подкошенный. Оцепение арабов спало. Ауда, спокойный и мрачный, проговорил: «Да будет Бог к нему милостив. Мы возьмем его цену», – и неспешно поехал вниз. Остальные устремились за ним, ставшим неизбежным вождем.

Ауда загнал турок на плохую местность и разделил их колонну на три части, самую малую из которых составляли немецкие и австрийские пулеметчики. Они сопротивлялись с такой стойкостью, что вновь и вновь отклоняли неистовый натиск арабов, которых жажда возмездия охватила, будто судорога, так, что руки едва повиновались им.

Лоуренс, обезумев от беспомощности перед бедой, в первый и последний раз за всю войну отдал приказ пленных не брать – в отчаянной попытке сполна взять цену Таллала и искупить мученические смерти. Развороченная гнусность ударила, как смрад людских отбросов, едва ли

заслуживающих того, чтобы называться противником, а боль арабов прошла его душу, сделав его единым с ними – как, пожалуй, еще никогда.

Так и не справившись с упорной частью, арабы устремились на две остальные, которыми владела паника. «В безумии, порожденном ужасом Тафаса, мы убивали и убивали, даже стреляя в головы павших и животных, как если бы их смерть и льющаяся кровь могли утолить нашу муку».[3] Убивали как будто самое зло, стремясь начисто искоренить его, остановить всякое движение мятущейся толпы, как язвы ползущей. Это было не жестокостью, но неимоверным взрывом накопленного за войну страдания и – сострадания тем невинно убиенным и погибшему товарищу. К сумеркам равнина оказалась усеянной трупами, и только немногие из турок смогли уцелеть.

Некоторые из арабов не слышали приказа и взяли двести пленных. Лоуренс готов было сохранить им жизнь, – чтобы помнили о расплате за Таллала и его селение. В это время один человек, лежавший на земле, что крикнул арабам, и те, побледневшие, подвели Лоуренса посмотреть. То был один из арабов, с бедром перебитым так, что земля вокруг была красна. Однако турки не обошли и его и распяли, пригвоздив штыками через плечо и другую ногу. Несчастный был в полном сознании. «Хассан, кто сделал это?» – спросили его, и он указал глазами на сбившихся в кучу потерянных турок.

Когда огонь по ним прекратился, раненый был уже мертв. «Мы снова сели в седло и медленно поехали домой (дом был моим ковром в трех-четырех часах от нас в Шейх Сааде) в тяжелых сумерках, бывшими столь знобящими теперь, когда солнце село. Как бы то ни было, с ранами, болью и изнеможением я не мог перестать думать о Таллале, великолепном вожде, прекрасном наезднике, обходительном и сильном попутчике...»[4] Не имея покоя, Лоуренс пересел на другого верблюда и с одним человеком из охраны отправился к арабам, преследовавшим в ночи другую колонну.

В непроглядной тьме, как в яме вырванного мира, свистел ледяной ветер. Только по вспышкам залпов Лоу-

ренс смог определить, где происходит бой. Разбитые турки брели через поля и долины, гонимые арабами, которых становилось все больше, потому что каждое расположенное на пути селение присоединялось к преследованию. Противопоставлением рассеившимся и перепуганным туркам были немецкие подразделения. «Здесь, в первый раз я почувствовал гордость за врага, который убил моих братьев. Они находились за две тысячи миль от дома, без надежды и без проводников, в условиях достаточно безумных, чтобы сломить храбрейшую душу. Но при этом их части держались вместе, в твердых рядах, лавируя через сумятицу турок и арабов, как броненосцы, с поднятой головой и молча. Будучи атакованными, они спешивались, занимали позиции, стреляли по приказу. Не было ни спешки, ни криков, ни колебаний. Они были превосходны».[5]

Лоуренс нашел Калида и попросил отозвать руалл и оставить беглецов на волю времени и крестьян. Более серьезное дело было на юге. По слухам, Дераа было покинуто, и Трад, брат Калида, направлялся туда. Лоуренс опасался, что он может столкнуться с турками, и желал, чтобы Калид оказал тому помощь. Калид за час-два собрал сотни всадников на лошадях и верблюдах и выехал к Дераа, встречая по дороге отдельные группы турок.

Как оказалось, Трад в сумерках стремительным налетом взял станцию и был вне опасности. Руаллы «с помощью местных жителей» принялись грабить турецкий лагерь, рискуя собой под горящими крышами складов.

Шейх Саад шумел весь вечер, и, так как вожди преследовали неприятеля, тяжелая задача сохранения спокойствия досталась Назиру, Нури Саиду, Уинтертону и Юнгу. Лоуренс прибыл после полуночи. Поступили известия о занятии Дераа, и Назир выехал туда, а около двух часов ночи за ним последовал и Лоуренс, уже на третьем верблюде, вместе с Нури Саидом и его людьми. «Я хотел спать, ибо это была моя четвертая ночь разъездов, но мой разум обычно не позволял мне чувствовать, насколько усталым было тело».[6]

Лоуренса подавила смерть Дахума, но он, обретя иную цель и находясь рядом с приятными ему людьми, еще мог сохранять горе в себе. Мученичество же убиенных в Тафасе, сосредоточенное в агонии его товарища, оказалось для него прорывом накопленной боли: страдание другого сделало ее невыносимой. Свое терпел, «чужое» не смог, и катарсисом оказался его сокрушительный порыв во искуплении муки друга. Соединившись с арабами в судороге отчаяния, бессильного сострадания и порожденной им ненависти к источнику зла, он стал сполна одним из них. Страдающие – вот, кто был его народом. Сострадание являлось константой сущности Лоуренса. Вспомните, как он в потрясении от боя укладывал трупы врагов, чтобы им было удобно, или как едва не разбился на мотоцикле, резко свернув, чтобы спасти птицу. Что же он мог ощутить, увидев, как расправились турки с жителями этого селения, и осознав то, что охватило Таллала? Что он вообще ощущал в кровавом месиве войны после готических соборов, поэзии, музыки Бетховена и благодати любви – он, чувствительный и нежный?

В кровавом сгущающемся мраке общего нервного срыва, вызванного жестокостью, Лоуренс был един с арабами, слившись с ними в одну силу неимоверной боли, не находившей упокоения: боли вновь и вновь распинаемого Человека.

Глава CXXIX

Во взятом Дераа: стремление Лоуренса сохранить его во власти арабов. – Регулярное подобострастие и иррегулярная свобода. – Все позади. – К Дамаску.

Вскоре нетерпение заставило Лоуренса пустить верблюда самым быстрым шагом, так что на рассвете, 28-го, он въехал в Дераа один. Назир находился в доме губернатора и налаживал управление, подготавливая распоряжения для губернатора и полиции. Лоуренс дополнил его

идеи, установив охрану колодцев, навесов для машин и складов: он спешил устроить все, чтобы к приходу англичан Дераа находилось во власти арабов. Затем он публично представил свою программу удержания города – к немалому изумлению Назира. Между тем, головные части английских войск уже приближались к Дераа и, не зная, что оно уже взято, собирались его атаковать. Для того чтобы это предотвратить, Лоуренс с Зааги выехали к холму, на вершине которого индийские пулеметчики заняли позицию. Завидев приближающихся «врагов», индусы навели на них свои орудия, «гордясь такими великолепно одетыми призами».[1] На счастье «добычи», появился один из офицеров с несколькими британскими солдатами, и Лоуренс представился им. Как выяснилось, их аэропланы совершили налет на незадачливого Нури Саида, когда он вступал на станцию. «Это было для него наказанием за то, что он отстал от меня на пути из Шейх Саада»,[2] – сделал Лоуренс про себя шутливый вывод и поспешил к генералу Бэрроу, чтобы остановить готовящийся штурм.

Он рассказал Бэрроу, что арабы провели в городе всю ночь, а стрельба, которую тот слышал, являлась выражением радости. Генерал был немногословен. «Он велел мне ехать рядом, но его лошади сторонились моего верблюда, так что генштаб пробирался по обочине, тогда как я скромно вышагивал по середине дороги. Он сказал, что он должен разместить часовых в поселении, чтобы сохранять среди жителей порядок. Я мягко объяснил, что арабы уже назначили своего военного губернатора. На колодцах, сказал он, его саперы должны осмотреть насосы. Я ответил, что их помощь приветствуется. Мы уже разожгли печи и собирались начать через час поить его лошадей. Он фыркнул, что мы, кажется, чувствуем себя как дома, тогда он займется только железнодорожной станцией. Я указал на паровоз, выходивший в сторону Мезериба (где наш маленький шейх не позволил туркам взорвать мост в Тель эль Шехабе, ставший теперь собственностью арабов), и попросил, чтобы его часовым было дано предписание не вмешиваться в нашу собственную работу линии».[3]

Бэрроу не было дано никаких распоряжений относи-

тельно статуса арабов. Однако было мнение Клейтона о том, что арабы заслуживают того, что завоевывают. Так что Бэрроу ничего не оставалось, как смириться со своим положением гостя. «Моя голова в эти минуты работала на полной скорости в отношении нашего совместного поведения, чтобы предотвратить те фатальные первые шаги, которыми не обладающие воображением британцы из самых лучших побуждений обычно лишают туземцев дисциплины ответственности и создают ситуацию, что требует для ее исправления лет агитации, последовательных реформ и народных выступлений».[4] Зная природу Бэрроу, Лоуренс без труда заставил его признать свою правоту.

На площади Лоуренс указал ему на шелковый вымпел Назира, свешивавшийся с балкона закопченного дома губернатора, и тот исправно отсалютовал знамени, тогда как «трепет удовольствия от комплимента генерала пробежал среди арабских офицеров и солдат».[5]

Новости о взятии Дераа достигли Азрака, и на следующий день прибыл Фейсал в своем «Вокс-Холле» в сопровождении бронемашин.

Утром 29-го Бэрроу выступил на север дорогой паломников, чтобы, соединившись с силами Шовеля в Кисве, в десяти милях от Дамаска, вместе войти в город. Он попросил арабских вождей создать прикрытие для его правого фланга. Назир, Нури Шаалан и Ауда с тысячей двумястами всадников уже опередили его, выйдя накануне, чтобы перехватить главную колонну противника, и весь день 29-го они находились в соприкосновении с ней, затрудняя ее продвижение. Лоуренс остался в Дераа, чтобы повидаться с Фейсалом.

Лоуренс «наслаждался» (насколько мог) спокойствием, воцарившимся после ухода индийских войск, раздражавших его своей громоздкой массой как некоей неуместностью в пространстве. «Сущностью пустыни являлся одинокий перемещающийся индивидуум, сын пути, находящийся в стороне от мира, словно в могиле. Эти войска, скученные стадами, как овцы, выглядели недостойными привилегии пространства».[6] Было в них и нечто иное,

вызывавшее у него отторжение: «Мой разум чувствовал в индийских рядах что-то мелкое и ограниченное, впечатление того, что они сами считали себя низкими, и тщательное, уважаемое подобострастие, непохожее на резкую здравость бедуинов. Манеры британских офицеров по отношению к своим солдатам поразили до ужаса мою охрану, никогда прежде не видевшую личного неравенства».[7] Лоуренс презирал обессмысленную массу регулярной армии, в которой индивидуальный характер, значимость, инициатива подавлены гнетом дисциплины, а к цели ведут не разум и воля, но, как правило, страх. Такая армия являлась противоположностью его партизанским войскам, что были свободной совокупностью личностей, где подчинение основывалось не на страхе, но на уважении к командирам, и вперед вела не диктатура правила, но осознание значимости своей цели. Каждый имел право уйти, если бы в этой цели разочаровался. Так, сражаясь за свободу, они были свободны.

В затихшем поселении и теперь не чувствовалось мира. Дераа было местом мученичества Лоуренса, и память об этом словно витала в самой атмосфере, делая ее тяжелой и гнетущей. Чтобы спастись от этой нечистоты, он каждую ночь проводил со своими людьми в стороне на аэродроме.

На аэродроме он размышлял. «Я пытался думать о будущем, но разум был пуст, а мои мечты угасли, как свечи, от сильного ветра успеха. Впереди была слишком ощутимая цель, но позади лежало усилие двух лет, тяготы которого были забыты или прославлены. Имена проносились в голове, и каждое имело в воображении превосходную степень: величественный Рум, великолепная Петра, отдаленный Азрак, очень чистая Батра. Смерть забрала благородных, и новая резкость тех, кто остался, ранила меня».[8] Не успех, но провал загасил его мечтания. «Триумф», – иронично называл он это «достижение»: триумф смерти. Все было позади – усилие, напряжение, *смысл*. Впереди же лежало грандиозное ничто – цель, потерявшая свое значение и не ставшая осуществлением: как свадебный подарок на похоронах.

Лоуренс думал не только о Дахуме, но и о его народе, который в своем последнем рывке к победе не знал, что победы – нет. И к этому отсутствию не он ли сам завел его? – снова укорял он себя, как укорял сквозь надежду все это время.

Ему не спалось, и перед рассветом он разбудил Стерлинга и на «Роллс-Ройсе» выехал к Дамаску, до которого оставалось шестьдесят пять миль. К полудню они завидели расположение Бэрроу около водоема. Поблизости находилась и охрана Лоуренса, так что он пересел на верблюда и направился к генералу. «Как и другие убежденные кавалеристы, он несколько презрительно относился к верблюдам и в Дераа предполагал, что мы едва ли сможем идти наравне с его кавалерией, что сейчас двигалась к Дамаску тремя форсированными переходами. Так что, когда он увидел меня, бодро подъезжавшего к нему, он был изумлен и спросил, когда мы выехали из Дераа. “Этим утром.” Его лицо вытянулось. “И где вы собираетесь остановиться на ночь?” “В Дамаске,” – весело ответил я и поехал дальше, создав еще одного врага».[9]

Глава CXXX

Разгром 4-й армии. – Один в толпе.

В полдень Лоуренс миновал британские сторожевые посты, а потом линию разведчиков, оставляя по пути в каждом селении сообщения, чтобы там ожидали прибытия кавалерии. Его раздражала осторожность продвижения Бэрроу: линия разведчиков была выставлена в дружественной местности, пустынные долины обследовались, каждый покинутый холм осматривался. «Это подчеркивало различие между нашими определенными движениями и пробными процессами обычной войны».[1]

Около Кисве действовали Назир, Нури Шаалан и Ауда

с бедуинами, беспокоя турецкую колонну из почти семи тысяч человек, которая была замечена с британского аэроплана близ Шейх Саада три дня назад. «Они беспрестанно сражались все то время, пока мы отдыхали».[2] Лоуренс, подъехав ближе, услышал стрельбу, доносившуюся из-за кряжа, за которым проходила железная дорога, и увидел вспыхивавшие там разрывы шрапнели. Вскоре появилась турецкая колонна в две тысячи человек, продвигавшаяся отдельными группами. Из-за них выехали несколько арабских всадников и галопом устремились к Лоуренсу. Он признал в них Назира и Нури Шаалана с их тридцатью слугами. Как они рассказали, эта колонна была всем, что осталось от семи тысяч, разбитых арабскими иррегулярными частями. Что же касается их регулярных подразделений и британской кавалерии, то те двигались слишком медленно, чтобы успеть принять участие в сражении.

У Лоуренса спросили, не придет ли, наконец, помощь? Он ответил, что англичане подходят, и попросил продержаться еще немного. Назир с готовностью согласился, и Лоуренс повернул обратно, чтобы направить к нему британские войска. Он достиг их через три мили и сообщил командиру, какую услугу оказали арабы и как им необходима поддержка. Однако тот, «казалось, не желал нарушить прекрасный порядок своего марша»[3] и медлил, пока не решился, наконец, выслать один эскадрон через равнину в сторону турок. Те открыли огонь, и он приказал отступать. Лоуренс, вне себя от страха за Назира, который подвергался опасности, бросился со Стерлингом уговаривать слишком осторожного командира не бояться горных орудий. Но уговоры оказались тщетны, и Лоуренс со Стерлингом помчались искать помощи в ином месте. Им удалось найти генерала Грегори. Тот немедленно отправил вперед конную бригаду и кавалерийский полк, тогда как другой полк был выслан для обхода противника. Когда же орудия были доставлены до дистанции обстрела, уже стемнело, но, тем не менее, батарея успела предотвратить атаку на Назира.

К ночи Лоуренс видел, как турки, бросая все, бежали в сторону горного кряжа, за которым надеялись найти укрытие. Однако там их встретил Ауда. «Той ночью своего последнего сражения старик убивал и убивал, грабил и брал в плен, пока на рассвете все не было кончено. Там была разбита 4-я армия, наш камень преткновения в продолжении двух лет».[4] Ауда взял в плен около шестисот турок, остальные же, под покровом темноты, спаслись бегством и через два дня были окружены австралийцами.

В целом, арабы убили около пяти тысяч турок и захватили в плен восемь тысяч. Также им достались сто пятьдесят пулеметов и три десятка орудий. Таким образом, разгром 4-й армии, совершенный 30 сентября, стал полностью заслугой арабов.

Ночью Лоуренс направился к Кисве, где была условлена встреча с Назиром. Однако туда же подошли индийские войска, не оставив уединенного места. Толпа подхватила его своим водоворотом и заставила бродить столь же беспокойно, как сама. В темноте Лоуренс был неузнаваем и блуждал, как простой араб, только отстраненный и от своих, и от чужих. Своими были привычные бедуины, однако от них его отделяло неумолчное осознание «ложности» собственного положения. Чужими являлись солдаты регулярных войск, которые отвращали его, представляясь умноженными образами одного человека в «ливрее смерти», продавшего себя руководящей воле и подчинившегося духу войны. «Странная сила войны, что делает для всех нас долгом так унижаться!»[5] Война – взрыв животных инстинктов, открытый горсткой безумцев, а сила ее – гипнотический, лишающий воли и разума, взгляд зверя, в пропасти смертельной остановленности которого погибал и будет погибать мир в своей постоянной агонии... Лоуренс страшился покорного единообразия обреченных, но в то же время чувствовал в их самоуничижении нечто болезненно успокоительное и улавливал в этом намек своего дальнейшего пути – по бездорожью.

Глава CXXXI

Освобожденный Дамаск. – Жемчужина победы. – Облако пыли в конце пути. – Лоуренс в индийском плену. – Вступление Лоуренса в Дамаск. – Политическая неожиданность. – Гнев Ауды. – Волны ликования. – Прибытие Шовеля.

Восстание, длившееся более двух лет, закончилось. Впереди был Дамаск.

Когда сгустилась темнота, Назир выслал в город всадников из руаллы, чтобы они нашли председателя арабского комитета Али Ризу-пашу или его помощника Шухри аль Айюби и передали, что необходимо срочно взять власть в городе в свои руки. Он не знал, что все это уже было сделано к четырем часам дня 30-го числа. Али Риза, долго совмещавший обязанности главы арабского комитета и командира турецких войск, отсутствовал, будучи направленным для руководства последней линией обороны, но его преемник Шухри-паша выполнил все необходимое, найдя неожиданную поддержку у «алжирских братьев», Мохаммеда Саида и Абд эль Кадера. Мохаммед Саид принял комитет под свое начало, основываясь на том, что уезжавший Джемаль-паша назначил его губернатором. В полдень 30-го отряд Шерифа в Дамаске взял власть в свои руки, и в 14.30. над городской ратушей был поднят арабский флаг, в то время как мимо проходили последние отступавшие немцы и турки. К полуночи в городе находились четыре тысячи вооруженных сторонников восстания. В полдень того же дня северо-западный выход из Дамаска перекрыла австралийская конная дивизия. Продвинувшись по западной дороге и достигнув ущелья Барады, когда тем путем отходила часть гарнизона Дамаска, австралийцы смешали их продвижение пулеметным огнем и захватили в плен около четырех тысяч человек.

Лоуренс отговорил Назира от вступления в Дамаск в сумерках. «Это должна была быть ночь смятения, и его достоинству больше приличествовало бы, если бы он спокойно вошел на рассвете».[1] Кроме того, он опасался, что в темноте может произойти какое-нибудь несчастье.

В эту ночь Лоуренсу не спалось: близость цели беспокоила, томила и давила своей определенностью и явленной обессмысленностью. На севере небо время от времени озарялось желтыми снопами искр: турки при отступлении подожгли склады боеприпасов. «Я повернулся к Стерлингу и пробормотал: “Дамаск горит,” – ужасаясь от мысли о великом городе в руинах как цене победы».[2]

На рассвете, 1 октября, Лоуренс взобрался на вершину кряжа, с которого открывался вид на город, но не решался взглянуть на него, ожидая увидеть пожарище. «Однако вместо руин сквозь речной туман выделялись своей зеленью тихие сады, в оправе которых сиял город – как всегда прекрасный, подобный жемчужине в лучах утреннего солнца»,[3] и только от станции все еще поднимался столб черного дыма. На окрестные поля уже вышли крестьяне, чтобы приступить к древнему служению кормящей земле. Рядом вершилась история, а здесь длилась вечная сага труда – тяжелого и завидного.

Когда Лоуренс спустился с кряжа по дороге, ведущей через поля, мимо него промчался всадник с гроздью желтого винограда, крикнув на скаку: «Хорошие новости! Дамаск приветствует вас!» То был посланник от Шухри. Лоуренс передал это известие Назиру, «чтобы он смог насладиться почетным входом как наградой за свои пятьдесят сражений».[4] Назир подстегнул своего коня и устремился вперед. Лоуренс провожал его взглядом, пока тот не «исчез в конце долгой дороги в облаке пыли, что нехотя зависло меж заводей».[5] Долгий путь стольких месяцев был преодолен, и лишь облако праха – усилий, ожиданий и привязанностей – осталось для Лоуренса в конце.

Из политических соображений Лоуренс и Стерлинг не спешили входить в Дамаск и задержались у ручья помыться и побриться. Эти занятия были прерваны появлением индийских военных. Они с подозрением оглядели Лоуренса, бывшего, как обычно, в арабском одеянии, Стерлинга в британской форме и куфии, их машину и водителя. Что-то показалось им не заслуживающим доверия, и Лоуренс со Стерлингом попали в плен. Только когда им повстречался офицер, они были освобождены и, наконец, решили войти

в Дамаск.

Они медленно проехали по длинной улице до правительственных зданий на берегу Барады. «Путь был полон народа, стоявшего вплотную на тротуарах, на дороге, выглядывавшего из окон, с балконов и крыш. Многие плакали, некоторые нерешительно приветствовали нас, более смелые выкрикивали наши имена, но большинство смотрели и смотрели – с радостью, сиявшей в глазах. Движение, как долгий вздох от ворот до центра, отмечало наш путь».[6] Тяжелым же эхом должен был отдаваться этот вздох облегчения в сердце Лоуренса, осознававшего возможную призрачность завоеванной свободы!

Лестницы ратуши были полны веселившейся толпы, что пела, танцевала и обнималась. Перед Лоуренсом и Стерлингом она расступилась, и они прошли в переднюю. Там сидели сияющий Назир и Нури Шаалан, а по сторонам стояли Абд эль Кадер и Мохаммед Саид, его брат. Лоуренс был поражен. Мохаммед Саид заявил, что они, внуки Эмира Абд эль Кадера, вместе с Шухри эль Айюби сформировали правительство и объявили Хуссейна королем арабского народа. Лоуренс обернулся к Шухри, и тот объяснил, что алжирцы до последнего поддерживали турок, а потом, со своими соотечественниками, ворвались в Арабский комитет и силой взяли над ним контроль.

Лоуренс, зная их фанатизм, обратился к Назиру, чтобы на корню пресечь их притязания, но тут теснящаяся вокруг них толпа вдруг расступилась, точно разделенная тараном, и над ее шумом торжествующей волной прокатился знакомый рев, заставивший всех смолкнуть: то Ауда вступил в драку с главой друзов, Султаном эль Атрашем. Лоуренс бросился их разнимать и врезался в Мохаммеда эль Дейлана, имевшего ту же цель. Вместе они заставили Ауду отступить. Султан был оттащен в толпу и выведен на улицу, тогда как Ауду увели в пустой зал, где он долго бушевал, ослепленный гневом. Будучи оскорблен первым, он жаждал возмездия и несколько утих только за полчаса. Еще за полчаса его удалось убедить «передать его дело на рассмотрение» Лоуренсу и Мохаммеду. Лоуренс, выйдя, велел спешно удалить обидчика из города.

К тому времени и алжирцы, и Назир покинули ратушу. Лоуренс, решив назначить губернатором Шухри, взял его с собой в машину для церемониального проезда по городу. Толпы на улицах несравненно возросли. «Казалось, все мужчины, женщины, дети в этом городе с населением в четверть миллиона душ были на улицах, ожидая только искры нашего появления, чтобы их дух воспламенился. Дамаск от радости лишился разума. Мужчины в знак приветствия подбрасывали фески, женщины срывали покрывала. Из домов главы семейств бросали на дорогу перед нами цветы, занавески, ковры, а их жены склонялись, визжа от смеха, через решетки и поливали нас ковшами ароматов. Бедные дервиши сделались нашей бегущей свитой впереди и позади, завывая и в неистовстве нанося себе порезы. А над криками и визгом женщин шел равномерный рев мужских голосов, что пели «Фейсал, Назир, Шухри, Оренс», и эти волны, начинаясь здесь, катились по площадям и через рынок вниз по длинным улицам к Восточным воротам, назад к Майдану и вздымались стеной восклицаний вокруг нас у цитадели».[7]

Лоуренс узнал, что прибыл генерал Шовель. Он встретил его машину на южной окраине и, описав настроения, царившие в городе, попросил держать его солдат за чертой города, так как ночью ожидалось празднество, какого не бывало шестьсот лет, и «гостеприимство могло развратить их дисциплину». И так же, как Бэрроу в Дераа, Шовелю оставалось лишь согласиться, поскольку у него не было никаких указаний относительно того, что делать со взятым городом. Лоуренс же стремился закрепить Дамаск за арабами, срочно установив в нем правление и все городские службы.

Глава CXXXII

Низложение самозванцев. – Налаживание жизнедеятельности Дамаска. – Блеск фасада и осквернённая тень.

Когда Лоуренс возвратился в ратушу, чтобы уладить дело с алжирскими захватчиками власти, их там не оказалось. Он послал за ними, но получил ответ, что они спят. Тогда он пригрозил одному из их родственников, что отправит за ними британские войска. Тот немедленно умчался. Присутствовавший там же Нури Шаалан, как только узнал, что Лоуренс собирается отстранить самозванцев и назначить военным губернатором Шукри, обещал помощь силами руалл, если это потребуется.

Алжирские братья не заставили себя долго ждать и появились, пылая воинственностью и угрозой. Однако, увидев на площади регулярные войска Нури Саида, в вестибюле ратуши – охрану Лоуренса и в самом здании – собравшихся руалл, они поняли, что преимущество не на их стороне. Лоуренс как представитель Фейсала объявил установленное ими гражданское правление в Дамаске упраздненным и назначил губернатором Шукри, а Нури Саида – главнокомандующим войсками. Мохаммед Саид, вскипев, принялся яростно поносить Лоуренса и обратился за поддержкой к Назиру. Назир, чуждый всякой политики, лишь молча смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену, пораженный тем, что недавние сторонники вдруг оказались противниками.

В спор вступил Абд эль Кадер, разразившись еще большими проклятиями, чем его брат, но Лоуренс не обратил на него внимания. Тот, приведенный этим в бешенство, кинулся на Лоуренса с кинжалом, но был яростно отброшен Аудой. Видя свою беспомощность, злопыхающие алжирские братья удалились. Лоуренсу посоветовали расстрелять их, однако он воздержался от этого, чтобы не подавать арабам пример предупредительного убийства как части политики. Равно как не будучи профессиональным военным, Лоуренс стал гением военного искусства, так и не являясь политиком, он проявлял замеча-

тельную прозорливость в деле управления. Должно быть, именно потому, что был ни тем или другим, но *человеком*, обладавшим чуткостью в воспринятом деле и умело применявшим свои знания.

Теперь Лоуренс мог приступить к восстановлению городских служб и систем. Прежде всего была организована полиция: назначены офицеры, распределены участки и установлены временные условия службы. В этом оказались неоценимы арабские регулярные войска. Затем было налажено водоснабжение (акведук был полон мертвых людей и животных) и восстановлено освещение улиц, бушевавших ныне радостными толпами. Загоревшиеся фонари стали явственным знаком мирной жизни. Благодаря свету, а также патрулям новосозданной полиции и стараниям местных шейхов, первый вечер победы прошел спокойно.

Следующим пунктом являлись санитарные условия. Улицы были полны брошенных повозок и машин, багажа, трупов людей и животных. Среди турок были распространены тиф, дизентерия и пеллагра, и больные умирали в каждой тени вдоль линии марша. Для очищения улиц Нури подготовил бригады, а между госпиталями распределил своих врачей, обещая доставить лекарства и продовольствие на следующий день, если что-нибудь будет найдено.

Продолжали гореть склады, угрожая городу, поэтому была срочно собрана пожарная команда. Из тюрем сбежали как заключенные, так и надзиратели, и Шукри объявил амнистию. Особенно острым являлся вопрос продовольственного снабжения. На первых порах была подготовлена доставка того, что осталось на военных складах, затем – из ближних селений. Так возникала необходимость восстановления железнодорожного сообщения. Затем – телеграф, почта, магазины... Было налажено денежное обращение путем выпуска бумажных денег, и установлены новые цены. Особняком стояла проблема фуража, и к ней Лоуренс проявил особое внимание: у Шовеля имелось сорок тысяч лошадей, а в поисках корма для них «он мог захватить и фураж, и правительство».[1]

Лоуренс стремился как можно скорее наладить всю систему жизнедеятельности города и его управление, чтобы британцы, по вступлении, оказались только гостями. «[Поэтому] нашей целью был скорее фасад, чем полное строение. Однако все это заработало столь яростно хорошо, что, когда я покидал Дамаск 4 октября, сирийцы имели де-факто свое правительство, которое выстояло два года без иностранного совета, в оккупированной стране, разрушенной войной, и против воли важных элементов среди союзников».[2]

Поздно вечером Лоуренс сидел один в комнате, работая и думая, когда муэдзины начали призыв к молитве. Он невольно прислушался. «Свидетельствую, что нет бога, кроме Бога, и Мухаммад Пророк Его...» – разносилось над искрящимися улицами. В конце муэдзин понизил голос почти до уровня речи и мягко добавил: «И Он очень добр к нам в этот день, о народ Дамаска». «Шум стих, когда каждый, казалось, повиновался призыву к молитве в эту первую ночь совершенной свободы, в то время как мое воображение, в подавляющей паузе, показало мне все мое одиночество и отсутствие причины в их побуждении, поскольку только для меня, из всех слушателей, событие было скорбным и фраза бессмысленной».[3]

Город сиял торжеством завоеванной свободы, и один Лоуренс понимал, что это вовсе не то, ради чего два года длилось усилие восстания. Этот триумф был только иллюминированным театральным фасадом, за которым не существовало ничего, и его тень, скрывавшая постороннее движение, падала, как темнота могилы того, кто являлся для Лоуренса смыслом борьбы. Не даром Божьим стала победа, но лишь концом – влекущей надежды и неостановимого *свободного* порыва во имя Любви.

Я любил тебя и потому взял в руки людские волны
и начертал свою волю в небесах среди звезд,
Чтобы завоевать для тебя Свободу – величественный храм о семи столпах,

чтобы твои глаза сияли для меня,
когда мы дошли бы.[4]

Смерть казалась служанкой в пути, пока мы не приблизились
и не увидели твоего ожидания.
Ты улыбался, и в горькой зависти она обогнала меня
и забрала тебя
В свою тишину.

Любовь, утомившись в пути, приникла к твоему телу – нашей
краткой награде,
нашей на миг,
Прежде чем мягкая ладонь земли исследовала твои очертанья и
слепые черви стали жирны
На твоей плоти.

Люди просили меня завершить наше дело, ненарушенный храм,
в твою память,
Но я разбил памятник, не закончив. И ныне
Мелкие сущности выползают строить себе убежища
в осквернённой тени
Твоего дара.[5]

Глава CXXXIII

Одни начала хороши...

Арабское восстание 1916-1918 годов являлось одним из тех редких примеров национального освободительного движения, который благодаря своей моральной чистоте и силе сравним с творческим вдохновением. То был не всесокрушающий разгул накипевшей ярости (что обычно и представляет собой мятеж), но созидающий подъем. Величественный храм свободы, рисовавшийся в воображении Лоуренса как святилище его любви, с почти такой же силой увлекал арабов, став для них возрожденным величием прошлого. Эти два года они так же жили единой идеей, как творец, не ведающий отдыха в устремлении к

осуществлению своего замысла. «Мы были преданы ... свободе. По мере того как шло время, наша потребность сражаться за идеал увеличилась до безусловного наваждения, обуздывавшего все наши сомнения. Волей-неволей это стало верой».[1]

В этом влечении армия стала единым порывом, знающим только свою трансцендентальную цель и являющимся столь же трансцендентальным. Тело превратилось даже не в орудие и не во вместилище души, но в своего рода «удобрение», растворившись под двойным натиском жестоких природных условий и всеподчиняющей идеи. Лишенное воли, желания, даже в какой-то мере самоощущения, оно всецело покорилось безжалостной власти духа: аравийская пустыня оказалась нитрийской.

Только так плоть могла перестать быть помехой, тягостным придатком, только так могли открыться глубинные силы, чтобы выдерживать день за днем почти неослабевающее напряжение. «Нередко мы проводили в седле двадцать два часа из двадцати четырех, и каждый по очереди брал на себя обязанность проводника в темноте, тогда как другие кивали в забытьи. Это было не более, чем легкое забытье, потому что даже в глубине такого сна нога продолжала нажимать на плечо верблюда, чтобы поддерживать его неторопливый ход, и ездок просыпался, если равновесие нарушалось хотя бы от неверного шага или поворота».[2]

Недостаток сна, пищи, воды – все привычно преодолевалось в усилии обострившегося духа. В конце концов, необходимость превратилась в повод для удовлетворения, а длящееся страдание стало восприниматься как мученичество во имя других. Это чувство самопожертвования владело каждым, кто был истинно предан делу. «В простоте страдание за другого приносило чувство величия. Не было ничего более возвышенного, чем крест, чтобы созерцать мир».[3] *Осмысленное* добровольное страдание доставляет наслаждение, по интенсивности своей равное чувственному: две равные вершины удовольствия – радость близости и радость боли.

В своей созидающей преданности идее они шли сквозь

боль, зной, холод – через пустыню страдания с освобождающим крестом. И только на этом пути они были истинно свободны – от мира, плоти, бессмысленности земного существования. Они были воинством Идеи, творцами великой саги: их достижение – в их движении.

Храм свободы существовал только в воображении. Даже без постороннего вмешательства он не мог стать совершенным выражением идеального замысла – именно потому, что идеального, а то, что оказалось бы воздвигнуто, было бы обращено в руины в новом устремлении к свободе. Это изначальное желание, заставляющее томиться и метаться и отдельного человека, и целые народы, не есть ли только влечение к совершенному Бытию? На земле нет свободы, как нет полного выражения какого бы то ни было замысла, и лишь начало имеет оттенок идеального – иллюзии в этом мире.

Одни начала хороши –
Живой порыв живой души,
Еще неосквернённый миром,
Растущий пропастью незримой
Сквозь отступающую жизнь.
Одни начала хороши,
И лишь одни начала мнимы.[4]

Глава CXXXIV

Попытка переворота. – «Триумф смерти».

Утром 2 октября Лоуренса разбудили с известием, что Абд эль Кадер поднимает мятеж. Раздраженный действиями Лоуренса накануне, он собрал своих алжирских сторонников, которые легко поверили ему и повиновались, и часть друзов, что были рады возможности пограбить, и

мятеж начался.

Лоуренс и арабские вожди не спешили приступать к действиям до рассвета. Когда же стало светло, Нури Саид направил войска в верхние предместья и оттеснил повстанцев к центру, где улицы можно было без труда взять под контроль. Регулярные арабские части начали обстреливать прибрежные площади заградительным пулеметным огнем, и перепуганные заговорщики бросились бежать по боковым аллеям. В конце концов, Мохаммед Саид был арестован, но Абд эль Кадеру удалось скрыться. К полудню в городе снова воцарился мир.

Позднее Лоуренс присутствовал на ланче, и один австралийский врач попросил его, чтобы, из соображений гуманности, не был обойден вниманием и турецкий госпиталь, где, по его рассказу, живые и мертвые лежали вперемешку и не было ни врачей, ни санитаров. Лоуренс отправился в госпиталь сам.

На входе он встретил охрану, которая недоверчиво отнеслась к его одиночному появлению и не решалась пропускать его внутрь, так как ей было приказано не впускать никого из местных, чтобы они не убили пациентов («неверное истолкование арабских методов ведения войны»[1]). Однако английская речь Лоуренса рассеяла сомнения, и ему уступили. От охраны он узнал, что накануне тысячи пленных были переведены отсюда в иное место, и с тех пор никто не входил сюда и не выходил.

Огромный двор был завален мусором. Лоуренс прошел к дверям барака и позвал, но ему ответило лишь эхо его собственного голоса, прокатившееся по пыльным коридорам. Тогда он направился к другому строению. Войдя с яркого солнца в черноту, он почувствовал отвратительный смрад, а когда глаза привыкли к полутьме, увидел и отвратительное зрелище. «Каменный пол был покрыт мертвыми телами, что лежали рядами: одни во всей униформе, другие в одном нижнем белье, третьи были совсем нагие. Их могло быть около тридцати, и они кишели крысами, которые прогрызли в них влажные красные норы. Немногие трупы были совсем свежими – возможно, только одного-двух дней, другие, должно быть, лежали там

уже давно. У некоторых гниющая плоть была желтой, синей, черной. Многие уже раздулись в два-три раза больше прижизненной величины, а их толстые головы смеялись черными провалами на челюстях, поросших щетиной. У других мягкие части ввалились. Немногие уже взорвались и были жидки от тления».[2] То был явленный во всем многообразии «триумф смерти»: лик Войны, открывшийся за маской победы.

Далее находилось большое помещение, откуда доносился слабый стон – или так только казалось. Лоуренс направился туда, выбирая путь через настил трупов.

Там лежали на койках темные мумии, едва ли хранившие искру жизни. Лоуренс, подобрав полы одежды, сделал несколько осторожных шагов – босиком – по нечистому полу. Вдруг позади послышался тихий вздох. Резко обернувшись, он увидел распростертого на одной из постелей человека, беззвучно взывавшего о помощи. В унисон ему по палате прошел коричневым шелестом слабый взмах рук с других коек, и согласованность этого движения вызвала у Лоуренса нервный смех. Он бросился в сад, где находились австралийцы, и спросил у них группу рабочих. Те отказали, так как инструменты у них отсутствовали. Врачи тоже были заняты. Подошел один из знакомых английских офицеров, Керкбрайд, и с ним Лоуренс отправился на верхний этаж строения, где располагались турецкие доктора. Там сидели семь человек. Лоуренс велел им отделить мертвых от живых, а для надзора назначил Керкбрайда. Потом он послал за несколькими арабскими военными врачами.

Позднее были собраны пятьдесят наиболее подходящих пленных, чтобы выкопать на заднем дворе общую могилу. «Это было жестокостью – заставлять работать людей столь усталых и больных, как наши жалкие турки, но спешка не оставляла нам выбора».[3] Вскоре лопаты наткнулись на цементный настил, и было решено не углублять яму, но расширить ее. Поблизости имелась известь, чтобы засыпать тела.

Врачи сообщили, что в госпитале находятся пятьдесят шесть мертвых, двести умирающих и семьсот неопасно

больных. Была организована группа для переноса трупов на носилках. «Некоторые поднимались легко, других приходилось соскребать по частям совками».[4] К концу работы двое из носильщиков умерли.

Все было закончено к полуночи, и Лоуренс отправился отдыхать: за последние четыре дня он спал не более трех часов. Керкбрайд («мальчик по годам, делавший в эти дни работу за двоих», – отмечает Лоуренс, как всегда, заслуги других) остался засыпать могилу землей и известкой.

В гостинице, «Виктория», Лоуренса ожидали безотлагательные дела: несколько смертных приговоров, проблема с отсутствием ячменя на завтрашний день и... жалоба от Шовеля, что арабы весьма вяло приветствовали австралийских офицеров.

Глава CXXXV

Очистительное унижение. – В тени Элленби. – Прибытие Фейсала в Дамаск.

Наутро, 3-го, Дамаск зажил своей обычной жизнью: была налажена поставка продовольствия, вновь работали магазины, ходили трамваи, а по отмытым улицам прогуливались счастливые толпы. Здесь больше не было войны.

Ночью арабы взяли Бейрут. В Вэджхе Лоуренс предупреждал их, чтобы они оставили Ливан в утешение французам, а заняли Триполи, имевший как порт более важное значение. «Поэтому я был огорчен их ошибкой, но вместе с тем рад, что они почувствовали себя достаточно самостоятельными, чтобы отбросить меня».[1]

В госпитале дела обстояли намного лучше. Пациенты были вымыты и накормлены, а их постели переменены. Пленные вычистили двор и вырыли еще одну яму для оставшихся непогребенных. Лоуренс с гордостью наблюдал за итогами стараний, когда к нему подошел военный врач в звании майора и спросил, говорит ли тот по-анг-

лийски. Затем, «выразив движением бровей презрение» к его одеянию, поинтересовался, находится ли он в подряде. Лоуренс скромно ответил, что в некотором смысле да, и тот разразился гневной очередью: «Скандально, безобразно, оскорбительно, должно застрелить...» Давнее напряжение Лоуренса прорвалось, и он рассмеялся. «Это казалось чрезвычайно забавным – быть так проклинаемым в то время, когда я льстил себе за улучшение того, что внешне выглядело безнадежным. Майор не входил во вчерашний склеп, не чувствовал его, равно как не видел, как мы погребали те тела в последней стадии разложения, воспоминания о которых заставляли меня вскакивать в постели, обливаясь потом и дрожа, несколькими часами позднее. Он уставился на меня, пробормотав “чертова скотина.” Я усмехнулся снова, и он ударил меня по лицу и удалился, оставив меня скорее пристыженным, чем сердитым, ибо в глубине души я понимал, что он был прав...»[2] Этот удар, как до того насилие в Дераа, Лоуренс счел заслуженной наградой за свою роль в восстании, тогда как похвалы, повышения и медали только усиливали чувство вины за сознательную «бесчестность», разъедая совесть, вслушивавшуюся, как оголенный нерв, в каждое его движение. Он презирал себя за эту эпопею «обмана», и удар оказался удовлетворяющей кульминацией внутреннего самоуничижения.

В унижении Лоуренс находил очищение – так же, как многие христиане до него, налагавшие на себя эту епитимию во искупление действительного или кажущегося греха. Мало раскаяться: надо унизиться, чтобы подняться.

Смирение, многотерпение, жизнь в простоте – Лоуренса со всем правом можно назвать христианским подвижником. Но не школа крайней аскезы и мученичество, телесное и духовное, дают для этого основание, а то, что, пройдя их, он сохранил свою человечность и теплоту. Не страдание и мера создают праведников – человеколюбие.

Вернувшись к гостинице, Лоуренс увидел около нее толпу и серый «Роллс-Ройс» Элленби. Он поспешил

внутрь и нашел там главнокомандующего вместе с другими членами генерального штаба. Несколькими словами Элленби одобрил его действия в установлении арабского правления в Дераа и Дамаске. Теперь тяжесть ответственности снималась с Лоуренса: «Я мог позволить себе расслабиться в этой на сон похожей уверенности, решимости и доброте, что являл собой Элленби».[3] Лоуренс по сущности своей был не ведущим, но ведомым. Его руководство и активность времен восстания были только насильно воспринятой и насилующей ролью, тогда как он всегда желал находиться в подчинении у кого-то более сильного, чувствовать себя в безопасности, неторопливо жить духовной жизнью, в которой он единственно мог и хотел быть деятельным. Отчасти это стремление объяснялось его пассивной сексуальностью.

Через час Лоуренс узнал, что из Дераа прибыл специальный поезд Фейсала. Вскоре появился и он сам, встреченный у гостиницы волнами ликования собравшихся толп. Более двух лет он был для них символом освобождения, а теперь предстал воочию, в сиянии завоеванной им победы, как всегда величественный в своей простоте. «Элленби передал мне телеграмму из Министерства иностранных дел, в которой сообщалось, что за арабами признан статус воюющей стороны, и попросил меня перевести это Эмиру. Однако никто из нас не знал, что это означает по-английски, не говоря уже об арабском. А Фейсал, улыбаясь сквозь слезы, навернувшиеся от приветствия его народа, отложил это, чтобы поблагодарить главнокомандующего за доверие, которое создало и его, и его движение. Они являли собой странное противопоставление: Фейсал – большеглазый, бледный, измученный, подобный прекрасному кинжалу, и Элленби – огромный, красный и веселый, подходящий представитель державы, которая охватила мир юмором и серьезностью дела».[4] Элленби уведомил Фейсала, что готов признать военную администрацию арабов на территории к востоку от Иордана и Маана до Дамаска включительно, и свое слово сдержал.

После ухода Фейсала Лоуренс выразил свою первую и последнюю просьбу – разрешить уйти. Элленби сначала

возражал, желая, чтобы Лоуренс дошел до Халеба, но тот напомнил ему о его обещании годовой давности и указал, что без его, Лоуренса, побуждения народу будет легче создавать новую жизнь. «В конце концов, он согласился, и тогда я ощутил, как мне было тяжело».[5]

Глава CXXXVI

Отъезд. – Утраченное. – Между Западом и Востоком. – Без осуществления.

4 октября Лоуренс навсегда покинул Дамаск. Он спешил расстаться с Востоком, как с тяжелым воспоминанием, и попасть на Западный фронт – в надежде на освобождение.

Брат, свое дело, дом – все это, означающее бытие, было утрачено. Оставшаяся пустота являлась достаточной, чтобы духовно уничтожить, но к ней добавилось еще и неизбывное чувство вины и осознание своего духовного и телесного осквернения. Песчинка, двигавшая горы рутины в Каире и боровшаяся в Аравии, теперь билась в хаосе разрушенного мира и своего исчерпанного «я».

Однако, несмотря ни на что, основы его личности не были задеты, – напротив, боль только укрепила их. Смирение, воздержанность, сострадательность, теплота проявились в полную меру, и даже сам облик его воспринял некий отсвет духа. То, что до войны было уверенными обертонами под поверхностью горения и живости, после стало всей сущностью. Страдание не сломило его, но исполнило имевшиеся начала.

На фронт Лоуренс не успел. Сбросить «самую тягостную ношу» не удалось, и теперь надо было научиться нести ее. Он жил два года, преодолевая свои пределы в стремлении к цели, – ныне надо было привыкнуть к обессмысленности.

У него больше не было дома: не только в бытийственном смысле, но и в буквальном. Оксфорд стал страшен

своей памятью и опустошенностью, словно могила, и о возвращении туда не могло быть и речи. Начиналось время чужого угла – при том, что он так нуждался в «тихом доме», из окна которого можно было бы наблюдать, как другие проходят мимо, больше не затрагивая его своей суетой.

Не было родины. Со смертью Дахума Восток стал чужд, а Запад, связь с которым прервалась еще до войны, теперь выглядел для него совсем иначе. Восток сместил его точку зрения. «Длившееся эти годы усилие жить в одеянии арабов и подражать их мировоззрению лишило меня моего английского “я” и позволило взглянуть на Запад и его условности новыми глазами: я увидел все это опустошенным для себя».[1] Человек, воспитанный в традициях определенной культуры, привыкает смотреть на вещи с одного ракурса, который от своей привычности и неизменяемости представляется единственной право-той. Определенный образ жизни, религия, духовные ценности кажутся абсолютом, тогда как все иное – неким отклонением или, если не столь непримиримо, – вариациями. Вживание в иную среду смещает плоскости. Старое отпадает, как чистая формальность, новое увлекает – трудно и болезненно, но неудержимо, – как обретенная правота. Вторичный отрыв оставляет человека в культурном коллапсе.

Это и произошло с Лоуренсом. Для него не осталось ни Востока, ни Запада, но только свое, словно ободранное, «я», с поражающей остротой ощущающее *объективный* мир, не искаженный привычкой. Не Восток и не Запад он увидел – стороны Голгофского креста: пространство заблуждения и страдания.

«Я утратил одну форму и не воспринял другую, став подобным гробу Мухаммада из нашей легенды, с происходящим от этого чувством глубокого одиночества и презрения – не к людям, но ко всем их делам. Такое отстранение приходит временами к человеку, изнуренному долгим физическим усилием и изоляцией. Его тело механически продвигается вперед, тогда как разум оставляет его и со стороны оценивающе взирает на него, спрашивая, что

делает этот суетный хлам и зачем. Иногда эти “я” сливаются в пустоте, и тогда безумие маячит совсем рядом, – как, я уверен, и должно быть с человеком, который может видеть вещи сквозь призму одновременно двух обычаев, двух воспитаний, двух обстановок».[2]

Лоуренс лишился и своего дела. Вернуться к археологии он не мог – это вызвало бы воспоминания о Кархемише и Дахуме. Ничего же другого он для себя не знал: ничто не имело для него смысла, и ни на что он не имел сил. Только надежного места с отсутствием ответственности желал он, как простого средства к существованию. Бездумная пассивность в ожидании конца – вот, к чему он теперь стремился.

Именно в отсутствии дела, но еще больше в одиночестве – трагедия Лоуренса. Как бы ни исказила его жизнь роль в восстании, как бы ни ославила позднее слава, он мог бы оставаться живым, если бы длилось его братство – бытийственный источник. Смерть Дахума, преосуществления Лоуренса, – его наибольшая потеря.

Глава CXXXVII

Конец войны на Востоке. – Значение арабов в войне и достижения Лоуренса.

Когда Лоуренс уехал, военные действия на Востоке еще продолжались. 25 октября 5-я кавалерийская дивизия достигла предместий Халеба, в то время как арабы под командованием Назира и Нури Саида наступали на правом фланге. На следующий день намечалась совместная атака, однако арабы, действуя в духе стратегии Лоуренса, опередили англичан и ночью взяли город. 29-го они заняли станцию Муслимие – узел Багдадской и Сирийской железных дорог, перекрыв таким образом жизненную артерию турок в Месопотамии и изолировав их. Эта последняя победа Назира в его длинном ряду сражений стала заключительным актом восстания. 31 октября Турция выш-

ла из войны, а 11 ноября, в день возвращения Лоуренса в Англию, капитулировала Германия.

В выводе Турции из войны арабы, по расчетам англичан, должны были играть только вспомогательную роль: сначала – как отвлекающего средства, затем – как прикрытия правого фланга. В действительности же они стали основной силой, выбившей у Германии эту пусть шаткую, но опору.

Волей этой силы был, как мы видели, Лоуренс. Его знание условий и «материала» позволило ему разработать наиболее подходящую тактику, а человечность, ставшая основой его теории, сохранила многие и многие жизни – не только арабов, но даже неприятеля. Его война была войной на сохранение.

Действенность созданной им победоносной тактики парализующих «булавочных уколов» можно проиллюстрировать в довершение рассказа одним примером. В недели подготовки Элленби к решающему наступлению и во время его проведения почти половину турецких сил к югу от Дамаска обездвижили арабы. При этом численность неприятеля составляла две тысячи сабель и двенадцать тысяч штыков, а общее число состоявших на довольствии равнялось сорока-сорока пяти тысячам человек. Силы же арабов насчитывали всего три тысячи человек при боевом ядре в шестьсот.

Воля Лоуренса оказалась бы беспомощной без объединяющего вдохновения Фейсала – пророка свободы, доблести Назира, осуществлявшего теорию на практике, и мужества простых арабов, преданных идее и своим порывом вписавших в историю одну из самых благородных страниц, – каким бы ни оказался итог их усилия.

Но, если всмотреться в самую суть, движущим мотивом являлось чувство одного человека к другому. Как мы уже говорили, без любви к Дахуму Лоуренс не принял бы на себя обязанности, неизмеримо превосходившие его как офицера связи, не разработал бы свою верную и бескровную тактику, не вел бы – вместе с Фейсалом – народ к победе. Без этого личного побуждения война на Востоке могла пойти совсем иначе, открыв реки крови. В сохране-

нии жизней – военный успех Лоуренса, тогда как бытийственное достижение – в утверждении правоты истинной любви.

Глава CXXXVIII

Конец Великой войны. Послесмертье.

Война закончилась с истощением армий. Германия полностью исчерпала свои человеческие ресурсы: в 1918 году на фронт уже отправлялись призывники 1900 года рождения. Не в лучшем положении оказались Великобритания и Франция. Однако на их стороне был материальный перевес: в начале 1918 года у них имелось 4500 самолетов против 3670 в германской авиации, 18 500 орудий против 14 000 у немцев и восемьсот танков против десяти. Кроме того, союзников поддержало прибытие на Западный фронт миллионной американской армии. Обессиленные же немецкие войска еще и изничтожала «испанка» – вирус гриппа, возникший в Южной Африке: за июнь 1918 года от нее погибли полмиллиона солдат. В июле немецкая армия предприняла последний рывок – в сторону Парижа, но была отброшена совместными усилиями французских, британских и американских войск и начала отступление, как признание полного поражения.

3 ноября под натиском итальянцев капитулировала Австрия-Венгрия, а 11 ноября в Компьенском лесу было подписано перемирие. Приступ мирового безумия закончился, и наступило время осознания непоправимого.

Война унесла жизни десяти миллионов человек. Среди них нет победителей и побежденных: все они – безвинные жертвы политической ошибки, торжества грубой силы над разумом.

Миллион англичан.
Миллион семьсот тысяч французов.

Полтора миллиона подданных Габсбургской империи.
Два миллиона немцев.
Миллион семьсот тысяч русских.
Четыреста шестьдесят тысяч итальянцев.
Сотни тысяч турок, которые не были подсчитаны никогда...

Там, где прошли европейские войска, встали кресты, как голгофы погибших солдат и тех, кто остался оплакивать их. Из провала взорванного мира хлынуло одиночество – кровью Христовой и болью потерявшего.

Не о мертвых должно скорбеть, но о живых: счастливы уходящие в вечность, мученики те, кто остается в послесмертье. Десять миллионов потерь означали миллионы духовных смертей и изломанных судеб.

«Миллионы убитых задешево» –
Как огней поминальных пожар,
И над крестною костницей Божьею –
Черной пропасти жалящий жар.

Мир струится, как слезы, и плоится
В тишине замолчавших сердец,
Где крестов утомленное воинство
Попирает застывшую смерть.[1]

Военные кладбища организовывались с самого начала. Французы погребали своих павших как по отдельности, так и в братских могилах. У немцев были огромные общие захоронения. Так, во Владсло, в Бельгии, под одной плитой покоятся останки двадцати тысяч молодых людей, ушедших на войну добровольцами и погибших в 1914 году. «Детоубийство под Ипром» – так стали называть их бессмысленную гибель.

Англичане старались похоронить каждого павшего в отдельной могиле, указав имя, возраст, звание, полк, дату и место смерти. Если это не поддавалось определению, на надгробии выбивали слова, принадлежащие Редьярду Киплингу, который сам потерял на войне отца: «Солдат

Великой войны, известный Богу». Воздвигались мемориальные стелы: на самой большой из них, находящейся в Типвале, указаны имена семидесяти тысяч человек, погибших в сражении на Сомме. Английские кладбища протянулись от Соммы до Северного моря. Большие и малые, они обнесены оградой и засажены подстриженной травой меж надгробий и розовыми кустами в ногах. «Весной, когда распускаются цветы, кладбище становится местом обновления и надежды, осенью, когда опадают листья, – местом сострадания и памяти».[2] Это страшная карта сражений и – бесполезное предостережение потомкам.

После войны мир стал неузнаваемым. Сместились границы, исчезли целые государственные образования, изменились формы правления. Германия из империи превратилась в республику, Австро-Венгрия и Оттоманская империя распались, Россия стала застенком. В Европе была уничтожена положительная экономическая обстановка, и разрушен тот благодатный культурный континуум, что давал пространство для существования столь многих талантов. Неудачная попытка решить Балканский вопрос создала новые проблемы. Античеловеческие идеологии, уничтожение целых наций, культ личности, «научный» атеизм – все эти язвы XX века произошли из той битвы народов, вскрывшей гнилостную сущность человечества. Первая Мировая война оказалась истоком Второй, превзошедшей ее и по числу жертв, и по масштабам разрушений. Мир не защищен и от возможности Третьей, равно как и от множественных столкновений меньшей величины. Смерть продолжается, и в убийстве каждого человека прорывается небытие. Без любви нет жизни, но любовь – на Кресте.

ЧАСТЬ V
1918 – 1922

Глава CXXXIX

Начало борьбы Англии и Франции за арабские территории: «Англо-французская декларация». – Основания притязаний Франции и Англии. – Вопрос к Лоуренсу. – Телеграмма Пико из Бейрута.

Настало время выполнения условий рокового для арабов и Лоуренса договора.

7 ноября французское и английское правительства выпустили совместную декларацию, гласившую: «Цель, к которой стремятся Франция и Великобритания, заключается в полной и несомненной свободе народов, столь долго находившихся под гнетом турок, и в установлении национальных правительств и администраций, власть которых основывалась бы на инициативе и свободном выборе туземного населения.

Для того чтобы выполнить эти намерения, Франция и Великобритания согласились в своем желании побудить к установлению туземных правительств и администраций в только что освобожденных союзниками Сирии и Месопотамии и помочь в этом, – равно как и на тех территориях, где они взяли на себя обеспечение безопасности и признание правлений, как только они будут фактически установлены.

Совершенно не желая возлагать на население этих областей подобного или подобных учреждений сверху, Франция и Великобритания озабочены лишь тем, чтобы заверить в своей поддержке и практической помощи нормальной работе правительств и учреждений, которые эти народности установят по своему выбору; обеспечить беспристрастное и равное для всех исполнение законов;

поспособствовать экономическому развитию страны при побуждении и поддержке местной инициативы; посодействовать распространению образования и положить конец всем тем разногласиям, которые столь долго использовала в своих целях турецкая полиция. Таковой является задача, которую оба союзника желают выполнить на освобожденных территориях».[1]

Единственной целью данного заявления являлось рассеять опасения арабов, которые уже ожидали нового гнета. В действительности же «практическая помощь нормальной работе правительств» означала колонизацию.

Притязания французов на Сирию основывались на том, что после Крестовых походов на Левантийском побережье остались, «как обломки после кораблекрушения»,[2] латинские государства. Это дало повод считать ту территорию, некогда столь бесславно захваченную, землей своих предков. «Патриотизм» был столь силен, что они решили не уступать ни пяди. Этих намерений они не теряли с марта 1915 года, когда узнали, что русские заявили о своем требовании на взятие Константинополя. Французы собирались добиться своей цели тотчас после победы и подкрепить атаку как военными силами, так и политикой притязания на роль защитников христианства в восточной части Средиземного моря и Ислама – в южной. «К несчастью, сирийские мусульмане полагали, что французы слишком сильно защищают интересы Алжира и Туниса».[3]

Англичане, в свою очередь, претендовали на Месопотамию: до сих пор обширность владений соотносилась с величием. Это захватническое побуждение прикрывалось благородным опасением, что арабы не смогут без британской помощи установить действенную администрацию. Задача англичан усложнялась тем, что по договору Сайкса-Пико Мосульский вилайет в Месопотамии попадал в зону французского влияния, отчего возникал вопрос, как сохранить единство данного государства «к будущему благополучию арабов». Для решения этой проблемы британское правительство «было вынуждено нарушить торжественную клятву сохранить суверенитет арабов

в Сирии».[4]

Все было предрешено, и насмешка слышится в том, что Лоуренс, по прибытии в Лондон, был вызван на заседание военной комиссии правительственного кабинета, чтобы изложить свое мнение относительно будущего арабских стран. Но, если его спрашивали для проформы, то он собирался отстаивать интересы арабов всерьез – и так, измученный войной и собственной трагедией, оказался вынужденным коснуться политической области, нечистота которой была для него очевидна.

Лоуренс предложил создать три государства – в Сирии, Верхней Месопотамии и Нижней Месопотамии – и поставить в их главе трех сыновей Хуссейна. Идея подобного разделения обусловливалась пониманием того, что арабские территории не могут быть объединены в одно государство из-за различий между их населением. Предложение было вежливо направлено по телеграфу Вильсону, временно исполнявшему обязанности гражданского комиссара в Месопотамии. Тот, конечно, отнесся к нему весьма прохладно, так как не желал ни разделения, ни вывода британских войск из Месопотамии. На этом формальности завершились.

Между тем, французы готовились к решительной борьбе. 6 ноября в Бейрут прибыл Пико как «верховный французский комиссар в Сирии и Армении». 14-го он телеграфировал в Париж: «До тех пор пока британская армия занимает страну, в настроении населения будет присутствовать сомнение, благоприятное для враждебных нам элементов. Единственным выходом из положения является отправка двадцати тысяч солдат в Сирию и просьба к Англии передать ее нам... Если мы будем колебаться ... наше положение в Сирии окажется подорванным так же, как оно было подорвано в Палестине».[5]

Окончательно будущее арабских стран должно было решиться на мирной конференции в Версале.

Глава CXL

Прибытие Фейсала во Францию. – Директива Бремону относительно Лоуренса и Фейсала. – Сокрытый свет. – Трудность допуска Фейсала к участию в мирной конференции. – Единственный союзник Лоуренса среди европейских делегатов. – Сирийский вопрос. – Переговоры Фейсала и Клемансо. – Роковой шаг Хуссейна. – Возвращение Фейсала в Сирию.

Во второй половине ноября британское правительство пригласило в Лондон Фейсала, и 26 ноября тот прибыл на британском крейсере “Gloucester” в Марсель, где его встретил Лоуренс.

Французское правительство приписало визит Фейсала действиям Лоуренса и направило Хуссейну резкую телеграмму, в которой говорилось, что Фейсал был бы принят во Франции с почестями, подобающими сыну союзного правителя, и выражало удивление, что проезд не был организован через их представителя. Бремону, к тому времени вернувшемуся во Францию, было поручено встретить Фейсала. При этом французское министерство иностранных дел указало ему, что того надлежит рассматривать как «генерала, выдающееся лицо, но отнюдь не признавать в нем носителя иностранной дипломатической миссии. С Лоуренсом же следует обходиться весьма строго, показав ему тем самым, что он идет по неверному пути».[1] К этому было добавлено: «Если Лоуренс приедет как полковник британской армии в английской военной форме, то его надо приветствовать. Но мы не принимаем его за араба, и если он будет в арабском одеянии, нам с ним делать нечего».[2] Бремон не имел возможности встретиться с Фейсалом до тех пор, пока тот, вместе с Лоуренсом, не прибыл 28 ноября в Лион.

Так начался печальный период в жизни Фейсала, полный борений, разочарований и унижений, – после всех его страданий и усилий военных лет. Благородный пророк, внушавший на Востоке благоговение, на Западе оказался в положении «бедного родственника»: таковой стала «награда» от бывших союзников, являвшихся в дейст-

вительности эксплуататорами. Но и теперь Фейсал сохранял свое достоинство и ту царственную простоту, что в этом возвышенном образе была не приобретенною манерою, но естественностью. Унижая его своекорыстием и пренебрежением, союзники унижали самих себя.

Фейсал был уведомлен о мнении французского правительства относительно Лоуренса. Тот в связи с этим решил выехать в Англию тем же вечером, 28 ноября. Фейсал же был провезен по старой линии фронта во Франции и 9 декабря прибыл в Булонь. Там его встретил Лоуренс и забрал в Англию на весь месяц.

В дни пребывания Фейсала в Европе они с Лоуренсом сблизились еще больше. Во время войны их соединили личностное сходство и общность цели, ныне же, когда земля ушла из-под ног, их единение достигло кульминации, а теплота, с которой они относились друг к другу, была заметна даже посторонним. «Никогда не видел такой близости между мужчинами», – отмечал в своих записях один из участников Версальской конференции. Эта их печальная радость почти полностью сокрыта за политической бурей, как свет за тучами, но она – была, по-особенному острая в своей обреченности и в обстановке внешней враждебности. Фейсал был единственным, кроме Дахума, кто соответствовал Лоуренсу, и, если бы не внешние обстоятельства, они могли бы стать хорошей парой.

В январе Лоуренс с Фейсалом приехали в Париж на заседание мирной конференции и поселились в гостинице “Continental.” Французы больше не могли возражать против присутствия Лоуренса, и он был назначен членом делегации министерства иностранных дел по делам Востока. Однако они не соглашались с присутствием Фейсала, рассматривая его лишь как «почетного гостя» и отказывая ему в возможности политических требований. Фейсал же просил только о том, чтобы его допустили в качестве представителя своего отца, который был признан королем Хиджаза. Лоуренс в прошлом месяце в Англии делал все, что было в его силах, чтобы Фейсал был допущен к участию в конференции. Французы уступили только после того, как Клемансо, благодаря вмешательству англичан и

американцев, нажал на своих подчиненных. В середине декабря кандидатура Фейсала была одобрена, однако его участие ограничивалось тем, что право Хуссейна высказать свой голос в отношении будущего Сирии и Месопотамии не было признано официально.

«Затем в Версале началось мирное сражение – дележ военной добычи».[3] Лоуренс обрел некоторого – и единственного – единомышленника в лице Ллойд Джорджа, на которого произвели сильное впечатление его четкая аргументация и широта знаний. По мнению же Лоуренса, Ллойд не только превосходил других государственных деятелей, собравшихся в Версале, но и отличался почти ото всех из них своим желанием действовать в соответствии со справедливостью, а не национальной гордыней.

Лоуренс представил ему арабскую проблему так, как видел ее, и предложил свое решение. Более всего он желал, чтобы Фейсал обосновался в Дамаске как правитель независимого сирийского государства – при том, что северный участок побережья мог быть оставлен французам. Необходимым с точки зрения справдливости дополнением он считал создание аналогичного государства в Месопотамии.

Отстаивая дело арабов, Лоуренс все сильнее ощущал горечь надвигавшегося провала, ибо, несмотря на все свои старания, понимал, что эта попытка обречена. Как и на войне, он делал все возможное только оттого, что не мог иначе. Для Фейсала, в свою очередь, эти политические перипетии стали мучительным испытанием. Как-то в январе после очередного заседания Лоуренс обнаружил его беспокойно блуждавшим в два часа ночи вокруг гостиницы...

Французы упорно держались за Сирию. Англичане не желали отказываться от Месопотамии. Благородной буффонадой стало создание межсоюзнической комиссии для посещения Сирии, Палестины и Месопотамии с целью выяснить мнения самого населения. При этом французы позаботились о том, чтобы не назначать своего представителя. Доклад американских членов комиссии, посетивших Восток, не привлек, естественно, внимания, так как ясно

показывал, что население не желает французского мандата.

Англия, «с мельничным жерновом в виде Месопотамии на шее»,[4] не могла добиться того, чтобы Франция отказалась от своих притязаний, тем более что французы опасались, что предоставление независимости Сирии может вызвать эхо в старых африканских колониях. Фейсал напрасно аппелировал к Совету десяти. Во время одного из заседаний Пишон, французский министр иностранных дел, коснулся истории крестовых походов как основания для претензий на Сирию. Фейсал спокойно заметил: «Простите, месье Пишон, но кто из вас оказался победителем в крестовых походах?» Лоуренс, присутствовавший на заседаниях как переводчик для Фейсала, обратился к собранию с этим вопросом последовательно по-английски, по-французски и по-арабски.

В конце концов, англичане оставили сирийский вопрос, имея удобным извинением необходимость решения более важных задач. Сирия оказалась под французским мандатом, фактически став ее новой колонией.

Однако торжествовать французам не пришлось: вскоре они столкнулись с проблемой недемобилизованных турок, которые пытались вернуть во время перемирия утраченную территорию. Этими временными затруднениями воспользовался Фейсал, вступив в переговоры с Клемансо. Тот, поначалу не желая считаться с ним, теперь сам предлагал признать независимость Сирии при условии, что Фейсал будет поддерживать интересы Франции (ловкое предоставление независимости!). Фейсал, оказавшийся в беспомощном положении после того, как Англия отказала ему в своей поддержке, был вынужден согласиться, чем вызвал огромное негодование своего отца.

Отчасти из-за возмущения такими действиями Хуссейн решился на то, что оказалось для него фатальным: он объявил себя верховным правителем правоверных. Этим он немедленно восстановил против себя имама Йемена и ассирийского эмира Идрисси, а также вызвал бурю возмущения у ваххабитов, которые начали добиваться его низложения.

В конце мая Абдулла, переступивший по настоянию отца границы возмущенного Неджда, был захвачен врасплох ночью. Из всего его четырехтысячного войска с ним спаслась бегством лишь небольшая группа, остальные были убиты со всей жестокостью фанатизма. Сохранение за Хуссейном Мекки являлось только вопросом времени.

Фейсал понимал ненадежность своих перспектив и действительные устремления французов и прямо сказал их представителям: «Я приму вашу помощь, но я никогда не приму рабства». 23 апреля, после отсутствия в пять месяцев, он возвратился в Сирию. Победитель, которого полгода назад радостно приветствовал его народ, оказался побежденным. Лоуренс предполагал это, но ничто не могло смягчить боль от унижения его друга.

Глава CXLI

Курьезы времен конференции

Во время конференции оставалось место и для весьма любопытных случаев. Лиддел Гарт приводит рассказ о том, как Лоуренс встретился с маршалом Фошем. «Фош сказал Лоуренсу в шутливом тоне: “Когда мне потребуется умиротворение Сирии, я пошлю Вэйгана,” – на что Лоуренс ответил: “Нам будет там очень хорошо, – до тех пор, пока не приедете Вы сами.” Этот тонкий оттенок лести напоминает один из классических эпизодов встречи двух великих полководцев Пунической войны. Когда Ганнибал на вопрос Сципиона, кого он считает величайшим из всех полководцев, назвал первым Александра, вторым Пирра и себя третьим, Сципион спросил: “А что будет в том случае, если Вы победите меня?” Ганнибал ответил: “Тогда я буду вынужден поставить себя на первое место”».[1]

На деле же Лоуренс сомневался в военном таланте Фоша и еще до войны обнаружил в ходе своих штудий, что

бо̀льшая часть материалов в учебниках, создавших Фошу репутацию военного мыслителя, являлась заимствованиями из трудов одного немецкого автора. Личная встреча только усилила разочарование. Когда Лоуренс узнал, что Гарт принялся за изучение карьеры Фоша, то заметил: «Он был довольно серой фигурой, обладавшей скорее зубами, чем мозгами. Это было иронией судьбы, что история сделала его победоносным генералом последнего периода».[2] Из военачальников восхищение Лоуренса вызывал Элленби, однако больше своим характером, чем способностями. «Он был командующим со столь здравым суждением, что все мы работали для него без устали и почти без передышки».

Гарт рассказывает и другой случай: «Некий генерал, который в дальнейшем командовал на Рейне и про которого можно было сказать, что его лай был хуже его укуса, будучи рассержен уверенной манерой Лоуренса при выражении своих взглядов, разразился глупейшим упреком: “Вы не являетесь профессиональным военным.” Лоуренс едко возразил: “Совершенно верно, но если у Вас будет дивизия и у меня будет дивизия, то я заранее знаю, кто из нас окажется взятым в плен”».[3]

Во время конференции Лоуренс иногда носил арабское одеяние, потому что Фейсал привык видеть его в таком образе. Так он сопровождал Фейсала в Букингемский дворец в качестве переводчика. Его вид потряс некое лицо, которое сказало ему: «Считаете ли вы правильным, полковник Лоуренс, что подданый короны и к тому же офицер должен приходить сюда в иностранной военной форме?» Лоуренс невозмутимо ответил: «Когда человек служит двум господам и вынужден разгневать одного из них, то лучше обидеть более могущественного». Обычно же он носил в Париже куфию вместе с британской военной формой и британскими знаками отличия. К слову об одежде можно привести эпизод из несколько более раннего времени. Вскоре после возвращения в Англию Лоуренс шел дождливым днем по улице Лондона, будучи одетым в весьма потрепанный макинтошик. Случайно ему повстречался некий майор, весь с иголочки. Он остановил

Лоуренса и сурово спросил, почему тот не отдал ему честь. Вместо ответа Лоуренс молча спустил макинтош с плеча, где сияли погоны полковника. Это было единственным случаем, когда он воспользовался своим положением, чтобы произвести некоторое впечатление.

Еще история. В один из вечеров, после того как французы добились мандата на Сирию, Лоуренс с Фейсалом совершали облет Париж на аэроплане, чтобы посмотреть на иллюминацию города. Созерцая его блеск, Фейсал произнес с сожалением: «Как жаль, что нет бомб, чтобы сбросить на них! Но не стоит переживать, – здесь есть подушки», – и в самом деле, подушка с сиденья полетела вниз.[4]

Были происшествия и личного характера. Так, согласно записям в дневнике Ричарда Майнерцхагена, однажды в отеле "Majestic" Лоуренс отобрал у него дубинку (привезенную тем когда-то из Африки) и убежал, побуждая догнать его. Тот его догнал, страстно обнял и... отшлепал. Позднее Лоуренс сказал ему: «Теперь я понимаю, почему женщины соглашаются на изнасилование, когда их обнимает сильный мужчина». Лоуренс был заворожен мужественной внешностью Майнерцхагена, и тот стал его мимолетным увлечением. Стремясь к удовлетворению своего желания, Лоуренс в другой раз пытался соблазнить его, раздеваясь перед ним в ванной... Чувствительный и чувственный, он нуждался в ласке, и его несчастье, что он получал ее столь мало.

Глава CXLII

Начало работы над «Семью столпами мудрости». – Катастрофа под Римом.

По завершении конференции Лоуренс оказался в стороне от дел политических и смог вернуться к личным. Теперь, когда его дар оказался ненужен, а памятник разбит, он, желая сделать в память Дахума хоть что-то, начал весной 1919 года писать книгу об арабском восстании –

создавать монумент, неподвластный обстоятельствам и времени. Второй раз Дахум оказался созидающим началом: как без него, основного мотива действий Лоуренса на Востоке, восстание могло пойти по иному, кровавому, пути, так без него не было бы и «Семи столпов мудрости». Лоуренс отдался новой работе со всей страстью и самозабвением, определив при этом для себя критерий, которого, по его мнению, так и не сумел достичь.

Сделав набросок, Лоуренс почувствовал необходимость в своих военных дневниках и документах, которые оставались в его вещевом мешке в Каире. Генерал Гровс, британский делегат от авиации, предложил ему совершить перелет с отрядом самолетов, направлявшихся из Франции и Бельгии в Египет и бывших, надо заметить, уже весьма изношенными. Ему было предоставлено место в головной машине эскадрильи, «Хэндли-Пейдже».

На борту вынужденная и трудная праздность заставила Лоуренса с новой остротой ощутить пустоту от своей потери. Он записал карандашом на форзаце книги «The Singing Caravane» Р. Ванситтарта: «Я завоевывал для него свободу, чтобы засияли его печальные глаза, но он умер, ожидая меня. Так что я отбросил свой дар и теперь нигде не нахожу ни отдыха, ни покоя. Записано между Парижем и Лионом в “Хэндли-Пейдже”». Так человек почти безотчетно предает бумаге гнетущие мысли, пытаясь обрести освобождение от них в их выражении. Но облегчение не настает, и бесполезные слова замирают на листе непонятным другим отголоском той тяжелой пульсации, что безысходно бьется и бьется в сознании.

17 мая, в 20.15., когда уже сгущались сумерки, отряд подлетал к Риму. Самолет, в котором находился Лоуренс, снизился и коснулся земли, но пилот, не будучи уверенным, что удастся сесть, решил снова набрать высоту. При взлете одно крыло задело о дерево, и самолет перевернулся, опрокинувшись на дорогу, проходившую по краю авиалагеря в Ченточелле. Один из летчиков, лейтенант Фредерик Джордж Принс, двадцати семи лет, погиб на месте, второй пилот, Сидней Спратт, девятнадцати лет, умер спустя три часа. Оба бортовых механика выжили,

получив лишь некоторую контузию.

Лоуренс, который сидел позади моторов, отклонив предложение сесть перед ними, отделался трещиной в лопатке, переломом трех ребер и позвоночника. Одно из ребер пронзило легкое, отчего он впоследствии всегда испытывал при напряжении боль в груди, словно от воткнутого ножа. Это падение стало шестым случаем, когда Лоуренса миновала «смерть в воздухе», казавшаяся ему счастливым освобождением. В 1921 году в Палестине произошло седьмое – и последнее – падение, за его две тысячи летных часов. Смерть избегала его, так желавшего отдохновения.

Из обломков Лоуренса вытащил один из механиков, Фредерик Доу. 7 июля Лоуренс писал ему из Каира, прилагая к письму чек на десять фунтов стерлингов: «Не купите ли Вы себе какой-нибудь пустячок в память о нашем весьма жестком приземлении в Риме? Мне было отнюдь не удобно висеть в обломках, и я очень благодарен Вам за то, что Вы откопали меня».

Лоуренс был помещен в военный госпиталь дель Челио. Там его навестил король Италии Виктор Эммануил III. Погибшие летчики были с почестями похоронены на английском кладбище в Тестаччо, а их надгробия украсили герб и девиз Королевских Воздушных Сил: «Per ardua ad astra».

Проведя в госпитале три дня, Лоуренс позвонил своему товарищу по службе Фрэнсису Родду, который тогда находился в Риме, где его отец был британским послом. Родд быстро договорился о переводе Лоуренса в помещение посольства, но тот, после нескольких дней пребывания в прекрасных условиях, настоял на продолжении перелета с остальной частью отряда. Он отбыл 29 мая, находясь в гипсе. Самолетом управлял Томас Хендерсон, знакомый Лоуренсу по арабской кампании.

Эскадрилья направилась в Фоджу, затем в Торонто, а оттуда – в Албанию. Там едва не произошло еще одно крушение. «Никогда не забуду вид твоего самолета, спускавшегося к албанскому берегу с едва движущимся пропеллером и как я стонал: “Еще один ушел,” – писал потом

Лоуренс пилоту. – Тот полет испугал меня до смерти». После Албании самолеты миновали Афины и Крит – все так же с вынужденными остановками и неприятностями. Только к концу июня Лоуренс прибыл в Каир, где и провел несколько дней.

19 мая 2009 года, спустя девяносто лет, итальянцы вспомнили о той катастрофе: в газете «Reppublica», с. 32, была опубликована статья Марио Тедескини Лалли «Quando Lawrence precipitò a Roma», а в Риме состоялась небольшая религиозная церемония в память о погибших летчиках. Иногда чужие умеют помнить лучше, чем свои.

Глава CXLIII

Работа над первым вариантом «Семи столпов мудрости».

Вернувшись из Каира, Лоуренс остановился в Париже и приступил к работе над книгой. Он писал в едином порыве все лето 1919 года, забывая о еде, сне и отдыхе, порой целыми сутками, с одним перерывом для еды. За двадцать четыре часа он излагал по тридцать тысяч слов, в перерывах же между творческими подъемами просматривал написанное. Это был изнурительный труд, но в то же время – роскошество ничем не тревожимой необходимой работы.

Все силы Лоуренса сосредоточились на его деле, которое подчинило его себе и не отпускало до последнего слова. Творческая деятельность страшна своей настоятельностью: создатель становится орудием идеи, которая не покидает его, пока не возьмет все то, что он может дать. Не дар для человека, но человек для дара.

Для Лоуренса работа стала забвением, а вдохновением – боль, самое сильное побуждение к созданию (творец без боли не имеет силы). Книга позволяла отдышаться, а те

лихорадочные приступы, которыми она писалась, были его лучшим временем в первые послевоенные годы, ибо труд, исчерпывавший его, имел *смысл*. Он снова старался во имя Дахума, а также надеялся, что его слово будет услышано, и он, одинокий и осквернённый своей «ложью», оживет в благодатной мере чьего-то понимания. Второе являлось столь же значимым: Дахум не мог отозваться, и Лоуренс ожидал отклика от кого-то другого, *равного* – того самого всепонимающего друга, который существует для творца как осмысление его работы. Творчество есть крайняя попытка коммуникации, проекция всего себя в неизвестность, в которой должен быть кто-то слышащий, и завершение творческого действа – в понимании.

К концу лета Лоуренс покинул Париж. Его труд, состоявший из десяти «книг», был почти завершен.

В июле он демобилизовался, а в ноябре был избран на семь лет членом Оксфордского колледжа «Всех Душ», занимавшегося исследовательской работой, где ему было предложено написать по собственному выбору какой-либо труд по истории Среднего Востока.

В конце года Лоуренс выехал из Лондона в Оксфорд, уложив рукопись вместе с другими вещами в чемодан. В Ридинге была пересадка, и он пошел в буфет, где положил чемодан под стол. Вспомнил он о нем лишь, когда сел в поезд: неудивительная рассеянность при его тяжелом духовном состоянии. Приехав в Оксфорд, он позвонил в Ридинг, но вещи пропали. Так оказывался разрушенным и этот памятник.

Глава CXLIV

«Фотография из Кархемиша»

Примерно в то же время Лоуренс записывает в дневнике свое стихотворение, отражающее суть его существования после утраты Дахума:

Фотография из Кархемиша

Я смотрю на тебя, мой любимый, мой брат.
Пистолет дремлет на твоем юном лоне,
а на губах – задорная улыбка.
Мой маленький хеттит, после тебя не может быть никого
другого.

В темноте твоих глаз, мой любимый, мой брат,
был сотворен мир из вод Хаоса.
Ныне черные волны слез
обрушиваются на побережье моего сна
и топят мои мечты навсегда.

Кажется, первая строфа столь проста, что едва ли может быть названа поэзией. Однако то простота глубины: несколькими штрихами Лоуренс обрисовывает свою действительность, сузившуюся до пространства фотографии, за пределами которой – небытие его одиночества. Жизнь длится лишь в этом диалоге взглядов, и страшно прервать его – посмотреть вокруг и увидеть пустоту или взглянуть вперед, где та же боль, только сгустившаяся до черноты неизвестности, как кровь... Так можно долго лежать, поглаживая образ и ощущая себя живым от ранящей нежности, открывшейся в омертвевшей груди от этого общения. Длительное же созерцание создает «эффект портрета» – блаженный зрительный обман, от которого кажется, что выражение изображенного лица меняется, откликаясь на мысли и чувства смотрящего.

А взгляд скользит по снимку, словно лаская, – по юному смеющемуся личику, по груди, у которой Томас слушал биение любящего сердца, по рукам, столько раз касавшимся его, по спадающим складкам одеяния и обрывается на краю. И опять – в любимые глаза: «Брат мой!..» Лоуренсу был дан тяжелый дар любить и – непоправимое одиночество. «Эта нежность никому не нужна, – прими ее, чтобы не было так больно...» – может быть, шептал он фотографии.

Во имя любимого он поднял волны людские к берегам свободы, – обрушились волны слез на побережье некон-

чающегося сна, и заметались воды Хаоса, топя его самого. Он мечтал о жизни с Дахумом – без него не осталось и жизни, ибо только в братстве – осуществление и бытие. Но даже и теперь они были едины – в вечности, которой Лоуренс уже принадлежал через свою боль, любовь и веру. Только телесно, слабо, он еще был связан с земным существованием, что превратилось для него в ожидание конца – воссоединения.

Лоуренс видел глубоко и умел *сказать* увиденное: в этом – сущность поэтического дарования. Он был поэтом по своей природе, но не смог проявиться – из-за того же стремления к совершенству и отсутствия веры в свои возможности. Но даже этими двумя стихотворениями, «Посвящение» («Я любил тебя...») и «Фотография из Кархемиша», он внес в поэзию неоценимый вклад, ибо в своих немногих словах запечатлел во всей глубине любовь к названному брату – высший дар, открывающий Вечность.

Глава CXLV

Второй приезд Фейсала в Англию. – Провозглашение Фейсала королем Сирии. – Англия и Франция получают желаемые мандаты. – Свержение Фейсала.

В сентябре 1919 года Фейсал снова приехал в Англию и узнал, что правительство вошло в соглашение с Францией о выводе британских войск из Сирии в ноябре. Ему был дан совет договориться с французами непосредственно, но он по своему печальному опыту знал о тщетности подобных переговоров и еще раз обратился к англичанам с отчаянным призывом не лишать его поддержки. Это ни к чему не привело: колониалистические аппетиты на Месопотамию были слишком сильны.

Лоуренс возобновил свои попытки помочь Фейсалу, но итогом стало лишь то, что в ответ на его замечание об

истинных намерениях Англии, лорд Керзон указал на некий визит некоторых офицеров Шерифа из Дамаска к племенам Месопотамии, что дало основание местным военным подозревать их в стремлении создать антибританское движение. Нури Саид категорически опроверг это обвинение, и маловероятно, чтобы оно имело под собой почву.

Как бы то ни было, арабы не собирались смиренно уступать, и 7 марта 1920 года в Дамаске собрался Арабский конгресс, на котором Фейсал был объявлен королем Сирии, а Абдулла – королем Ирака. Французы незамедлительно призвали британцев к совместным действиям, лорд Керзон быстро откликнулся, и в Дамаск была направлена телеграмма, в которой резко осуждалось решение конгресса, а Фейсалу предлагалось присутствовать на франко-британских переговорах, что должны были уладить дело.

В апреле на конференции в Сан-Ремо мандат на Сирию был передан Франции, а на Месопотамию и Палестину – Англии. Французы формально отказались от своих притязаний на Мосул. Британское правительство оказалось более благородным и позволило арабам принять незначительное участие в управлении их собственной страной. Новое французское правительство, сменившее прежнее Клемансо, напротив, стремилось отстранить сирийских арабов от контроля над Дамаском.

«Милосердие» англичан не было оценено: в Ираке начались восстания племен, проживавших на Евфрате, и эти вспышки не удалось погасить до конца года. Потребовалась отправка крупных подкреплений из Индии. Таким образом, британские военные расходы в Ираке в 1920-21 годах составили 60 000 000 фунтов стерлингов, что в шесть раз превысило затраты на поддержание арабского восстания против Турции, продолжавшегося столько же времени.

Французы быстро обосновались в Дамаске и потребовали от Фейсала подавления воинственности арабских радикалов, а 14 июля, когда появились признаки вооруженного сопротивления, предъявили уже ультиматум.

Фейсал в ответной телеграмме согласился на представленные в нем требования, однако его положения это не сохранило. По приказу генерала Гуро французские войска пошли в наступление и 25 июля заняли Дамаск. Фейсал потерял свой трон и спасся бегством в Палестину, а оттуда опять направился в Англию с безнадежной просьбой о британской интервенции в свою поддержку. Но для Англии он уже сыграл свою роль и теперь не представлял никакого интереса. Лоуренс был единственным англичанином, который стремился ему помочь и, не имея других возможностей, писал статьи в газетах. Французам вскоре пришлось пожалеть о свержении Фейсала: они столкнулись с еще большими трудностями, чем те, которые встретились англичанам в Ираке.

Так арабы, победившие в войне, оказались побежденными в мирной жизни.

Глава CXLVI

«Семь столпов мудрости»: второй вариант. – Слабость слова. – История написания и издания. – Неуверенность Лоуренса и вред чужих советов. – Отношение Лоуренса к своей книге и отзывы читателей. – Ценность произведения.

Весной 1920 года, когда арабы предприняли свою отчаянную попытку, Лоуренс, лишенный возможности чем-либо помочь им, занялся восстановлением своего труда, из десяти «книг» которого уцелели только две последних и вступительная часть. Работу несколько облегчали его превосходная память и дневники. Во «Всех Душах» ему дали членство с местом, но он мог работать только в уединении и поэтому поселился в Лондоне, на Бартон-стрит, в чердачной комнате, которую предоставил ему его знакомый архитектор Герберт Бейкер.

Так Лоуренсу пришлось в третий раз пережить события военных лет, снова осознать свою роль, опять встре-

титься с теми, кого он, по его убеждению, «обманывал», еще раз не осуществить свой дар – и это в то время, когда на руинах его попранного храма разворачивалась вакханалия политической борьбы, которую он был вынужден лишь бессильно наблюдать! Некоей изощренной насмешкой кажется эта необходимость восстанавливать то, что и при первом, несравнимо более вдохновенном, написании было подобно погружению в свой ночной кошмар. Но и это он принял – ради любимого. И так же, как его аравийское борение оказалось в сути своей восславлением чувства между мужчинами, так и «Семь столпов мудрости» стали не только памятником Дахуму, но триумфальной стелой истинной любви.

Желание создать это посвящение придавало Лоуренсу сил, и, сколь мучительной ни была его работа, он снова сполна отдался ей. Однако продвижение вызывало все большие трудности. «Я приступил к работе с той же ясностью и простотой, с какими ребенок начинает говорить, думая, что это легко. Затем я обнаружил себя увязшим в смешении возможностей выразить простейшие вещи и неспособным описать заурядне́йшие места. Потом появились сложности ведения повествования и необходимость охарактеризовать людей, которые были со мной. В самом деле, я совсем запутался, и работа стала слишком большой для меня».[1] Отстранение от книги во время передышек углубляло разочарование. «Когда я писал, то находился на подъеме и работал упорно, но в перерывах все исполнение казалось жалким... Контраст между тем, что я подразумевал, чувствуя себя способным это сделать, и истиной того, что мне позволила моя слабость, был так прискорбен!»[2]

Едва ли Лоуренсу было известно, что итог неизбежно хуже замысла. В процессе творчества воодушевление не позволяет замечать бледность отображения того, что столь ярко живет в сознании, но, когда ослепление этой внутренней яркостью проходит, открывается неминуемая «слабость» выражения. Писатель или поэт могут *рассказать* о чувстве, – но не *сказать* его, передать мысль, – но не во всей ее сложности и взаимосвязи с другими движениями души. Такова слабость слова, равно как и любого

иного вида искусства. Искусство разлагает объективную и субъективную реальности на части смысла, звук, цвет или форму, но не не выражает их сполна. Творец же стремится передать *все*. Лоуренс исчерпывал себя в этой попытке: «Я едва не потерял разум на Бартон-стрит при писании и переписывании своей ужасной книги».[3]

Поэту работать относительно легче, ибо его творения рождаются из тех прорывов в подсознание, что ассоциативной цепью, метафорикой, самим ритмом намекают на живущее внутри. Писатель работает со словом, отделенным от пространства подсказывающих интонаций: его речь – рассудочно ведомая закономерность. Поэзия создается бессознательным смещением и наложением плоскостей, проза же знает только сознательное прямое движение. Но и в первом, и во втором случаях замысел не находит точных слов – той меры, что изведала бы его глубину. Он проходит сквозь лабиринты сознания, видоизменяясь и обрастая дополнениями, и является на свет преобразованным конгломератом, потерявшим первоначальные очертания. Если бы творческий опыт Лоуренса был больше, он знал бы, что совершенство в творчестве есть максимальная приблизительность к невыразимой первооснове.

Однако он требовал от своей книги полного соответствия внешней и внутренней жизни и, не достигая этого, полагал, что работает вполсилы и потому неспособен сказать так, как может и должен: «В глубине души есть чувство, что, если бы я действительно попытался, сел и выжал свой разум, результат оказался бы неизмеримо выше. Я избежал этого крайнего усилия, ибо и так едва не убил себя, делая данный набросок».[4] Эта иллюзия последнего усилия, возникающая от необходимого несоответствия задуманного сделанному, и является знаком завершенности: возможного истинный творец не избежит.

«Семь столпов мудрости» были воссозданы за три месяца. Этот текст послужил основой для окончательного варианта, работа над которым велась в 1921 году в Лондоне, Джидде и Аммане и была завершена в феврале 1922-го. В том же году были изданы восемь экземпляров в

типографии “Oxford Times.” Рукопись Лоуренс передал Бодлеанской библиотеке. В армии он снова вернулся к своей книге. Корректуры оживили воспоминания военных лет, и те стали являться кошмарами в короткие часы забытья. Пять ночей подряд Лоуренс будил всю казарму криками, после чего его избили. «Это было унизительно и весьма больно».[5]

Книга была переиздана в конце 1926 года тиражом в сто с лишним экземпляров с ироничным подзаголовком «Триумф» (что это был за «триумф» для автора, мы знаем). Весьма богато оформленное издание оказалось дорогостоящим, и Лоуренсу пришлось занять необходимую сумму. Чтобы рассчитаться с долгом, он издал в 1927 году сокращенный вариант под названием «Восстание в пустыне». Как только сумма была покрыта, продажа была приостановлена, продолжаясь только в Америке и в переводах, доходы от чего поступали в Благотворительный фонд BBC. Лоуренс и в этом деле, как и во всем остальном, что касалось его участия в войне, не желал «зарабатывать на крови своих друзей и врагов» и на памяти того, ради кого он вел свою борьбу.

При написании книги Лоуренс настойчиво искал совета (в основном, у людей искусства) и, получая, уделял этому слишком большое внимание, что далеко не всегда приносило пользу. Так, например, он по «доброму» предложению удалил из эпизода боя при Аба эль Лиссане стихотворение Даусона, за исключением строк «Все цветы Твои были передо мнрой, но я выбрал мира печальные розы, // И оттого мои ноги в крови, а глаза ослепляет катящийся пот». Таким образом, осталось следствие без причины, отчего стало неясно, почему именно это стихотворение вспомнилось ему в столь неподходящий момент. Эта неуверенность в себе кажется поразительной и досадной: как мог Лоуренс, бывший всегда столь решительным, что казался самонадеянным, усомниться в своих творческих способностях и отдать на чужой суд памятник своей любви? Однако его новое поведение легко объяснимо. Потерпев неудачу в восстании, он потерял веру в себя: его несгибаемая воля дала трещину.

Он не мог оценить свой труд, а его горчайшая взыскательность к себе усугубляла положение. Отправляя свою книгу в августе 1922 года Бернарду Шоу, он писал: «Это затянуто, претенциозно и скучно до такой степени, что я сам не могу смотреть на это. ... Мое отвращение таково, что я больше не верю, что стоит пытаться исправить это (или возможно исправить)».[6] Эти слова можно принять за побуждение к похвале, – если не знать Лоуренса. В своем порицании он был совершенно искренен. Это для нас «Семь столпов мудрости» есть только стела мужской любви, для него же книга была представлением самого себя как «обманщика» – в надежде на очищение в понимании, а также последнее «прости» Дахуму, любовь к которому он, по своему мнению, осквернил «ложью». Его памятник был еще и покаянием. Одного этого было достаточно, чтобы уничтожить всякую творческую радость, а ведь ему пришлось еще и переписывать свой труд, что еще сильнее исказило восприятие. Добавьте к этому невозможность достичь собственного критерия (недостижимого, как мы уже сказали), и в искренности Лоуренса не останется сомнений.

Он не ждал похвалы, которая стала бы при его смирении таким же осквернением его простоты, как та лесть новых сторонников в Азраке. Он ожидал *понимания*.

Одни из читателей утрированно превознесли книгу: это было унизительно. Другие отозвались небрежно, именовав ее «дешевой мелодрамой», как издатель “Daily Express” Р.Д. Блюменфельд: это было «заслуженно» («Вся моя жизнь до сих пор была таковой»,[7] – спокойно отвечал Лоуренс). Третьи оказались циничны: «ясным, умиротворенным» (“serene”) назвал Э. Гарнетт описание мученичества в Дераа. Это было обращено к лучшему: «Звучит, как странный провал передать мои впечатления, но я знаю, что Вы чувствовали»[8] (сколь глубоко чувствовал чужой ему человек, очевидно из его определения). Никто не сказал нужных слов, что стали бы единственной наградой за этот мученический труд, – слов, исполненных понимания и прощения. Их мог бы произнести, пожалуй, один Дахум. Надежда найти равного ему среди читателей

не оправдалась, и книга стала вторым провалом.

Если оценивать эту книгу как человеческий документ, то она полна глубинной силы, дарующей ей жизнь, – того самого основного мотива участия, ставшего здесь скрытым лейтмотивом повествования. Эта энергия сплавляет текст в единое целое, где каждое слово, каждый абзац суть части напряженного существования военных лет, сосредоточенные в драматическую симфонию Любви. Таким образом, книга, где о привязанности автора сказано лишь украдкой в посвящении, со всем правом может быть поставлена на первое место в настоящей любовной литературе: по силе чувства и огромности воспринятого ради него страдания «Семь столпов мудрости» не имеют подобия. В этом ценность произведения Лоуренса. Литературный анализ излишен.

Глава CXLVII

Образ Лоуренса в живописи и в жизни. Работы Августа Джона.

В начале марта 1920 года в Лондоне, в Элпин Клаб Арт Гэллери, открылась выставка художника Августа Джона (1878 – 1961) под названием «Типы». Среди «типов» были два портрета Фейсала и два – Лоуренса. Один из последних, представлявший нашего героя в арабском одеянии, был куплен герцогом Вестминстерским, который позднее в том же году передал его Тэйт Гэллери. 19 марта Лоуренс, довольный портретами, шутливо писал Джону: «Оказывается, я более популярен, чем думал. Сердитый портрет моментально ушел за тысячу герцогу! ... В прошлый четверг я ходил на Вашу выставку с Лайонелом Кёртисом.* Мы любовались мною, когда к нам присоединился

* Л. Кёртис (1872 – 1955) – член колледжа «Всех Душ», лектор по колониальной истории, автор, издатель, гражданский служащий.

некто с военными усами и выпалил: “Выглядит кровожадным, не правда ли?” Кёртис довольно бойко ответил: “Да.” Я покраснел».[1]

Образ на вышепоименованном портрете отнюдь не гневный, но горький и смертельно усталый: это Лоуренс, осознающий свою обессмысленную роль, и светлые, теплые тона только подчеркивают внутреннее напряжение, борение под позолотой мира. Взгляд, устремленный перед собой, невидящий и страшный, отражает глубокую и тяжелую задумчивость, а худое, почти искаженное лицо есть слепок страдания. Чувство вины, изнеможение, бессилие что-либо исправить явлены в фигуре, сосредоточены в самом жесте опоры. Таким был Лоуренс в октябре 1918 года в Дамаске, и этот портрет напоминает ту фотографию на балконе, где перед ним открывается смутно запечатленный вид на город под просторами мирного неба, резко контрастируя с застывшей в своей муке фигурой. В обоих случаях это не торжество победителя, но сведенное оцепенение приговоренного к смерти за веру: он погружен в себя и уже не принадлежит миру. Это изображение боли, которую художник сумел уловить и выразить.

Другой портрет кажется тише и светлее. На нем Лоуренс изображен по грудь в том же одеянии. Куфия свободно повязана, сияет золотой укаль, теплы желтые краски плаща. Лицо в три четверти, с левой стороны. И опять – тот же взгляд усталого смирения, взгляд глаз, которые видели столько страдания и которые неотрывно смотрели на фотографию умершего возлюбленного. Это взгляд из глубины тоски – de profundis* земного существования. Так мог смотреть святой Сергий в темнице после казни Вакха. Так же Фаррадж глядел в опустошенную даль, «серый и молчаливый, очень одинокий». Уголки губ чуть заметно приподняты, словно Лоуренс собирается улыбнуться, но это нарождающееся движение тотчас срезает четкая ли-

* Из глубины – *лат.* (намек на псалом 130).

ния скорби. То «улыбка» принятия, насмешка над своими надеждами.

Эти две детали – взгляд и выражение губ – отображают всю духовную сущность образа и являются смысловым средоточием портрета. А пастельные, легкие, скромные тона согревают зрителя, привлекают к Лоуренсу, будто теплота его самого. Кажется, стоит лишь тихо окликнуть его, и он очнется от своей трудной задумчивости, взглянет на вас и улыбнется – своей удивительной ласковой улыбкой. Но кто мог окликнуть его, как друг, и воскресить из небытия, и кому он мог благодарно и любяще улыбнуться?

Есть и третье изображение Лоуренса, созданное тем же художником, – карандашный набросок, быстро сделанный на конференции: тонкий образ, едва коснувшийся листа. Здесь уже не изображение боли, – если она и есть, то утаена в глубине глаз, – но легкий образ юности и нежности. Тонкий профиль, изображенный немногими штрихами, полон жизни и внутренней сосредоточенности. Кажется, в этих обостренных, но в то же время мягких чертах отразилась сама душа Лоуренса. Это портрет не плотского образа, но духовной сущности.

Основная черта здесь – юная нежность, то удивительное качество, которое словно являлось из души Лоуренса и образовывало его телесный облик, придавая ему редкостную прелесть (подобное отображение духовной нежности мне встречалось только у шведского композитора Йозефа Мартина Крауса). Это и есть та grazia, о которой вдохновенно рассуждал Пико делла Мирандола в трактате на стихотворение Джироламо Бенивьени: душа, озарившая плоть. «Прекрасен тот человек, у которого прекрасна душа», – утверждал Савонарола. Плоть сама по себе – только будущий труп, и лишь излучение духа придает человеку истинное очарование.

Красота Лоуренса – это красота духа, сильного, нежного, любящего, отреченного от земного мира и «являвшегося» в хрупком теле, столь соответствовавшем ему. Эта телесная «слабость» и миниатюрность удачно воплощали

его гомосексуальную природу. Представьте его рядом с женщиной, и не увидите ничего особенного, но рядом с мужчиной он был превосходен. «Вечный мальчик», нежный не приторной женственностью, но, напротив, особым отрешением от пола.

Глядя на этот светлый профиль в легком наброске или на фотографии 1919 года, где белоснежное одеяние мягко окутывает тело Лоуренса, можно уловить «основную идею» его облика. Это долгая юность, трогательность, чистота и гомосексуальность, соединенные теплотой – той животворящей силой, что, происходя из духовных глубин, озаряла телесную оболочку, придавая ей неповторимую привлекательность. Образ Лоуренса был отражением чистой души в чистом теле.

Глава CXLVIII

Г.С.Тьюк и написанный им портрет Лоуренса

Для того чтобы не прерывать наш рассказ о Лоуренсе и живописи, забежим немного вперед – в лето 1922 года, когда Лоуренс позировал Генри Скотту Тьюку, своему любимому художнику.

Тьюк (1858–1929) работал в стиле импрессионизма, а основной его темой являлись мальчики у моря. Пространство таких картин насыщено легким светом английского солнца, сияющего на стройных телах юношей, которые купаются или отдыхают на берегу. Их обнаженность лишена демонстративности: они не замечают зрителя, не видят (но волнующе *чувствуют*) тела друг друга, – в этом успех Тьюка. В манящих водах, поблескивающих россыпями бликов, отражается синяя бесконечность неба. Краски – синие, зеленые, рубиновые, золотые – глубоки, но спокойны, как цвета самой природы, а в мелодичном настроении картин звучат покой и радость, и ни один штрих, ни один

тон не являют напряжения. Это мир юности и простого счастья. В сюжетах – за исключением нескольких – поверхностный взгляд не находит ничего гомоэротичного, но, если всмотреться, эта тональность окажется столь же явной, как исполняющее картины солнце. Кажется, она и есть само солнце.

Этот свет отзывался в душе Лоуренса. Так же, как он находил отображение своей жизни и умонастроения в стихах, так и некоторые работы Тьюка могли напоминать ему его собственное прошлое…

Желтые, бронзовые, золотистые тона и мягкие линии рассказывают простую и глубокую историю «Полуденного зноя». На песчаном берегу два юноши: один лежит, свободно раскинувшись, а другой присел рядом, словно тая в себе следующее движение. Они смотрят друг на друга, и в этом диалоге взглядов – сосредоточение любви: смысловой центр картины. Должно быть, они только что искупались после ласк, но еще миг – и покой уединенности и влекущая нагота вновь всколыхнут утоленное желание… Точно так же могли блаженствовать Лоуренс с Дахумом на берегу Средиземного моря в 1912 году.

Эти картины должны были казаться Лоуренсу образами его воспоминаний. Пусть не всегда соответствуя им сюжетом, они соответствовали глубинной пульсацией юности, чистоты и счастья, запечатленными уверенными ударами кисти – как сердца. Так же Лоуренса мог привлекать и сам колорит – живой, ясный, никогда не излишествующий.

Написанный Тьюком портрет Лоуренса является, пожалуй, наилучшим из всех живописных изображений Лоуренса: здесь явлена его нежная сущность и то удивительное качество, что было одной из причин его привлекательности – непреходящая юность. На картине ему тридцать четыре года, но он выглядит мальчиком. Таким он был и в жизни: «вечный мальчик», он долго не утрачивал в своих обострившихся чертах юной нежности, лишь усталость подчеркнула взгляд и около губ прорезались трагические линии. Время словно медлило, «возмещая» утраченные годы и предоставляя возможность еще немно-

го побыть внешне таким, каким он был до войны. Духовно же Лоуренс стал много старше своих лет: душа отяжелела болью. Отсюда его странные замечания о своей едва ли не «старости» – и это, когда ему было тридцать-тридцать пять лет!

На портрете Лоуренс погружен в себя, и эту сосредоточенность выражает сама поза: он сидит, чуть подтянув колени к груди, руки вокруг них. Он словно не принадлежит к окружающему его миру струящегося света и ласкающей воды. Тихая, печальная задумчивость отделяет его от обстановки, как темные скалы за ним отделяют пространство действия от голубой бесконечности воды и неба, столь же первозданных, как в начале времен. На отдалении купается другой мальчик, и своим присутствием он только подчеркивает смысл картины – одиночество Лоуренса.

Глава CXLIX

Лоуренс получает пост советника в управлении по делам Среднего Востока. – Каирская конференция и свобода под мандатом. – Миссия Лоуренса в Хиджаз.

Теперь вернемся от бытийственного к земному. В феврале 1921 года контроль над мандатными территориями приняло управление по делам Среднего Востока в Министерстве по делам колоний, соединив в себе ответственность, которая прежде была разделена между Министерством иностранных дел, Министерством по делам Индии и Военным министерством. Новосозданное учреждение возглавил Уинстон Черчилль, а Лоуренсу было предложено занять там пост советника. «Существовали сомнения, согласиться ли помогать этот независимый молодой человек, пораженный предательством по отношению к арабам»,[1] – писал В. Ричардс. Однако Лоуренс не замедлил откликнуться, так как надеялся, что при умелом руководстве Черчилля это станет возможностью исправить по-

ложение. Пятый год он, введенный в заблуждение молодостью и силой движущего мотива, пытался завоевать для арабов свободу в этой несчастной надежде на справедливый исход.

Его помощниками стали, среди прочих, Майнерцхаген и Юнг. Лоуренс попросил о предоставлении ему свободного доступа к министру иностранных дел и позволения покинуть пост тогда, когда он пожелает; что и было исполнено. Что же касается вознаграждения, то он спросил всего лишь тысячу фунтов в год. Черчилль заметил, что это была самая скромная просьба, с какой к нему обращались, и назначил тысячу шестьсот фунтов. Лоуренс принял это вознаграждение, «но отказался сохранять его для себя, – до сих пор, как и в войну, строго отвергая все личные почести от правительства, которое так нарушило обещания, данные им от его имени».[2]

3 марта Лоуренс отправился в Каир на конференцию, целью которой являлось утверждение плана контроля над мандатными территориями. В ней принимали участие политические и военные эксперты по данному региону, а также выдающиеся представители Военного министерства и Министерства авиации – всего сорок человек, включая единственную женщину – Гертруду Бэлл. В Каире Лоуренс остановился в гостинице “Semiramis.” «Мы здесь живем в мраморно-бронзовой гостинице, очень дорогой и роскошной. Ужасное место: делает меня большевиком».[3]

Конференция открылась 12 марта и продолжалась около недели. Одним из ее итогов стало возведение Фейсала на трон Ирака (он прибудет туда в июне, коронация состоится в августе). Британское правительство заранее постановило, что по его вступлении на трон будет заключен договор о совмещении суверенности Ирака с мандатом Англии. Такой оказалась «помощь» многострадальному Фейсалу, столько взывавшему к бывшему союзнику.

Второй итог был полностью заслугой Лоуренса: установление власти Абдуллы в Трансиордании. Среди местных арабов уже нарастало напряжение, создававшее угрозу Палестине, когда его усилил Абдулла, продвинувшись со своими войсками к Амману, намереваясь отомстить фран-

цузам за изгнание его брата. Это известие породило тревогу в Иерусалиме и Каире. Силовое подавление недовольства было нежелательным, так как к движению могли примкнуть трансиорданские племена, а свободных британских войск не имелось. Оставить же Абдуллу достигать своей цели означало допустить военные действия против французов из британской зоны.

Лоуренс знал, что Абдуллу возможно отговорить от его устремления, если предоставить ему нечто выгодное. С одобрения Черчилля он примерно 25 марта вылетел в Иерусалим, а оттуда выехал на машине в Сальт, где и встретился с Абдуллой. Лоуренс забрал его в Иерусалим, куда прибыл Черчилль, чтобы повидаться с верховным комиссаром Палестины. После получасового разговора Черчилль оценил политическую мудрость Абдуллы и принял решение оставить его в Трансиордании как главу полунезависимого государства при условии, что тот удержит своих подданых ныне и в будущем от столкновений с французами в Сирии.

Из Иерусалима Лоуренс выехал 31-го в Амман. Там он провел восемь дней, «живя с Абдуллой в его лагере. Это очень походило на жизнь в военное время: так же тысячи бедуинов сновали взад и вперед, а в воздухе царило общее настроение новизны. Однако различие заключалось в том, что теперь каждый старался быть мирным».[4]

Затем последовали дальнейшие разъезды: из Аммана – в Иерусалим, оттуда – в Рамле, близ Яффы, где располагался британский аэродром, откуда с четырьмя аэропланами – снова к Абдулле в Амман, затем – обратно в Рамле, потом – в Иерусалим, после – опять в Рамле, откуда с четырьмя же аэропланами – в Каир, где Лоуренс поселился теперь в гостинице “Grand Continental.” К лету он вернулся на несколько недель в Англию, а в начале июля снова был на Востоке и пытался удержать Хуссейна на троне Хиджаза. В этом ему оказывали поддержку Али и Зейд. Август и сентябрь он провел в Джидде, стараясь убедить упрямого старика принять договор, который послужил бы средством для обеспечения ему Хиджаза при условии, что он откажется от притязаний возглавить остальные арабские

земли. Однако тот стоял на своем, требуя Месопотамию, Палестину и всю Аравию. «Его амбиции столь же велики, как и тщеславие, и он выказывает неприятную ревность к своим сыновьям, – телеграфировал Лоуренс в Министерство иностранных дел 4 августа. – Я открыто выразил ему свое мнение о его характере и способностях. Произошла сцена, примечательная тем, что не только секретарь иностранных дел, но и король был в слезах. ... Все доводы здравого смысла с ним бесполезны, так как он считает себя всезнающим и всепонимающим, а его окружение льстит ему за каждую глупую вещь, которую он делает».

В связи с этим изнурительным спором Лоуренс ездил в конце августа в Йемен. 25-го числа он писал из Адена Эрику Кеннингтону,* отправляя ему свое вступление к каталогу созданных тем портретов арабов: «Это ужаснейшая поездка из всех, что я когда-либо совершал». В начале сентября он опять был в Джидде. 7-го он телеграфировал в Министерство иностранных дел, что Хуссейн требует:

«1) восстановления во всех аравийских государствах, кроме его собственного, довоенных границ;
2) предоставления ему всех ставших таким образом вакантными территорий;
3) предоставления ему права назначать всех кади и муфтиев в Аравии, Месопотамии и Палестине;
4) признания повсеместно его власти над всеми арабскими правителями.

Мой ответ заставил его послать за кинжалом и поклясться, что он отречется от власти и убьет себя».

Лоуренс отмечал, что умственное напряжение во время тех переговоров превосходило усилие в военные годы. 1 октября он писал Кеннингтону из Каира: «Смертельная

* Эрик Кеннингтон (1888 – 1960) – художник, скульптор, официальный военный художник 1916-19 и 1940-43 гг. Был адресатом Лоуренса (не близким) по 1935 г.

скука, очень устал, немного болен и горько видеть, сколь низки стали те, кого хотелось уважать. Война была хороша тем, что создавала над нашими глубинами страстное поверхностное желание что-то сделать и победить. Груз корабля был невидим, и о нем не думали».

Старания Лоуренса ни к чему не привели. Хуссейн так и не отказался от самолично присвоенных прав и этим вынес себе приговор: в 1924 году он был свергнут Ибн Саудом и провел остаток жизни в изгнании, где и умер в 1931 году.

Возможность исправить положение на Востоке была не больше, чем иллюзией: разве Лоуренс мог изменить курс правительства, жаждавшего новых территорий? Так исход оказался вовсе не тем, ради чего он страдал в Аравии: вместо свободы арабы получили новое иго. Людские волны разбились о волнорез политики, но он счел, что сам привел их к этому, и это сознание заставило его возненавидеть самого себя – даже свою фамилию, которая стала для него символом «бесчестности», – и бежать от позорящей славы. Только фасады были возведены на Востоке. *Лоуренс* был уничтожен.

Глава CL

Уход Лоуренса в армию: стремление и мотивация.

На Каирской конференции Лоуренс познакомился с министром авиации Хью Тренчардом (1873–1956) и выразил желание поступить в авиацию рядовым. В начале 1922 года, когда Лоуренс уже сделал все, что мог, на посту советника, он попытался подать в отставку и осуществить задуманное. В ожидании решения своей судьбы он жил в Лондоне, на Бартон-стрит. А судьба могла бы оказаться поразительной: недавно проявленные им политические прозорливость и здравомыслие вкупе с превосходным

знанием Востока позволили рассматривать его как подходящего преемника Элленби в качестве Верховного Комиссара Египта. Естественно, Лоуренс был против: он больше не желал иметь дело с политикой, к которой питал законную брезгливость, и, тем более, принимать на себя ответственность.

Черчилль воспротивился принять отставку Лоуренса, и тот из уважения согласился оставаться на занимаемом посту до тех пор, пока это является необходимым, но отказался от жалования. Ожидая, он создавал основы для претворения своей идеи в жизнь и в январе писал Тренчарду: «Я собираюсь покинуть Уинстона 1 марта, после чего хотел бы около двух месяцев для себя, а затем желал бы поступить в BBC – рядовым, конечно. Я не смогу сделать этого без Вашей помощи. Мне 33 года, и я не искусен в том, что Вы требуете. Возможно, я не смогу пройти вашу медкомиссию. Это странно – быть слишком старым для работы, которой я хочу, когда до сих пор я был слишком молодым для работы, которую делал. Как бы то ни было, у меня хорошее здоровье, я постоянно физически и умственно тренируюсь [особенно летом 1921!.. – *О.К.*] и лично не считаю, что я в каком-либо отношении ниже уровня ваших новобранцев. Если же Вы так полагаете, это все завершит.

Вы спросите, кто я. Дело в том, что с шестнадцати лет я пишу, никогда не удовлетворяя себя технически, но упорно становясь все лучше. Моя последняя книга об Аравии почти хороша. В развитии же ваших Сил я вижу тот сюжет, в котором нуждаюсь... А лучшее место, чтобы увидеть этот предмет, – ряды. Это не может быть написано с офицерского уровня».

Март прошел, но отставки Лоуренс не получил. В июне, устав ждать, он напомнил Черчиллю о своем решении, заметив при этом: «Я думаю, что серьезных неприятностей не произойдет – по крайней мере, в течение семи лет». Это предсказание, когда о нем стало известно, было встречено в различных кругах презрительным смехом, но время подтвердило правоту Лоуренса.

В июле Черчилль, наконец, принял отставку Лоурен-

са. Тот встретился 14 августа в Министерстве авиации с Тренчардом и узнал, что его зачисление будет устроено вице-маршаллом авиации сэром Оливером Сванном. Сванн назначил для этого 21 августа, но по просьбе Лоуренса, зачисление было перенесено на 30 число того же месяца.

Как для современников Лоуренса, так и для потомков его решение об уходе в армию непостижимо. Талантливый археолог, полковник, одаренный и образованный человек с перспективой занять один из самых важных постов в Британской империи – и уйти в армию простым рядовым?! Но это «необъяснимо» лишь со стороны.

Для Тренчарда и своей матери, то есть для тех, кому Лоуренс не мог открыться, он обосновывал свой выбор желанием написать книгу об авиации. В «Чеканке» (с.135) он указывает иные причины: поиск надежного места и необходимость вновь познать бедность после периода пользования деньгами. В.Ричардс, достаточно знавший его, объясняет его стремление, кроме названных в «Чеканке» мотивов, еще и желанием «иметь вокруг себя молодых друзей, мужественных и привлекательных, как те арабы прежних кархемишских дней. Там он опять был бы любим сам по себе, и его поражение было бы забыто, и рана могла бы зажить».[1]

Первая, «литературная», мотивация – не более, чем ширма: ради книги себя не ввергают в горнило, да еще на столь долгое время. Остальные же три заслуживают внимания.

Надежное место без ответственности и в подчинении, счастливое забвение своей переутомленной воли, – не этого ли хотелось Лоуренсу в его усталости? Тогда как его звание и предлагаемые посты подразумевали, кроме неприемлемых отличия и определенной известности, еще и новое бремя. Однако это забвение могло бы дать ему и какое-либо другое место – сторожа на маяке, например, как он сам к тому слегка склонялся. Однако не только покоя он жаждал.

«Познание бедности» – как очищение, не только от пользования деньгами, но и от скверны своей «лжи»: вот, что является ведущим мотивом его решения. «Нечист!» – хотелось ему кричать после Дераа. «Двойная игра» в Аравии, крах надежд и безуспешная попытка исправить положение – это стало его духовным Дераа. Чудовищное осознание душевной осквернённости и позорящая, все разрастающаяся слава (слава обманщика – как *он* полагал) заставляли его бежать от самого себя. Отречься от звания, сменить имя, отказать себе в дарованиях, уничтожиться, в пепел себя низвести в покаянной скорби ветхозаветной – и через это очиститься: таковым было его жизненное стремление.

Принял решение – как епитимию на себя наложил. Очищение в самоуничижении – древняя христианская истина. Так монахи в покаянии простирались у ног своей братии, так веригами и бичами смиряли себя, так изничтожались, – чтобы возродиться. Лоуренс, по самой сущности своей христианин, осознавал это как единственное спасение. Армия являлась для него чистилищем: в этом смысл его ухода.

Только очищаться ему было не от чего, и само его стремление лишь выявляет его чистоту. Воздействие же новых условий оказалось иным, чем он рассчитывал. Тогда как провал в Аравии лишил его веры в себя и заставил самого себя возненавидеть, но сохранил его душу во всей глубине, то армия постепенно упростила – «уплощила» – ее.

Такова была цель. Привлекательные мальчики были надеждой. Именно теперь, как никогда, он, обессиленный, нуждался в ком-то близком и любимом, нуждался в любви. А она лучше всякого самоумаления могла возродить его. Любовь, очищающая и животворящая, могла спасти *Лоуренса* – его личность со всеми ее многообразными способностями и богатством. Если бы он обрел постоянного любимого, чистилище стало бы ненужным и в чрезмерности не лишило бы его своего «я».

Послесловие жизни

Существование Лоуренса после 1922 года стало будто послесловием к предшествующей жизни, осмысленной братством с Дахумом. Мы видели, как его с юных лет влекло к Востоку, словно в объятия любимого, насколько он был счастлив с ним и что ради него принял: он воистину жил им. Со смертью Дахума и разрушением возводимого во его имя «величественного храма» началась духовная агония Лоуренса. Он возненавидел самого себя, как химеру «преступного» прошлого, и бросился бежать от ославляющей известности, изничтожая себя в усилии очиститься и ужасаясь опустошаемого «я». Поначалу он жил с той яростной болью, которая исполняет существование человека, вынужденного бессильно наблюдать собственное угасание, и с ранящей остротой ощущал свою отдаленность от тех, среди кого принудил себя жить, – ощущал, будто сам себя ранил гранями своей незаурядности. Но постепенно внутреннее борение стало стихать, и в 1929 году он мог сказать: «Я цепляюсь к лагерю, потому что чувствую, что принадлежу к нему. Принадлежность – хорошее чувство».[1] Так чистилище превратилось в единственно возможную почву – пустынную и каменистую, но соответствовавшую его исчерпанной душе. Он больше не говорил о своей «отстраненности» – напротив, уверял в том, что он один из многих: «Я самый обычный тип англо-ирландца»,[2] «я точно такой же, как остальные ребята в казарме».[3] «Лоуренс» с его «виной», как и со всеми способностями и возможностями был уничтожен.

I

В то время, когда Лоуренс решил уйти в армию, его здоровье и духовное состояние были таковы, что он оказался бы немедленно забракован медицинской комиссией. Зачислиться ему помог министр авиации Тренчард и, по его поручению, вице-маршал Оливер Сванн, выполнивший свою задачу с неудовольствием из-за ее секрет-

ности и хитростей. Таким образом, Лоуренс прошел (не без волнения) только формальный медосмотр, выявивший крайнее нервное истощение и недостаток веса, и 30 августа 1922 года поступил в Королевские военно-воздушные силы как рядовой Джон Хьюм Росс.

Свою службу ему предстояло начать со сборного пункта в Аксбридже. Оказавшись за воротами части, он взглянул поверх штыка часового на солнечную дорогу, по которой только что прошел и где неторопливо прохаживались свободные люди: их мир теперь был для него закрыт. Он ступил в анклав обезличенных частиц, отдавших себя в рабство чужому началу. «Уход в армию означал признание своего поражения»:[4] здесь укрывались те, кто не видел для себя иного пути или не обладал для этого достаточными способностями. Одни не смогли найти занятие, другие были отвержены женщинами, третьи имели запятнанное прошлое. Войска были прибежищем неудачников.

Лоуренс нуждался в тихом уголке с бытийственно осмысленным делом и близким человеком. Смешение с толпой при подчиненности бездумной силе, как и руководящее положение при ответственности, было насилием над его природой. Этому новому насилию он отдался со всей страстью, решив выстоять до конца и, низведя себя в грязь, очиститься от своей несуществующей вины.

В первый вечер, в еще пустой казарме, где сквозь ряд окон падал свет фонарей, вычерчивая прямоугольники на черном линолеуме пола, Лоуренса охватил страх от своего шага в этот анти-мир. Казалось, помещение было исполнено не тишины, но гнетущей неизвестности, как будто в ожидании приговора. Безмолвие вскоре прервала шумная толпа новобранцев, отчего Лоуренс сжался и лежал так, пока вновь не стало тихо. «Тогда мой наблюдающий дух медленно и осторожно поднялся со своего места, чтобы проползти через этот исчерченный воздух, праздно исследуя формы, распростертые на постелях со спокойствием мумий. Наш первый урок на этом пункте был отделенностью от жизни. Это второе видение открыло нашу одинаковость, тело за телом. Сколь многие души витали в ту ночь под потолком, глядя на все это? Моя еще раз испу-

галась – внезапно – и укрылась в своем теле-гробу. Любая оболочка была лучше, чем нагота».[5]

«Как бы то ни было, нас не могут убить», – сказал наутро один из новобранцев. «Многие без слез приняли бы смертный приговор, чтобы избежать приговора жизни»,[6] – заметил в своих записях Лоуренс.

В первый день ему было поручено написать о месте своего рождения. Он, не видевший этого с младенчества, весело сымпровизировал. Сочинение приняли. Через три года, в ином месте, один из офицеров велел ему написать очерк о спорте. Лоуренс исполнил. «Читая мое неодобрение всякого спорта, он вызвал меня и спросил: “Не были ли Вы здесь несколько лет назад под другим именем? И не писали ли мне тогда очерк о побережье Уэльса?”» За «воспоминаниями» последовала присяга, после чего Лоуренс был переведен в другую казарму, где располагались присягнувшие – пятьдесят четыре человека.

Сослуживцы отнеслись к Лоуренсу неплохо, проявив даже определенную доброту, сочувствие и заботу. Однажды у него случился очередной приступ малярии, и он потерял сознание во время физических упражнений. Очнувшись, он обнаружил себя на своей постели, под семью одеялами (его дрожь всех перепугала), а один из новых приятелей принес ему чай и булочку. Между рядовыми существовало товарищество: все были равны и все было общим, в том числе и тяготы, претерпеваемые от командования.

Каждое утро начиналось с тренировки на плацу. Это оказалось для Лоуренса пыткой – не только телесной, но и духовной: он питал отвращение к активности тела. «Необходимость проявлять внимание к моим рукам и ногам стала горчайшей долей уплаченного за привилегию зачисления».[7] Эта активность была почти непосильна при его изнурении, к которому добавлялось страдание от повреждения, полученного при падении под Римом: сломанное ребро расщепилось на конце и топорщилось внутрь, вызывая при напряжении резь. В часы муштры она была постоянной – как огненная черта телесного предела. Некоторые из старших чинов получали удовольствие,

наблюдая изнеможение подчиненных, и гоняли их на плацу до того, что даже весьма крепкие теряли сознание. Стоит ли говорить о состоянии Лоуренса? «Физически я только едва скребусь сквозь дни»,[8] – признавался он. После тренировок у него два-три раза в неделю случались приступы дурноты – «утомительные неприятности», из-за чего ему приходилось жить впроголодь.

Иногда к издевательству физическому добавлялось словесное: сержант вызывал на плацу кого-нибудь из рядовых вперед и осыпал самой изощренной бранью. Однажды эта участь выпала и Лоуренсу. Он встал, глядя в сторону, чтобы от встречи глазами с оскорбителем не выступили слезы, и молча слушал, ощущая не гнев, но стыд. Его товарищам оказалось невыносимо наблюдать эту сцену, и позднее они посоветовали ему дать какой-нибудь обескураживающий ответ. В следующий раз сержант снова вызвал его и приступил к своей забаве: «Ах ты такой-сякой, да что ты знаешь?» Этот вопрос был его излюбленным способом поставить в тупик. Лоуренс вытянулся по стойке смирно и вежливо произнес: «Мы, конечно, ничего особенного не знаем, потому что не имеем подготовки, но я, как и остальные, обнес свою жизнь лесами более или менее умозрительных гипотез». Сержант недоуменно уставился на него, озадаченно выругался и приказал вернуться в строй. Впредь он Лоуренса не беспокоил.

Дни обычно бывали заполнены работой по наряду. Лоуренс вместе с другими мыл посуду, окна и полы, убирал мусор, чистил отхожие места. Иногда приходилось трудиться на мясном складе, что было для него омерзительно – и не только из-за вполне оправданной брезгливости к мясу. При взгляде на сваленные в угол двора разделанные туши животных, зловонные и кишащие червями, в сознании вспыхивали картины войны. Аба эль Лиссан, Тафас, госпиталь в Дамаске... Туши разделывали, отмывали и варили в огромных баках, чтобы потом отправить на кухню.

В другие дни Лоуренс работал на мусоровозе. Баки с кухонными отходами выливали прямо в кузов грузовика, чтобы отвезти на свинарник. То, что не выливалось само,

выгребали руками. «Было не столь плохо прикасаться, сколь видеть, как чистая рука погружается в это, и трудно было придумать, как держать ее потом, загрязненную».[9] Затем он с остальными рабочими забирался в кузов, где оказывался по колено в помоях, и отправлялся на скотный двор.

Однажды ему пришло письмо. От одного взгляда на адрес ему все стало понятно. Он сунул послание в карман и, забравшись в мусоровоз, поехал на уже обычную работу. На дворе, он, весь запачканный помоями, достал конверт и, стоя по соседству с загородкой со свиньями, прочитал предложение стать главным редактором крупного литературного издания. Внутренне посмеявшись, он положил листок обратно и, взяв вилы, принялся убирать стойла... Наверняка место для прочтения было выбрано сознательно, чтобы получить большую радость от противопоставления своих возможностей и нынешнего принижения (как казалось ему). Именно такое чувство возмещало его телесные и духовные страдания, как некогда искупало терзания монахов, искавших в унижении очищения и возвышения духа. Испытать его и означает возвыситься. Только время для этого должно быть отмерено. Лоуренс перестарался.

Время от времени в казарме проводился смотр. Как-то раз инспектирующий офицер заметил в тумбочке Лоуренса книгу на датском языке. «О, Вы знаете датский! Почему Вы зачислились в авиацию?» – спросил он. «Думаю, у меня было умственное расстройство, сэр». «Что, что? ЧТО?! Сержант, запишите его имя!» – и офицер последовал дальше, оставив Лоуренса представлять, какое наказание его ожидает. Дополнительные тренировки... Сверхдолжные наряды... «В девять часов к начальству», – бросил сержант. В назначенный час Лоуренса привели, без фуражки и под охраной, к проводившему инспектирование офицеру. Тот, увидев его в таком положении, рассмеялся: «Я же сказал записать его имя только на случай, если нам понадобится образованный человек!»

Длившиеся день за днем нервное напряжение и физическое переутомление почти лишили Лоуренса сна. Задре-

мать ему удавалось только под утро, незадолго до подъема. Чтобы занять бессоннные часы и отогнать гнетущие мысли, он начал писать книгу об армейской жизни, получившую впоследствии название «Чеканка». Сидя в постели и положив на колени подушку, он делал свои заметки на отдельных листках, едва разбирая в тусклом свете написанное. Вскоре у него начали болеть глаза и голова, но это не уменьшило его самоотдачи: ведь ему удалось найти дело, которое придало смысл изничтожающему существованию.

Он писал в среднем по четыре главы в неделю, обрабатывая каждую четыре-пять раз. «Если бы я продолжил, то у меня оказались бы только перечеркнутые варианты».[10] Он записывал все и довольно подробно – в расчете, что впоследствии отберет важное от незначительного. Но, когда он вернулся к своим заметкам в 1927-28 годах, то не нашел ничего лишнего: напротив, время придало ценность каждой детали. Публиковать эту книгу он не спешил, так как она раскрывала частную жизнь его сослуживцев. Согласно его завещанию, она была издана в 1950 году.

Лоуренс понимал, что сам предмет делает его произведение трудночитаемым: «Чугунной, угловатой, отталкивающей книгой, которую ни один человек не будет читать охотно».[11] Она оформилась как сосредоточенное напряжение армейских дней и так же оказалась лишенной духа и цели: это лишь свидетельство мыслящей крупинки, попавшей меж жерновов. В творчестве Лоуренса «Чеканка» стала антитезой предыдущей работе: она есть быт, тогда как «Семь столпов мудрости» – бытие. Но, несмотря на угнетающее содержание, повествование исполнено живости и остроты, тонких наблюдений и вдохновенно переданных черт. Способности Лоуренса были намного больше, чем значимость новой темы.

В начале ноября 1922 года Лоуренс был определен в школу фотографии ВВС в Фарнборо, где существование было несколько легче. Он в любом случае мог быть дово-

лен. Если очистительное страдание оказалось почти непосильным, то достижение второго стремления – найти замену Дахуму – было двойным: он познакомился сразу с двумя молодыми людьми, Р.А.М. Гаем и А.Э. Чемберсом (1896–1987), которые стали ему близки. Особенно он привязался к Гаю, полюбив его за юность, мягкость и миловидность. Он называл его зайчиком, малышом, дружочком и восхищался его нежным обликом, с голубыми глазами и светлыми волосами: «Он ангельски красив». «Прекрасен, как греческий бог», – вторил ему Чемберс... Эти две встречи стали проблеском в давние счастливые дни: Лоуренс вернулся к жизни.

По вечерам, после отбоя, Гай с Чемберсом приходили к Лоуренсу и, среди прочего, расспрашивали его о «правилах поведения и опыте, о разуме, душе и теле». При этом они сидели на ящике около его постели, а он лежал на спине, отвечая «кратко и просвещающе». «Эти ребята из авиации подобны оксфордским студентам-второкурсникам: бутоны, только начинающие раскрываться после сдерживания семьи и школы. Первый вопрос, первое сомнение в установленном правиле, законе или принятом действии открывает шлюз в их умах, и они задаются вопросом, что, если одно понятие сомнительно, является ли все таковым».[12] После дневной рутины эти свидания в полумраке казармы доставляли Лоуренсу полузабытое удовольствие.

На Рождество все кончилось: кто-то из офицеров раскрыл прессе тайну его зачисления. Незамедлительно в “Daily Express” была опубликована сенсационная статья – «“Некоронованный король” как рядовой». На другой день последовало продолжение – «Принц Мекки на плацу». Журналисты примчались в часть, и только благодаря своим друзьям среди сослуживцев Лоуренс был спасен от их атаки. Министерство авиации восприняло это разоблачение с тревогой: будучи занятым борьбой за существование, оно опасалось всего, что могло навлечь критику. Поэтому в начале февраля 1923 года Лоуренс, несмотря на свои возражения, был отчислен.

Стоит ли говорить, каким потрясением это стало для него, опять любящего и любимого? Однако положение не было безнадежным. Во время беседы с Тренчардом он получил намек (воспринятый им как обещание), что он может быть возвращен в авиацию, если получит хорошие отзывы в армии.

При содействии знакомых из военного министерства он в марте присоединился к сборному пункту танкового корпуса в лагере Бовингтон в Дорсете – на этот раз как Томас Эдвард Шоу. Несмотря на существующие опровержения (в частности, Лиддел Гарта), причина выбора фамилии очевидна: Лоуренс, с давних лет ощущавший своего рода духовное сиротство, таким образом вверил себя знаменитому драматургу и его жене, с которыми уже поддерживал дружеские отношения. Он познакомился с Бернардом Шоу (1856–1950) летом 1922 года, после того как отправил ему «Семь столпов мудрости» для отзыва, а с его женой Шарлоттой (1857–1943) – в начале января следующего года. Та, заинтересовавшись его произведением, написала первой. «Разве это представимо, вообразимо, чтобы человек, который смог написать “Семь столпов,” мог в них сомневаться? – говорилось в ее письме. – Я жадно прочла книгу от корки до корки, как только она попала мне в руки, и почти свела Дж.Б.Ш. с ума, настаивая прочесть ему отдельные отрывки в то время, когда он был погружен во что-нибудь другое. ... Это один из наиболее изумительно написанных личных документов».[13] Довольно скоро Шарлотта стала постоянным адресатом Лоуренса, сменив своего мужа. Это оказалось доверительным *литературным* общением: полной человеческой открытости здесь не было, как не могло быть взаимопонимания между еще молодым гомосексуалистом и пожилой женщиной, прожившей жизнь в браке. Здесь была глубинная тоска – Лоуренса о матери и Шарлотты, не имевшей детей, о сыне. Это обстоятельство, равно как отдельные интеллектуальные интересы, сблизило их – на всю оставшуюся жизнь Лоуренса.

II

Танковый корпус располагался на южной оконечности Дорсетских болот. Это был один из самых живописный уголков Англии – с вереском, соснами и рододендронами, что росли на песчано-кремнистой почве. Весенняя радостная ясность природы заставила Лоуренса с большей остротой ощутить нечистоту своего нового окружения. «Среди этой покинутости наш лагерь кажется гнойником, а мы сами ... должны выглядеть похожими на кишащие бактерии его процесса».[14] Если в рядах авиации не было духа, то здесь было его явленное отсутствие: низменные начала владели этими людьми, превратив их в единую ярость плоти. «Эти массы такие же животные, какими были их предки до того, как учили и мыслили Платон и Христос, Шелли и Достоевский, – писал Лоуренс Кёртису. – Вы пытались сказать все тем, кто был досягаем, а конец – здесь: тьма киммерийская с болотными огнями, блуждающими в ее испарениях».[15] Самым страшным оказывалось то, что именно это было образом человечества, порабощенного плотью и опьяненного похотью, тогда как мыслящие единицы оказывались не более чем борющимися песчинками в долине Хиннома.

«Беда человека, что у него нет определенного времени для спаривания, и его эмоции и возбуждение распространяются на весь год. Ночь за ночью я лежу в постели, и эта кошачья плотскость словно бурлит вверх и вниз по казарме, питаемая потоками свежих идей из двадцати похотливых ртов... Мой разум ноет от грубости этого».[16] Страдал не только разум: так, летом 1924 года Лоуренс был дважды избит своими нетрезвыми сослуживцами. Но, несмотря ни на что, он не собирался уходить: пребывание там давало возможность вернуться в авиацию, к Гаю и Чемберсу, по которым он сильно скучал – как и они по нему. Он писал Гаю вскоре после расставания (в ответ на предположение того о встрече): «Здесь нет никаких зайчиков (и даже их подобия), и поэтому мне принесло бы удовлетворение снова увидеть твое странное, но милое лицо».[17] Разлука остановила его ожившие было чувства и мысли:

«Это верно, что я не пишу – не могу писать: страдаю от иссушенности разума и изничтожения естественных привязанностей»,[18] – объяснял он тому немного позднее свое молчание. Для того чтобы утешить друга и себя, он сделал за месяц перевод повести Адриана Корбо “Le Gigantesque”: «Мне хотелось отправить тебе какой-нибудь пустячок ко дню рождения. Удовольствие, которое я получил от пребывания в авиации, было получено отчасти – большею частью – благодаря твоей голубой и золотой личности, и я глубоко обязан тебе многими счастливыми минутами».[19] Перевод он выслал с этим письмом. Оно завершалось словами: «Мне хотелось бы, чтобы мы снова встретились. Каждый раз, когда я вижу кого-нибудь в форме летчика, я чувствую тоску». Редкие свидания – ворованное счастье – не только не утоляли, но еще больше усиливали их печаль. «Когда я сказал “Это последнее,” то имел в виду, что мы опять расстаемся на бесконечно долгое время, – писал Лоуренс Гаю в декабре 1923 года. – Письма не работают, как и случайные встречи, поскольку на них падает тень близкого конца, и от этого вся веселость принужденная и разговор глупый. Ты и я, мы очень непохожи, и потребовался определенный процесс, чтобы медленно и приятно, как при том общении в казарме, соединить нас. Люди не являются друзьями до тех пор, пока не скажут все, что могут, и не будут способны сидеть рядом, за работой или на отдыхе, часами без слов. Мы не приблизились достаточно к этому, но с каждым днем были все ближе... С тех пор как умер С.А. мне ни разу не представлялась такая возможность. Это усугубляет сожаление от того, что Тренчард так решительно перерезал мою жизненную артерию».[20]

Время превратилось в одно томительное ожидание писем и встреч. Повседневная напрасная занятость – работа в конторе и на складе одежды, уход за машинами – не могла отвлечь. Не было лучше и в свободные часы. Лоуренс что-то читал, сочинял, не записывая, и – думал, думал, думал, особенно по ночам, которыми он теперь спал еще меньше. «Завидую каждому, кто не думает постоянно»,[21] – писал он Гаю. Это была та болезненная актив-

ность ума, которую порождают, как ночной кошмар, чрезмерное напряжение и переутомление. Человек теряется под натиском ярких, хаотичных и бесплодных мыслей и образов, а дремота вместо того, чтобы приносить отдых, только больше оживляет их, превращая недолгий сон в один мучительный умственный процесс. Нередко во сне Лоуренс что-то говорил, и по утрам сослуживцы бросали на него странные взгляды.

Как некогда в пустыне, его несколько утешала природа. Ее чистота, столь остро противопоставленная жизни в лагере, освобождала мятущийся разум – на мгновение взгляда, брошенного на темную хвою с желтыми прорисями ветвей, на сизовато-зеленую гущу вереска, на листву, раскрывающуюся навстречу солнцу множеством крошечных ладоней... Неподалеку находились средневековый замок, аббатство и, в Уэрхаме, маленькая саксонская церковь, особенно полюбившаяся Лоуренсу. По выходным он обычно покидал лагерь. В 1922 году он приобрел мотоцикл, и теперь находил радость в быстрой езде (восемьдесят-девяносто миль в час, а однажды и сто восемь), что приносила ощущение свободы – от тела, от дум, от самой подавляющей жизни, – ощущение, некогда испытываемое от внезапно распахнувшихся просторов, увиденных с высоты, словно с бестревожного надмирья.

В 1923 году Лоуренс был представлен писателю Томасу Харди, жившему неподалеку, и стал навещать его. В первой половине осени того же года он приобрел дом в Клаудз Хилл, расположенном в миле от лагеря. 5 ноября он сообщал Чемберсу, что там уже есть стол, стул и дюжина книг, а на следующей неделе он собирается купить книжный шкаф и кровать (ею стало обширнейшее ложе, на котором со всем удобством могли разместиться три человека). Обещая пригласить его, Лоуренс замечал: «Ты хорош в обустройстве постели...» Так, наконец-то, появилось место для встреч, и Чемберс с Гаем стали навещать Лоуренса почти каждые выходные. В письме от 31 августа 1924 года к Ш. Шоу Лоуренс, не вдаваясь в подробности, рассказывал о некоторых занятиях в последние два дня. Так, в субботу они слушали Девятую симфонию Бетховена,

иногда делая перерывы, во время которых пили чай, а Чемберс читал «Мафусаила» Бернарда Шоу, а в воскресенье звучала Седьмая симфония и отрывки из квартетов. Эта недолгая идиллия создала у Лоуренса впечатление покоя: «Воздух такой мирный, а огонь горит так весело…»

Изредка в жилище Лоуренса бывали и другие посетители, в том числе писатель Эдвард Морган Форстер (1879–1970), с которым Лоуренс впервые встретился в 1921 году на обеде у Фейсала в гостинице “Mayfair.” Тогда Лоуренс запомнился тому как «невысокий светловолосый мальчик», что «воодушевляюще говорил о Ближнем Востоке». Вторично их свел общий друг поэт Зигфрид Сассун, предоставивший Форстеру экземпляр «Семи столпов». Форстер не только высоко оценил книгу,* но и нашел в ней вдохновение для завершения собственного произведения, “The Passage to India” – «Путь в Индию». Как и Лоуренс, он был гомосексуалистом, но это не создало духовной близости, поскольку между ними существовали серьезные различия – в частности, в религиозных взглядах.

Перенесенное Лоуренсом потрясение от разлуки с близкими людьми заставило его в 1923 году обратиться к тому, на что его уже подвигало внутреннее борение – к утешению болью: мятущийся дух нашел освобождение в терзании своей тягостной оболочки. Лоуренс не являлся мазохистом по природе – никто не рождается таковым. Это был отклик аскетической сущности на внешние причины: боль стала для него убежищем. В юности, испытывая презрение к своему телу и переживая «осаду» матери, он находил облегчение в самоизнурении, а в Аравии обретал кратковременное успокоение в телесном страдании – пусть оно происходило всего лишь от укуса скорпиона. Однако это было только отвлечением мысли, легким самоутешением, не имевшим ничего общего с мазохизмом.

* Но, по всей видимости, не так, как хотелось Лоуренсу, поскольку это мнение не уменьшило его недовольства своим трудом.

Действительно мазохистский опыт он получил в Дераа, когда мука неожиданно для него самого вызвала некоторое сексуальное чувство – словно защитную реакцию на свою нестерпимость. Это и подсказало ему позднее путь к забвению. В 1922 году, до зачисления в авиацию, он, раздавленный своим поражением, нашел человека, который исполнял бы его желание. Им оказался некий Джон Брюс, тогда юноша девятнадцати лет – простой, покорный и честный. Последующее знакомство с Гаем и Чемберсом сделало Лоуренса счастливым, и услуги Брюса оказались не нужны. Счастье оборвалось, и Лоуренс в отчаянии отдался «ласкам» плети. В первый раз итог оказался разочаровывающим: помешали брюки... Впоследствии он стал принимать удары обнаженный. Во время порки он стоял на коленях, молча, только иногда поскрипывая зубами. Уже первый удар (или один из первых) приводил к эрекции, а наслаждение наступало с двенадцатым. Позднее, когда привычность немного притупила восприятие, число ударов было увеличено до тридцати пяти-семидесяти восьми, а само действо изменено: оно теперь проходило под музыку (в частности, под Крейцерову сонату) и в присутствии одного человека из авиации (по всей вероятности, им был Чемберс), которому полагалось наблюдать за пенисом Лоуренса – для его большего удовольствия... В письме к Ш. Шоу от 19 июля 1924 года Лоуренс упоминал об этих посещениях Брюса: «Он часто приходит сюда [в Клаудз Хилл] по воскресеньям, заходит только в том случае, если я один, и взирает на меня до тех пор, пока я не поставлю что-нибудь из Бетховена. А затем сидит солидно, с героической аурой солидности вокруг себя... Моя комната после четырех часов Брюса ощущается, как гранитная глыба, со мною – помятым ковриком фоссилизированных костей меж двух пластов». Бичеванием Лоуренс занимался до конца жизни. Оно было забвением – и достаточно долгим, чтобы, «изничтожая», восстанавливать и давать силы для несения своей ноши. Плеть одновременно утоляла его томящееся любовное чувство, эту несчастную потребность любить и быть любимым, и исполняла презрение к самому себе – ненавистной химере соб-

ственного прошлого. Если бы не это крайнее утешение – на краю отчаяния, его дух вполне мог оказаться разрушен невыносимостью обессмысленного существования.

После бития даже творческие способности Лоуренса возрождались – пусть и ненадолго, словно боль открывала замкнутые напряжением токи. В сентябре 1930 года он находился с Брюсом и «наблюдателем» (местным) в Шотландии, близ Абердина, где предавался порке и купался в холодном море. Вот как он описывал 18-го числа ту местность, оказавшуюся отображением его внутренней жизни: «Представьте себе целую систему сланцевых слоистых скал – плоских, площадью в квадратные акры, выдающихся в обезумевшее Северное море, которое вздымается и пенится над ними в оглушающих прибоях. К северо-востоку, скрытому за дождем и столь туманному, что наши всматривающиеся глаза могут обозреть только два-три сокращеннные ярда, волны поднимаются в воздух и разбиваются о скалы. В той мгле такие грохот и движение, что мы продолжаем вглядываться в ее слепоту, чтобы увидеть, как катятся белые стены. Сокрытое солнце делает все белые вещи полусветящимися, так что чайки становятся серебряными всякий раз, когда внезапно ныряют острым кувырком в брызги, а гром моря заглушает все другие явления, так что мы чувствуем, равно как и видим, энергию, отпущенную на волю. Каждая большая волна заставляет воздух дрожать и посылает через побережье вибрацию, замирающую вокруг наших тел. Это сражение моря с сушей»,[22, 23] – как его собственные действия там были сражением свободолюбивого духа – не с телом даже, но с неколебимой крепостью пустынной жизни.

В 1924 году министерство авиации напомнило о себе, предложив Лоуренсу написать историю ВВС в годы Великой войны. Он отказался, не желая нового усилия и ответственности, а кроме того соприкосновения с частями, куда еще не мог вернуться.

Вернуться он стремился изо всех сил, и каждый февраль писал Тренчарду сдержанно-умоляющие обращения.

В 1925 году тот смилостивился и обещал сообщить свое решение в мае. Лоуренс стал ждать, исполненный надежды. И она оправдалась: Тренчард согласился принять его обратно. Две недели прошли в ликовании, как вдруг поступило известие, что госсекретарь ВВС, Самюэль Хоур, изменил постановление. «Это и ближайшее знакомство с “Семью столпами” убедило меня, что от меня нет никакого проклятого добра на земле»,[24] – в отчаянии обронил Лоуренс в письме Э. Гарнетту. Тот уловил в подтексте намек на самоубийство и написал к Бернарду Шоу, который немедленно переслал его обращение премьер-министру Стэнлею Болдуину, предполагая «ужасающий скандал» в случае, если ничего не будет сделано.

После вмешательства премьер-министра препятствия, чинимые Хоуром, были устранены, и 16 июля 1925 года Тренчард подписал приказ о зачислении Лоуренса в авиацию. У Лоуренса возникло ощущение, будто он возвращается в гавань после трудного плавания. Напряжение отпустило, и им овладела сонная расслабленность радости от предстоящей встречи с теми, кого он любил.

Вскоре его направили как новобранца в Уэст Драйтон, затем в Аксбридж, а оттуда… в кадетский колледж в Крэнвелле. Два года страданий и отчаянные попытки оказались напрасны.

III

«Чувствую себя, как старый корабль “Арго,” который после всех скитаний счастливо разваливается на части на достигнутом берегу»,[25] – писал Лоуренс 21 ноября. Он потерпел новое поражение – еще более тяжелое оттого, что оно стало острием в его боли. Потерять замену близкому человеку – потеря вдвойне.

В Крэнвелле даже местность выглядела, как безысходность: ни вечной зелени, ни уверенных линий холмов – лишь многие мили разделенных каменными межами полей, над которыми свободно блуждал холодный ветер, налетавший с Северного моря. Обязанностью Лоуренса

теперь стал уход за самолетами, и он большую часть времени проводил в ангаре. Огромное сооружение, обшитое металлическими листами, казалось ему своего рода храмом, где шла служба вдохновляющей идее покорения воздуха. Подобное ощущение чего-то необычайного и великого было присуще всему тому поколению. Человек еще не понимал, что создает новую тиранию, а технический прогресс есть триумфальный путь к самоуничтожению.

Свободные часы Лоуренс занимал чтением (“Treatise on Composition” Д'Инди, “Prisoners of War” Дж.Р. Экерлея, “The Magic Flute” Г.Л. Дикинсона) и слушал музыку – в частности, «Весеннюю сонату» Бетховена, а в выходные дни совершал поездки на мотоцикле.

27 сентября 1925 года произошло событие, заставившее Лоуренса вновь ужаснуться самого себя и своего существования. «Вы знаете, что такое – вдруг увидеть всю свою жизнь в руинах? – писал он на следующий день Ш. Шоу. – Это беспокойство – реакция от вчерашнего дня, когда я сошел с ума: поехал в Лондон, провел ночь в одинокой постели в меблированной комнате ... а наутро встретился с Фейсалом». Тот был рад встрече – как, несомненно, и Лоуренс поначалу. После оживленного общения они побывали на обеде у Уинтертона в Шеллингли Парк, в Чиддингфолде, где снова и снова затрагивалось общее аравийское прошлое.

Все это напомнило Лоуренсу о прежних борениях, надеждах и разочарованиях, и он вновь ощутил себя таким, каким ненавидел: осквернённым и – чуждым. «Лоуренс ... хуже, чем мертв: он – чужак, которого я когда-то знал».[26] Как бы он ни бежал от этого образа, тот оставался с ним и преследовал подавляющей химерой прошлого, выявляя отсутствие будущего. От этого еще сильнее разгорелось стремление к деградации – не моральной, но умственной. Лоуренс не мог жить, ибо оказался лишен своего источника жизни, и не мог умереть, ибо все еще сохранял надежду на лучшее (несчастное упорство сильных личностей!..). Единственное, что он мог и хотел – не быть, предав себя той самой умственной смерти, понятие которой

открылось ему в минуту тяжелой усталости и подавленности в Аравии. Оглушить разум, ставший источником страдания, в неистовой плотскости рядов – это представлялось ему единственным спасением от самого себя, «предавшего» чужой народ, олицетворением которого был для него возлюбленный, и прославившегося своей «виной». Как ранее он наложил на себя своего рода епитимию, так теперь приговаривал к гибели: от пребывания в чистилище он не ощутил себя чище.

Своей цели Лоуренс так никогда и не достиг. Чтение, музыка, переписка с деятелями искусства – все это, приносившее ему некоторое утешение, препятствовало духовному изничтожению, сохраняя мысль и чувство живыми – мучительно живыми. Единственное, чего он смог добиться, – это окончательной растраты своих способностей, будь то к творчеству или к науке.

IV

В начале декабря 1926 года Лоуренс по собственной просьбе был направлен на Восток, в распределительный пункт BBC в Карачи: словно на край света, прочь от всех потерь и поражений. Прежде всего, ему хотелось переждать тот шум, который наверняка должно было произвести издание «Восстания в пустыни» – сокращенного варианта «Семи столпов», написанного, чтобы покрыть кредит в банке, взятый для издания первой книги. А кроме этого, он мог стремиться окончательно разорвать то, что едва теплилось – отношения с теми, кого он любил, превратившиеся в редкие встречи – не утоляющие, но только усиливавшие жажду.

Путь Лоуренс проделал на военном судне «Дербишир»: десять дней до Порт Саида (в двадцать третий раз по Средиземному морю), а оттуда – три недели до Карачи, с заходом в Басру. Томительные часы он занимал, как обычно, чтением, которое включало «Войну и мир» Толстого и Книгу Экклезиаста, отображавшую его ощущение

обреченности всяческих усилий.

Авиационная часть располагалась в семи милях от Карачи, среди пустыни, лишенной определенного цвета и четких очертаний. Это, равно как тамариск, верблюды и одеяния местных жителей напомнило Лоуренсу Аравию, сорвав пелену, милостиво наброшенную на прошлое утомленной памятью. «Я даже начал задумываться, было ли решение приехать сюда достаточно мудрым».[27] Возможно, что именно страх встречи со своими воспоминаниями ни разу не позволил Лоуренсу выйти за пределы части.

Такое существование показалось ему подобным ссылке. «Вы не можете представить, насколько опустошенным, лишенным почвы и увядающим я чувствую себя».[28] Состояние умственной и эмоциональной оглушенности, как остановки всех духовных способностей, сделалось почти постоянным. Если бы оно немного усугубилось, то оказалось бы именно той вожделенной умственной смертью, к которой Лоуренс так стремился, и, может быть, принесло бы наконец упокоение в бесчувственности. Пребывание же на грани являлось еще более болезненным, чем предыдущие борения, ибо то было осознание опустошенности своей жизни и своего «я».

Обязанностей в этом лагере было немного, работа продолжалась только до часа дня, а остальное время военнослужащие использовали по своему усмотрению. Лоуренс чаще всего читал, что было возможно благодаря его знакомым, которые за время его пребывания в Карачи прислали ему двести пятьдесят книг. Неизменными спутниками для него оставались стихотворения У. Блэйка, «Смерть Артура» Мэлори, «Улисс» Джойса, «Путь пилигрима» Баньяна и Библия. Неприятностью было тусклое освещение, но Лоуренс нашел выход: он провел к своей лампе ток от центральной сети. Его примеру последовали и другие. Вскоре «читальный зал» привлек внимание начальства, и лампы погасли – кроме одной. Инспектирующий офицер собирался было лишить света и Лоуренса, но должен был отступить, обнаружив, что провода от лампы ведут к большой батарее под кроватью у того. В действительности это был муляж, и электричество продолжало

поступать от той же самой сети.

В казарме был неплохой граммофон, и Лоуренс слушал Вагнера, Бетховена, Моцарта. С лета 1927 года он начал писать анонимные рецензии для литературных журналов: это позволяло ему получать бесплатные экземпляры рецензируемых книг.

Осенью 1927 года он узнал из письма Ш. Шоу, что в Англию снова приезжал Фейсал. Шарлотта встретилась с ним, и тот выразил желание вновь работать с Лоуренсом, который теперь мог бы стать его советником. Лоуренс поначалу обрадовался – как самому предложению, так и заботе Фейсала о его судьбе. Но, когда первое оживление прошло, он понял, что не может согласиться. Всю ночь он пролежал без сна, ведя мысленную беседу с Фейсалом – на арабском, из которого многое уже забыл. «Я произвел на него заметное впечатление и полностью убедил себя»,[29] – убедил в том, что, будучи советником Фейсала на войне, он был его силой, но, став им теперь, оказался бы его кукловодом, поскольку власть того над Ираком ограничивалась британским мандатом.

Обсуждение с Шарлоттой этого вопроса дало Лоуренсу повод выразить свое неугасающее восхищение Фейсалом: «Он один из лучших людей, которых я знал. ... Очень приятный, очень добрый, очень внимательный, невероятно щедрый к друзьям и мягкий к врагам, чистый, честный, понимающий, полный дикого причудливого юмора (хотя, предполагаю, теперь это несколько скрыто за царственностью). Он был королем шесть лет, что является большим опытом. Мне хотелось бы, чтобы Вы знали его таким, каким знал я, когда он был действительно Фейсалом. Он один из самых привлекательных человеческих существ, которых я встречал. ... Вы и без моих слов знаете, как он мне нравился».[30] Отвлекшись на пару строк об Ираке, он снова вернулся к Фейсалу, чтобы отметить: «Была ли у кого-нибудь более грациозная походка?» – словно тот, одновременно величавый и простой, только что прошел перед ним.

В ноябре Лоуренсу сообщили о смерти Хогарта, кото-

рый был его мудрым наставником и последней связью с довоенным прошлым. Не успел он оправиться, как в январе пришло известие об уходе Томаса Харди. На этот раз он испытал не потрясение, но чувство некоего триумфа – от исполнения писателем своей творческой меры. Это впечатление он выразил в письме к вдове Харди. Она отвечала: «Вы говорите, что известие поразило Вас как триумф... Когда я увидела его после того, как гроб был выставлен, я была очарована. Его лицо было озарено выражением триумфа. Никогда ни на чьем лице я не видела подобного выражения и не поверила бы, что это возможно».[31] Так Лоуренс чувствовал глубину личности и так умел найти верные слова тогда, когда все слова, казалось бы, бесполезны. «Он был предан Вам, – продолжала миссис Харди. – И я думаю, что он мог бы жить, если бы Вы были здесь. Вы кажетесь более близким ему, чем кто бы то ни было, более родственным».

В январе 1928 года Лоуренс неожиданно получил предложение перевести «Одиссею» Гомера. Оно было передано одним из знакомых от американского художника-оформителя Брюса Роджерса. Лоуренс растерялся. «У меня нет уверенности в себе»,[32] – признался он в том надломе, что вызвало в нем аравийское поражение. Однако, по размышлении, он согласился и весной приступил к новому, столь трудоемкому занятию, что продолжалось с перерывами из-за усталости и сомнений до 1932 года. Как и остальные свои работы, он низко оценивал этот перевод, хотя по иной причине: «Переводы не являются книгами, поскольку в них нет ни одного неизбежного слова: все целое – только приблизительность, вчувствование в то, что хотел сказать автор. И поскольку Гомер не был похож на меня, в эту версию вкрадываются ошибки всякий раз, как я добавляю туда себя».[33] «Одиссея» вышла в Англии тиражом в пятьсот тридцать экземпляром и неограниченным – в США. Средства, полученные от английского издания, Лоуренс использовал для обустройства своего дома – на водопровод, ванну и книжные полки.

Немалую часть свободного времени Лоуренса занимала переписка. Если верить его собственным подсчетам,* он получал в неделю в среднем двадцать писем, а всего у него было триста-четыреста постоянных адресатов. Корреспонденция его даже раздражала. Для человека, страдавшего от одиночества, такое отношение кажется странным, однако оно легко объяснимо. К Лоуренсу писали в основном любопытствующие, тогда как он нуждался в равном, и, таком образом, письма только усугубляли его подавленность.

В последних числах мая 1928 года Лоуренс был переведен в Мираншах, находившийся в Вазиристане на расстоянии десяти миль от афганской границы. Расположение ВВС представляло собой хорошо укрепленный форт, высившийся на равнине, которую вдали ограничивали резкие линии гор, словно проводя черту между внешней жизнью и этим уединенным местом. «У меня такое ощущение, будто я скользнул за край мира и приземлился несколькими футами ниже на уступе дальней стороны».[34] Спокойствие (и, вполне возможно, чье-нибудь приятное общество) утешило Лоуренса. Хотя он попрежнему не ощущал ни малейшего побуждения к какому бы то ни было действию, словно пережитые поражения раз и навсегда перекрыли жизненные токи, он, по крайней мере, обрел свободу от внешних источников беспокойства.

Его обязанностью стала работа в конторе, и, так же, как в Карачи, немало времени оставалось для собственных занятий – чтения, прослушивания музыки, переписки. Он был не против, чтобы это размеренное, простое существование продолжалось до самой отставки, после которой он поселился бы в своем тихом Клаудз Хилл, если бы ему был обеспечен фунт стерлингов в день, а если пришлось бы работать, то устроился бы ночным сторожем в одном из лондонских банков или контор. Время начал и высоких

* Он приводит их в письме к матери, словно пытаясь таким образом оправдать свои длительные молчания.

целей миновало: в свои всего сорок лет он чувствовал себя стариком. Жизнь исчерпала его.

Между тем, в соседнем Афганистане вспыхнуло восстание против короля Аманулаха. Само собой разумеется, что для Лоуренса это оказалось посторонним событием: «Афганское дело за границей и за высокими холмами».[35] Тем не менее, оно напрямую отразилось на его судьбе: сведения о его пребывании в Индии просочились в американские газеты и вызвали слухи в советской печати, что он ведет в Афганистане секретную работу как агент британского империализма, чтобы осуществить крупный заговор против Советского Союза. Эти домыслы грозили напряжением отношений между Индией и Афганистаном, и британский посол в Кабуле сэр Фрэнсис Хемфи обратился к своему правительству с просьбой отозвать Лоуренса из Индии. Тренчард готовился предложить ему место в Адене или Сомали, но прежде спросил о его собственном мнении. Тот выбрал возвращение в Англию и 12 января 1929 года ступил на борт лайнера «Раджпутана».

V

В феврале Лоуренс прибыл в Плимут. Там его поджидала пресса, и потребовалась помощь от BBC, чтобы он мог добраться до Лондона. Его возвращение совпало с выступлениями против него сторонников Советского Союза. Члены лейбористской партии сделали несколько запросов в парламент о возможных действиях Лоуренса в Афганистане, а коммунисты в Тауэр Хилл демонстративно сожгли его изображение. Все это угрожало его пребыванию в авиации, и он посетил парламент, где переговорил с некоторыми из лейбористов. Ему удалось убедить их в своей безвредности, но, как бы то ни было, почва под ногами снова зашаталась. «Брожу по Лондону, опустив глаза, как человек, потерявший шестипенсовик и не могущий вспомнить, на какой улице...»[36] В один из этих дней неопределенности он встретился с Тренчардом, и тот по-

интересовался, куда он желал бы отправиться, предложив Шотландию как удаленное от столичного шума место. Лоуренс не согласился, и был назначен на станцию морской авиации в Кэттуотере, близ Плимут-Саунда, куда и прибыл 8 марта 1929 года. Часть располагалась на выдающемся в море скалистом полуострове, напомнившем ему окаменелую ящерицу, и состояла из шести казарм с сотней военнослужащих. Командиром был Сидней Смит, знакомый Лоуренсу по Каирской конференции и ставший для него за время его службы здесь хорошим товарищем, равно как и его жена Клара.

В Кэттуотере Лоуренс стал работать как механик, сполна проявив свои способности к технике. Катера увлекли его: не из-за какой-либо присущей ему склонности, но от того, что были возможностью сделать хоть что-нибудь хорошо. Не осуществившись сполна в великом, он обретал некоторое утешение, сознавая, что может состояться в малом.

По выходным Лоуренс совершал поездки на мотоцикле, навещая Форстера в Кембридже, миссис Харди близ Бовингтона и знакомых в Лондоне, в том числе – леди Астор,* с которой он поддерживал оживленно-светское общение. Но несравнимо более важным был для него последний близкий человек – Чемберс. Связь с ним прервалась за время пребывания Лоуренса в Индии, и, вернувшись, он приступил к его розыскам. Итоги оказались неутешительными: никто не знал, где тот. Одни говорили, что он дезертировал, другие, что отметился на бирже труда, а третьи, что умер. Наконец, в апреле того же, 1929, года Лоуренс отыскал его работающим на почте. Написанное тогда же письмо к нему выделяется среди его сдержанно-бодрой корреспонденции искренностью и внутренней теплотой. В нем, вопреки своему обыкновению, он дважды, после обращения в начале, называет своего заочного собеседника по имени – словно окликает

* Леди Астор (1879-1964) – член юнионистской партии, занимавшая место в парламенте с 1919 по 1945 гг.

через пространство, стремясь к нему. Завершается послание тихой жалобой – будто к защитнику: «Джок, я очень устал от того, что меня разглядывают, обсуждают, восхваляют. Что можно сделать, чтобы оказаться забытым? После того, как я умру, в моих костях будут копаться – из любопытства».[37] Чемберс действительно был его защитником – от всех клеветников и, когда Лоуренс ушел, продолжал оберегать его память. «Он был моим единственным настоящим другом – единственным, который у меня когда-либо был», – говорил он после его смерти.

К лету возгласы прессы поутихли, и у Лоренса возникло впечатление, что ее натиск позади. «Газеты почувствовали неудобство, оказавшись в дураках из-за меня и Афганистана, и не изобретут с готовностью новый слух».[38] Но он ошибся. 30 декабря было опубликована очередная выдумка. «Сижу себе в лагере, занятый одной ужасной возней [«Одиссеей»], и вдруг читаю, что поднимаю восстание в Персии».[39] Это вызвало у него новые опасения за свое будущее, и он обратился за помощью к пресс-атташе Военного министерства, Ч.П. Робертсону. Тот способствовал умерению ажиотажа вокруг его личности, и на этот раз слухи ничему не повредили.

Той осенью умер Гилберт Клейтон, под началом которого Лоуренс служил в Каирском штабе. Лоуренс счел своим долгом позаботиться о материальном благополучии его вдовы и устроил это через соответствующие учреждения. Подобным образом он проявлял участие в судьбе родственников своих покойных сослуживцев. Не оставался он равнодушен и к чужим заслугам. Так, в марте 1931 года он написал к секретарю Дж.Г. Томаса, госсекретаря по делам колоний, сообщив, что британский агент в Маскате, Бертрам Томас, сумел пересечь на верблюде аравийскую пустыню Руб эль Хали. Эта территория, название которой означает «Четверть пустоты», – самое жаркое место на земле (средняя температура летом равняется 50°С), и туда никогда прежде не ступала нога человека, даже арабов. Лоуренс попросил отметить заслуги путешественника, что и было сделано, хотя того представили не к тем наградам, которые он называл. Позднее в том же году

он составил предисловие к книге Томаса “Arabia Felix,” таким образом снова обратившись мыслями к Аравии, которую так желал забыть. Добрыми воспоминаниями из аравийских лет остались только его друзья-арабы. Как и он для них: в начале марта 1930 года он получил от адмирала Снэгга приглашение на ужин, устраиваемый в Лондоне в честь Джаафара-паши, в то время иракского представителя в британской столице. Вместе с этим ему были присланы два письма. Как он смог разобрать, одно было от Ауды, а другое – «от бедного маленького шерифа Назира ибн Ради».[40] Последнее стало опровержением дошедшего до Лоуренса слуха о том, что Назир умер. Больше этого узнать он не мог, поскольку уже забыл арабский язык. Поэтому, отвечая Снэггу, просил, чтобы Джаафар рассказал, о чем говорится в этих посланиях. От приглашения же он отказался, сославшись на занятость, но, по всей вероятности, причиной было нежелание встречаться с прошлым, как это произошло в 1925 году, когда приезжал Фейсал.

С начала своей службы в Плимуте Лоуренс старался убедить Министерство авиации в необходимости создать новые модели катеров для обслуживания гидросамолетов и, в случае необходимости, оказания им помощи. Он усилил свою настойчивость после того, как в феврале 1931 года один из гидросамолетов разбился на его глазах. В конце концов, его предложение приняли, и была изготовлена пробная партия катеров. Их внутреннее оборудование было разработано при участии Лоуренса и отличалось простотой, удобством и доступностью. На них имелась застекленная каюта для медперсонала, экипаж состоял из двух человек, а скорость равнялась тридцати пяти милям в час, то есть была вдвое больше, чем у прежних типов. Их испытание было поручено Лоуренсу, из-за чего он перебрался в Саутгемптон, откуда стал совершать довольно длительные плавания к восточному побережью и в Шотландию, доставляя принятые к эксплуатации катера на станции гидросамолетов. Он мог быть в какой-то мере доволен: его служба приносила пользу, а быть полезным –

это являлось его потребностью.

Тем временем, когда он увлеченно отдавался новому делу, мир не мог забыть про старое: в 1933 году появилась его биография «T. E. Lawrence: in Arabia and After», «Лоуренс в Аравии и после», написанная Генри Бэзилом Лиддел Гартом, военным историком и мыслителем. Она была издана годом позднее и стала второй: первая принадлежала перу его хорошего знакомого, поэта и писателя Роберта Грэйвса, и вышла в 1927 году под названием «Lawrence and the Arabs», «Лоуренс и арабы». Существовала еще одна книга о нем, авторства американского журналиста Лоуэлла Томаса, появившаяся вскоре после войны, но это собрание измышлений не заслуживает того, чтобы называться биографией. С Лиддел Гартом Лоуренс познакомился в 1927 году, когда ему было предложено написать для очередного издания «Encyclopaedia Britannica» статью о партизанской войне. Лоуренс отказался, но позднее попросил Лиддел Гарта, военного редактора Энциклопедии, выполнить эту задачу за него, что тот с готовностью и сделал, воспользовавшись его работами. Новая биография мало понравилась Лоуренсу. «Тяжелая и не содержащая никакой критики»,[41] – так оценил он ее. Причина недовольства заключалась не столько в самой работе, сколько в очередном проявлении стороннего интереса к своей жизни. «Ненавижу это, – писал он о создании своих биографий. – Эти люди все преувеличивают и делают из меня скорее гору, чем человека».[42] В фокусе и Лиддел Гарта, и Грэйвса был только аравийский период жизни Лоуренса, и они представляли его как гения партизанской войны (кем он, по существу, и был), тогда как он сам до конца считал себя предателем чужих надежд, и лишнее напоминание о восстании оказывалось для него подобным визгу ножа по стеклу.

Его известность питала и корыстные побуждения. Так, в 1934 году в Лондоне объявился самозванец, выдававший себя за Лоуренса, – некий Роджерс, эмигрировавший в 1924 году в Канаду и вернувшийся оттуда без денег. Благодаря знанию механики и положения на Востоке ему удалось ввести в заблуждение нескольких деловых людей, и

они оказали ему финансовую помощь. Об этих действиях узнал Лиддел Гарт и сообщил Лоуренсу. Тот воспринял произошедшее весьма спокойно, заметив: «Если бы этот бедняга действительно мог принять мое имя и все то, что оно означает!»[43] Позднее, по настоянию одного из знакомых, он встретился с «актером», и тот подписал обязательство не использовать впредь имя Лоуренса. «Что же касается того, извещать ли отца Роджерса... Я узнал, что тот не слишком его жалует, и было бы мало хорошего, если бы Роджерс оказался выгнан из дома. Мог бы отец присматривать за ним, после тактично сделанного предупреждения, не прибегая к крайностям? Я чувствую, что, беспокоя Роджерса-отца, мы увеличиваем круг несчастья».[44] Даже обманщику Лоуренс боялся повредить и даже такого человека жалел: «Бедный червячок... В какой дыре он находится теперь. Я хотел бы, чтобы он этого не делал».[45]

В начале июня 1933 года в Англию с официальным визитом приехал Фейсал. Лоуренс встретился с ним, после восьмилетней разлуки. Время изменило их: Фейсал выглядел еще более утомленным – он тяжело болел, а Лоуренс давно уже не был прежним пылким мальчиком.. На радио собирались выпустить посвященную этому приезду передачу. Лоуренсу было предложено принять в ней участие, но он наотрез отказался. По всей вероятности, она так и не вышла в эфир. Вышла другая, 8 сентября того же года – некролог, произнесенный Элленби в память Фейсала: он умер в тот день в Берне. Июньская встреча оказалась последней.

Лоуренс находил утешение в службе. *Впечатление* осуществленности в этом деле (а также, несомненно, «сеансы» у Брюса и общение с верным Чемберсом) оживило его так, что вернулось присущее ему творческое побуждение. В ночь на 9 декабря 1933 года, когда ему не спалось, он внезапно осознал, что́ должен сделать из своего авиационного опыта, накопленного, как смутная сила: написать книгу об авиации – «о вступлении в неизведанный элемент». «Чеканка», как он знал с самого начала, была

только подготовкой, новая же работа должна была включить пребывание в Карачи и Мираншахе и выявить значение скорости на земле, воде и в воздухе, став своего рода «кредо» поколения, перед которым открывались новые возможности. «Исповедание веры» – столь громкое название выбрал он для будущего труда и надеялся, что в следующем году сможет «накопить ощущения» для него.

Однако за громкими словами и привязанностью к службе скрывалось совсем иное: «Я теперь постоянно чувствую усталость и месяц за месяцем растрачиваю себя в достижении целей, которые, знаю, ничтожны, но должны преследоваться – за неимением лучшего»,[46] – признался Лоуренс в 1934 году. «Тщетная занятость тем, что не имеет значения»[47] – так определил он свою службу. Он дорожил пребыванием в рядах только из-за приятного чувства принадлежности, помогавшего в одиночестве, и утешительной иллюзии своего дела. Поэтому он так боялся отставки, которая представлялась ему как «конец жизни». «Если было бы что-нибудь, что я хотел бы делать или думал, что это достойно того, чтобы делать, видеть, пытаться, даже предотвращать… Но я встречаю только пустоту».[48] Ему была необходима осмысленная работа: праздность воспринималась как несуществование.

Страху праздности сопутствовал страх старения. Это последнее чувство заметно утишили два довольно забавных случая. В декабре 1933 года Лоуренс получил полное обожания письмо от американского балетного танцовщика и писателя Линкольна Кирштейна (1907–1996). «Человек действия, который выполнил то, что выбрал, во всю меру возможного», – так невероятно охарактеризовал тот Лоуренса. Подобные слова от кого-нибудь другого вызвали бы у Лоуренса только досаду. Не то было теперь: Кирштейн обладал такой же сексуальной ориентацией, был талантлив и молод… В ответном письме Лоуренс, опровергая возвышенные представления о себе, настойчиво приглашал его приехать и посмотреть на него, чтобы убедиться в его обычности. Тот не приехал, и в мае приглашение было повторено: «Встреча будет Вам полезна». Однако, по всей вероятности, она так и не состоялась. В

1934 году Лоуренсу признался в любви один знакомый кархемишских дней – Эрнест Алтунян (1889 – 1962), врач и поэт из Халеба. Лоуренс впервые встретился с ним в Халебе в 1911 году и, по всей видимости, не произвел определенного впечатления. В 1915 году Алтунян женился и к тому времени, когда воспылал восхищенной страстью к Лоуренсу, стал отцом пятерых детей. Лоуренс, благосклонно-критичный к нему как к поэту и доброжелательный как к человеку, его любовь отверг, продолжая, тем не менее, переписываться с ним. Ему нравилась искренность и честность своего заочного собеседника, а тот считал Лоуренса единственным, кто его понимает. После смерти Лоуренса, в дальнейшие шесть месяцев, Алтунян написал в его память поэтический цикл «Ornament of Honour», что был издан в 1937 году.

26 февраля 1935 года служба Лоуренса закончилась. Единственным прибежищем оставался Клаудз Хилл, и он отправился туда на велосипеде, ощущая себя одиноким и утратившим защиту – как улитка, с которой стянули раковинку. Подъехав, он увидел, что дом осажден корреспондентами, и повернул назад. Три недели он провел в Лондоне, за это время трижды повторив попытку пробраться в свое жилище. Назойливость журналистов досадила ему так, что в один из этих приездов он, повздорив с неким фотографом, поставил ему синяк под глазом (при этом он растянул себе руку) и спасся бегством через забор. Это противостояние дольше продолжаться не могло, и Лоуренс обратился за помощью к Черчиллю, а кроме того написал в союз журналистов. Совместными усилиями преследование было остановлено, и в конце марта он смог, наконец, поселиться в Клаудз Хилл.

Лоуренс чувствовал себя потерянным. «Сижу в своем доме, пытаясь понять, что со мной произошло, происходит и произойдет. ... Думаю, листья должны ощущать то же самое после того, как упадут с деревьев и пока не умрут».[49] Прежнее существование было бессмысленным, как он и сам это понимал в глубине души, но постоянная

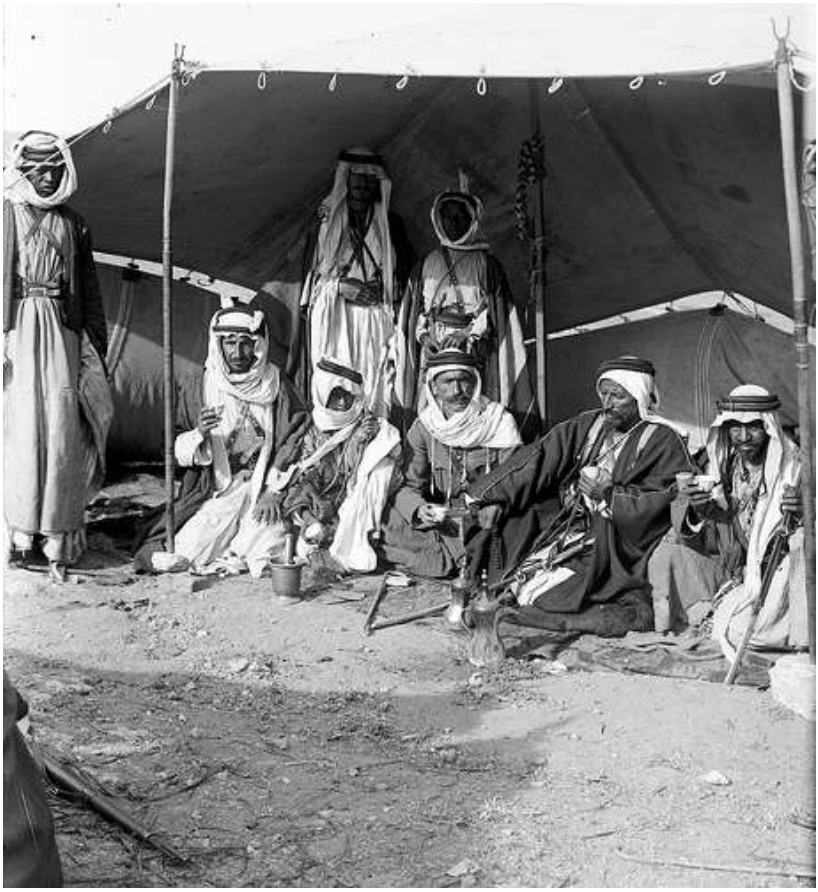
занятость приглушала мысли и чувства. Теперь сознание оставалось постоянно бодрствующим – понимающим тщетность прожитой жизни и не представляющим ничего впереди. «Вы спрашиваете, что я делаю? Я тоже».[50] Нечего было делать и слишком много, – чтобы думать. Новая жизнь оказалась подобна болезненной бессоннице.

13 мая Лоуренс получил письмо от Генри Вильямсона, в котором тот спрашивал о возможности приехать. Лоуренс был рад гостям и отправился на почту в Бовингтон, чтобы выслать ответную телеграмму с назначением встречи. На обратном пути ему неожиданно встретились два велосипедиста, и он, чтобы не столкнуться с ними, резко свернул в сторону. Не справившись с управлением, он вылетел из седла и ударился головой об асфальт. Но даже теперь смерть не спешила: Лоуренс получил серьезные повреждения, но был жив. Его поместили в военный госпиталь Бовингтона, и там он, не приходя в сознание, прожил еще шесть суток. Солнечным утром 19 мая он обрел давно желанный покой.

6 января 2011 г. – 6 августа 2012 г.
Тверь – Владикавказ – Тверь.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

На Акабу. 1917 г.



Второй справа сидит Ауда Абу Тайи.

В центре стоит Ауда.

Али, брат Фейсала

Шериф Хуссейн

Ньюкомб в Аравии

Генерал Элленби

Лоуренс в 1918 г.

Нури Саид. 1914 г., Басра

Лоуренс в 1918 г. Иерусалим

Лоуренс в машине справа. 1918 г., Дамаск

1918 г., Дамаск

Слева-направо: Лоуренс, Д.Дж. Хогарт, А. Доуни.

Лоуренс в 1919 г.

Лоуренс в 1919 г.

Лоуренс в 1919 г.

Лоуренс. 1919 г.

Лоуренс. 1919 г.

Портрет Лоуренса кисти Августа Джона

Лоуренс. Работа Августа Джона, 1919 г.

Фейсал в 1919 г. Париж

Лоуренс в 1919 г.

1921 г., Каир. Лоуренс стоит во втором ряду, четвертый справа.

Лоуренс и Хендерсон. Июнь 1919 г., Фоджа

1921 г., Каир. Лоуренс – второй слева. Второй справа – Абдулла.

Портрет Лоуренса работы Г.С. Тьюка, 1922 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

DG – The Letters of T.E. Lawrence, edited by D. Garnett.
HL – Home Letters of T.E. Lawrence and His Brothers.
MB – Letters of Lawrence of Arabia, edited by M. Brown.
SP – Seven Pillars of Wisdom.

Глава LXVII

[1] ibid., ch.32.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid., ch.33.
[7] ibid.

Глава LXVIII

[1] ibid., ch. 34.

Глава LXX

[1] ibid., ch.36.
[2] к Ч.Э. Вильсону, 16.04.17.
[3] ibid.

Глава LXXI

[1] *SP,* ch. 38.

[2] ibid.

[3] ibid.

Глава LXXIII

[1] ibid., ch. 39.

[2] ibid.

[3] ibid., ch.40.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid.

[7] ibid., ch.41.

[8] ibid.

Глава LXXIV

[1] ibid.

[2] ibid., ch.42.

[3] Из стих. В. Злобина «Не спишь, и так близко, так ясно...»

[4] P. Sabatier, *«Vie de Francois d'Assise»*.

[5] *SP,* ch.42.

Глава LXXV

[1] ibid., ch.37.

[2] ibid.

[3] ibid., ch.3.

[4] ibid.

[5] ibid.

Глава LXXVI

[1] ibid., ch.1.

[2] ibid.

[3] ibid., ch.36.

Глава LXXVII

[1] ibid., ch.46.

[2] ibid., ch.47.

Глава LXXVIII

[1] ibid., ch.48.

[2] ibid.

[3] ibid., Epilogue.

Глава LXXIX

[1] ibid., ch.49.

[2] ibid.

[3] ibid., ch.50.

Глава LXXX

[1] ibid., ch.53.

[2] ibid.

[3] Эрнест Даусон (1867–1900). Я заменила женский род местоимений на мужской, как наверняка делал и Лоуренс при чтении этого стихотворения.

[4] *SP,* ch.54. «Смерть ждет ... чтобы завершить эту историю». По всей видимости, Лоуренс имел в виду смерть не как таковую, но гибель того, ради кого «история» (восстание) совершалась.

Глава LXXXI

[1] ibid.

[2] ibid.

[3] ibid.

Глава LXXXII

[1] ibid., ch.55.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid., ch.56.

Глава LXXXIII

[1] ibid.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

Глава LXXXIV

[1] ibid., ch.58.

[2] ibid., ch.59.
[3] ibid.

Глава LXXXV

[1] ibid.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.

Глава LXXXVII

[1] ibid., ch.61.
[2] ibid.
[3] ibid., ch.62.
[4] ibid.
[5] ibid.

Глава LXXXVIII

[1] ibid., ch.64.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid., ch.65.
[5] ibid., ch.67.
[6] ibid.

Глава XC

[1] ibid., ch.68.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

Глава XCI

[1] ibid., ch.69.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

[6] *SP,* ch.69.

[7] ibid.

Глава XCII

[1] ibid., ch.70.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid., ch.71.

[5] ibid.

[6] ibid., ch.72.

[7] ibid., ch.73.

Глава XCIV

[1] ibid.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid., ch.74.
[8] ibid.

Глава XCV

[1] ibid., ch.75.
[2] ibid.
[3] ibid., ch.76.
[4] ibid.

Глава XCVI

[1] ibid., ch.77.
[2] ibid.
[3] ibid., ch.78.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.

Глава XCVII

[1] ibid., ch.79.
[2] ibid.
[3] ibid.

Глава XCVIII

[1] ibid., ch.80.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] к Ш. Шоу, 23.3.24.

[6] ibid.

[7] ibid.

Глава XCIX

[1] *SP,* ch.81.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid.

[7] ibid.

[8] V. Richards, *Portrait of T.E. Lawrence.*

[9] *SP,* ch.81.

[10] ibid.

[11] ibid.

Глава C

[1] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс».*

[2] *HL,* 14.12.17.

[3] H.O. Lock, *With the British Army in the Holy Land.*

[4] *SP,* ch.81.

[5] ibid.

Глава CI

[1] ibid., ch.82.
[2] ibid., ch.83.
[3] ibid., ch.1.
[4] ibid., ch.83.
[5] ibid., ch.1.
[6] ibid., ch.83.
[7] ibid., ch.1.
[8] ibid.
[9] ibid.
[10] ibid., ch.83.

Глава CII

[1] ibid., ch.84.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

Глава CIII

[1] *SP,* ch.85.
[2] ibid.
[3] ibid., ch.86.
[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid.

[7] ibid.

Глава CIV

[1] ibid., ch.87.

Глава CV

[1] ibid., ch.89.

[2] ibid.

[3] ibid.

Глава CVI

[1] *SP,* ch.90.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

Глава CVII

[1] ibid., ch.92.

[2] *HL,* 8.03.18.

Глава CVIII

[1] *SP*, ch.92.

Глава CIX

[1] ibid., ch.93.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

Глава CX

[1] *SP,* ch.93.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid., ch.92.
[6] ibid.
[7] *MB,* к матери, 18.08.25.
[8] ibid., к Ш. Шоу, 12.05.27.

Глава CXI

[1] *SP,* ch.94.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid., ch.92.
[7] ibid.
[8] ibid., ch.94.
[9] ibid.

[10] ibid.

[11] ibid.

Глава CXII

[1] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

[2] *SP,* ch.95.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid.

[7] ibid.

Глава CXIII

[1] ibid.

[2] ibid., ch.96.

[3] ibid., ch.97.

Глава CXIV

[1] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

[2] *SP,* ch.98.

[3] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

[4] *SP,* ch.98.

[5] ibid.

[6] ibid.

Глава CXV

Все цитаты – из письма Т.Э. к В. Ричардсу, 15/VII-18.

[1] Некоторые любопытствующие, лишенные элементарного чувства слова, восприняли эту метафору буквально.

Глава CXVI

[1] *SP,* ch.99.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid.

[7] к Г. Бэйкеру, 28.10.28.

[8] *SP,* ch.99.

[9] ibid.

[10] ibid.

[11] ibid.

[12] ibid.

[13] ibid.

[14] ch.100.

Глава CXVII

[1] ibid., ch.101.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid., ch.102.

[7] ibid.

Глава CXVIII

[1] ibid., ch.103.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid., ch.96.

[7] ibid., ch.103.

[8] Стихотворение Лоуренса “I gaze at you now...”

[9] *SP,* ch.103.

[10] *MB,* p.219.

[11] *SP,* ch.103.

[12] ibid.

[13] ibid.

Глава CXIX

[1] ibid., ch.104.

[2] ibid., ch.105.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid., ch.106.

[7] ibid.

[8] ibid.

Глава CXX

[1] ibid., ch.107.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid.

Глава CXXI

[1] ibid.

[2] *Dedication*.

[3] Запись на форзаце книги “The Singing Caravan” Р. Ванситтарта, сделанная в мае 1919 г. в самолете по пути в Каир.

[4] *SP,* ch.107.

[5] ibid.

Глава CXXII

[1] *Dedication*.

[2] *SP,* ch.108.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid., ch.109.

[6] ibid.

[7] ibid.

[8] ibid.

[9] ibid.

[10] ibid.

[11] ibid.

[12] ibid.

[13] ibid., ch.110.

[14] ibid.

[15] ibid.

[16] ibid.

Глава CXXIII

[1] ibid., ch.111.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid., ch.112.

[5] ibid.

[6] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

Глава CXXIV

[1] *SP,* ch.113.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] В письме к Ш. Шоу от 17/XI-1927. Лоуренс дает несколько отличное объяснение: «Я читал это в Умтайе, когда экспедиция в Дераа находилась в смятении и жалком состоянии, и это стихотворение хорошо соответствовало моей вере в Элленби, что был вне поля зрения за холмами». К тому дню операции вокруг Дераа уже были завершены – и отнюдь не жалко, как мы видели. И сколь ни велико было восхищение Лоуренса перед Элленби, оно не заставило бы его искать отображения своего чувства в стихах, будучи в изнеможении и находясь под угрозой воздушных налетов. При таких обстоятельствах оставалось только чувство к Дахуму. Я полагаю его объяснение составленным лишь для данного адресата.

[7] *SP,* ch.113.

[8] ibid.

Глава CXXV

[1] *With the British Army in the Holy Land.*

[2] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

[3] *With the British Army in the Holy Land*.

Глава CXXVI

[1] *SP,* ch.113.

[2] ibid.

[3] ibid., ch.114.

[4] ibid.

Глава CXXVII

[1] ibid., ch.115.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid., ch.116.

[5] ibid.

[6] ibid.

[7] ibid.

[8] ibid.

Глава CXXVIII

[1] ibid., ch.117.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

[6] ibid.

Глава CXXIX

[1] ibid.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid., ch.118.
[7] ibid.
[8] ibid.
[9] ibid.

Глава CXXX

[1] ibid.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.

Глава CXXXI

[1] ibid., ch.119.
[2] ibid.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.
[6] ibid.
[7] ibid.

Глава CXXXII

[1] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.

[2] *SP,* ch.120.

[3] ibid.

[4] В издании 1922 года – «Когда я дошел бы».

[5] «Твоего дара» – Дахума. Заглавная буква здесь, как и в других строках, только знак стиля. В оригинале: Of your gift.

Глава CXXXIII

[1] *SP*, ch.1.

[2] ibid., ch.107.

[3] ibid., ch.100.

[4] Мое стихотворение – *О.К.*

Глава CXXXIV

[1] *SP,* ch.121.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

Глава CXXXV

[1] ibid., ch.122.

[2] ibid.

[3] ibid.

[4] ibid.

[5] ibid.

Глава CXXXVI

[1] ibid., ch.1.
[2] ibid.

Глава CXXXVIII

[1] Мое стихотворение – *О.К.*
[2] Дж. Киган, *«Первая Мировая война»*.

Глава CXXXIX

[1] *Anglo-French Declaration.*
[2] Лиддел Гарт, *«Полковник Лоуренс»*.
[3] ibid.
[4] ibid.
[5] ibid.

Глава CXL

[1] ibid.
[2] ibid.
[3] V. Richards, *Portrait of T.E. Lawrence.*
[4] Лиддел Гарт, «Полковник Лоуренс».

Глава CXLI

[1] ibid.
[2] ibid.

[3] ibid.

[4] M. Fitzherbert, *The Man who was Greenmantle, a biography of Aubrey Herbert,* ch.13. Reprinted in *"T.E. Lawrence: Letters to E.T. Leeds."*

Глава CXLVI

[1] к Б. Шоу, 17.08.22.

[2] к Б. Шоу, 27.12.22.

[3] к Р. Грэйвсу, 18.01.23.

[4] к Б. Шоу, 27.12.22.

[5] к А. Доуни, 27.07.24.

[6] 17.08.22.

[7] 24.11.22.

[8] 22.08.22.

Глава CXLIX

[1] *Portrait of T.E. Lawrence.*

[2] ibid.

[3] письмо Т.Э. к матери, 20.03.21.

[4] к матери, 12.04.21.

Глава CL

[1] *Portrait of T.E. Lawrence.*

Послесловие

[1] к леди Астор, 12.07.29.

[2] к Э. Тёртлу, 1.04.29.

[3] к Ш. Шоу, 1.05.29.

[4] *The Mint,* p.33.

[5] ibid., p.28.

[6] ibid., p.29.

[7] ibid., p.106.

[8] к О. Сванну, 1.09.22.

[9] *The Mint,* p.79.

[10] к Э.М. Форстеру, 6.08.28.

[11] к Э. Гарнетту, 1922.

[12] к Ш. Шоу, 31.08.24.

[13] 31.12.22.

[14] к Л. Кёртису, 19.03.23.

[15] 27.03.23.

[16] ibid.

[17] 21.03.23.

[18] 17.09.23.

[19] ibid.

[20] 25.12.23.

[21] 21.03.23.

[22] к Ф.Н. Даблдэю.

[23] Джон Брюс позднее замечал об этом письме: «Вот человек – подвергает себя добровольно испытаниям, почти превосходящим человеческие способности, а между этим пишет письмо на четырех страницах в самой живой манере». *MB,* сноска на стр. 474.

[24] 13.06.25.

[25] к Э. Маршу.

[26] к Ш. Шоу, 28.09.25.

[27] к Ш. Шоу, 28.01.27.

[28] к Ш. Шоу, 29.03.27.

[29] к Ш. Шоу, 18.10.27.

[30] ibid.

[31] 15.03.28. *MB,* p.388.

[32] к Р. Айшэму, 2.01.28.

[33] к Г. Уильямсону, 3.05.30.

[34] к А. Пафу, 9.06.28.

[35] к Ш. Шоу, 31.12.28.-1.01.29.

[36] к Т.Б. Марсону, 22.02.29.

[37] 27.04.29.

[38] к Д. Науэлсу, 5.07.29.

[39] к Ч.П. Робертсону, 30.12.29.

[40] *DG,* капитану Снэггу, 4.03.30.

[41] *HL,* 17.04.34.

[42] ibid., 17.12.33.

[43] к Э. Элиоту, 8.06.34.

[44] к Э. Элиоту, 26.06.34.

[45] ibid.

[46] к Э. Кеннингтону, 6.08.34.

[47] ibid.

[48] к Ллойд Джорджу, 26.09.34.

[49] к Брюсу Роджерсу, 6.05.35.

[50] к Э. Кеннингтону, 6.05.35.

Список использованной литературы

Киган, Джон. *Первая Мировая война*. Москва, «АСТ», 2004.

Лиддел Гарт, Бэзил Генри. *Полковник Лоуренс*. Москва, «Монолит-Евролинц-Традиция», 2002.

Boswell, John. *Christianity, Social Tolerance and Homosexuality*. Chicago-London, The University of Chicago Press.

Green, Leonard. *Dream Comrades and Other Prose Sketches (1916)*. Reprint, 2010.

The Diary Kept by T.E. Lawrence while Travelling in Arabia during 1911. Garnett Publishing, 1995.

Home Letters of T.E. Lawrence and His Brothers. Oxford, Basil Blackwell, 1954.

Letters to E.T. Leeds. Gloustershire, The Whittington Press, 1988.

Lawrence of Arabia: the Selected Letters. Edit. by M. Brown. Little Books Ltd., 2005.

Lawrence, T.E. *Minorities*. London, Jonathan Cape, 1971.

Lawrence, T.E. *The Mint*. New York, Doubleday & Company, 1955.

Lawrence, T.E. *Seven Pillars of Wisdom*. Reprint.

Lawrence, T.E. & L. Woolley. *The Wilderness of Zin*. Reprint.

Lock, H.O. *With the British Army in the Holy Land*. Reprint.

Neil, James. *Palestine Explored*. London, James Nisbet & Co, 1908.

Richards, Vyvyan. *Portrait of T.E. Lawrence*. Scolastic Books Services, 1971.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава LXVII. Завершение пути. – Благо неприятности. – Стратегия Лоуренса 3
Глава LXVIII. В первый набег. – Станция Аба эль-Наам. – Изменение планов. – Минирование. – Подрыв. – Итоги набега ... 8
Глава LXIX. Во второй набег. – Буря в пустыне. – На откосах. – Закладка мины. – Холод. – Ожидание в засаде. – Намаз на рельсах. – Поиск мины. – Произведение разрушений. – Успех 11
Глава LXX. Портрет Абдуллы. – Послание от Фейсала. – В обратный путь. – Мужество арабов в страдании. – Неудачное соревнование 15
Глава LXXI. Ауда абу Тайи. – Случай с зубами. – План взятия Медины и возражения Лоуренса. – Идея Лоуренса занять Акабу 19
Глава LXXII. Картина положения в Палестине и Хиджазе с декабря 1916 до мая 1917 года 23
Глава LXXIII. На Акабу. – Потерянный сад. – Отдых в оазисе. – Арабский язык Лоуренса. – Лоуренс и Назир. – Снова малярия. – Встреча в Вади Джизиль. – Дауд и Фаррадж 26
Глава LXXIV. Встречи в пустыне. – Враждебность и фантазии природы. – Славный подрыв. – Эль Хул. – Противостояние ветру 33
Глава LXXV. Лоуренс и арабы. – Духовный образ бедуинов . 36
Глава LXXVI. Мимо Нефуда. – Неистовство джайанов. – «Щедрость» Бисайты. – Зрительные радости. – «Досадный» подвиг Лоуренса. – Прибытие в Сирхан. – Откровенность жизни в пустыне и электризующее волнение 40
Глава LXXVII. Первая потеря в отряде. – Мечтания сирийцев. – Щедрость ховейтатов. – Холодный ужас Сирхана. – Шалости Дауда и Фарраджа. – Остановка в Нэбке. – План Незиба 45
Глава LXXVIII. Место Лоуренса в восстании и его отношение к этому. – «Исчезновение» Лоуренса в июне 1917 года 51
Глава LXXIX. Веселость. – Счастье далекое и близкое. – Доверие Ауды к Лоуренсу. – В Баире. – Планы продвижения на Акабу. – Вылазка к Минифиру. – Отказ от выгодного нападения. – Забота о пленном турке. – Восстановление колодца в Эль Джефере. – Очередная диверсия. – Неприятные известия 56
Глава LXXX. Первый бой Лоуренса, 2 июля 1917 года: на Аба эль Лиссан. – Перестрелка на жаре. – «Тепловой удар». – В ата-

ку. – Полет Лоуренса. – Стихи посреди битвы. – Причина полета. – Итоги сражения. – Страх Ауды. – На поле мертвецов 62
Глава LXXXI. Гувейра. – Своевременное затмение. – Совещание в раскаленном ущелье. – Переговоры с противником. – Милостивое наказание. – Последние выстрелы. – Акаба! 69
Глава LXXXII. Значение взятия Акабы. – Опустошенность победы. – Удержание Акабы и угроза голода. – Переход Лоуренса через Синайскую пустыню. – Переговоры из Шатта. – Отдохновение 72
Глава LXXXIII. «Черногорский драгун» из мекканской армии. – На платформе в Измаилии. – У Клейтона. – Знакомство с Элленби. – Портрет Элленби 77
Глава LXXXIV. Изменения в положении Лоуренса. – Географическая и социальная картина Сирии 81
Глава LXXXV. Перед вторым актом восстания: Цель. – Тактика. – Возможности. – Условия службы 85
Глава LXXXVI. Идея перевода базы Фейсала в Акабу. – Свидание Лоуренса с Фейсалом и встреча с Хуссейном. – «Измена» ховейтатов 88
Глава LXXXVII. Перевод сил в Акабу. – Угроза Акабе и отвлечение внимания турок. – Идея Лоуренса о набеге на Мудоввару. – Мятежные ховейтаты. – Богослужение Вади Рума. – Еще одни беспокойные ховейтаты. – Поездка Лоуренса из Вади Рума в Акабу и обратно. – Лоуренс в райском уголке. – Неуслышанный пророк 91
Глава LXXXVIII. Сверхдолжные обязанности Лоуренса. – Испытание водой. – Неприступная Мудоввара. – Закладка мины. – «Зловещее выжидание». – Подрыв поезда. – Упоение грабежа. – Растерянные пассажиры. – Поиски потерявшегося. – Величие Вади Рума в иных тонах. – Слава 98
Глава LXXXIX. «Смерть при жизни». – Хаос человеческий 106
Глава XC. В новый набег. – Неумолчное чувство вины. – Утешение болью. – Ожидание в засаде. – Подрыв поезда. – Действенный «луренс». – Итоги диверсий на железной дороге 108
Глава XCI. Перемены в командовании и укрепление британской армии. – Силы турок. – Газа-Беэршева: новый подход. – Майнерцхаген и его план. – Роль арабов. – Выбор Лоуренса 112
Глава XCII. План Лоуренса о диверсии в долине Ярмука. – Необходимый Али ибн эль Хуссейн. – Низкий потомок великого вождя. – Исключительная изобретательность Дауда и Фаррад-

жа. – Выступление из Акабы. – Умиротворенность высот. – Блуждание во мраке. – Встреча Али во всеоружии. – Эхо боев у Газы. – Прощание с Аудой и продолжение пути 116
Глава XCIII. Наступление англичан по линии Газа-Беэршева: Атака на Беэршеву. – Начало атаки на Газу. – Инициатива Ньюкомба. – Взятие Газы. – Дальнейшее отступление неприятеля 123
Глава XCIV. Осенний покой. – Радушная атака. – Давняя любовь Али. – «Умственная гимнастика» Лоуренса. – «Черти из вихря». – Присоединение серахинов и воодушевляющая речь Лоуренса и Али для них 125
Глава XCV. Волнующий Азрак. – Очарованный Лоуренс. – Измена. – Выступление к Тель эль Шехабу. – Вновь по дороге паломников. – В ущелье. – Внезапная тревога. – Бегство. – Досада 130
Глава XCVI. Ободряющее предложение Али. – Снова в Минифире. – Еще одна неудача. – Ожидание под дождем. – Опять неудача. – Заступничество Али за Лоуренса. – Томительное ожидание продолжается. – Спасение пониманием. – Подрыв поезда. – Самоотверженность Али ради Лоуренса. – Разрушения. – Смелость Турки и терпение Лоуренса. – Триумф 137
Глава XCVII. Благоустройство форта. – Посетители. – Образ Али. – Вой в ночи. – В глубине грез. – Идея Лоуренса. – Талал эль Харейдин 142
Глава XCVIII. Мученичество 147
Глава XCIX. Ад во славу Бытия. – Обострение чувства вины. – Пределы. – Прощание с Али. – В Акабу. – Соревнование с собой. – Несостоявшиеся разбойники. – Закатная алость. – Отчуждение души. – Конец пути 157
Глава C. Досадные награды. – Град раздора. – Вступление Элленби в Иерусалим. – «Величайший момент» 164
Глава CI. Пристыженный Пико. – Планы действий британской и арабской армий на начало 1918 года. – Письмо к Лидсу. – «Головорезы» Лоуренса. – «Листья на ветру» и сила мотива .167
Глава CII. Испытание бронемашин. – Победа Назира при Джурфе. – Смертоносный холод. – Взятие Шобека. – Падение Тафиле. – Прибытие Зейда в Тафиле 171
Глава CIII. Сражение-буфф при Тафиле, 25 января 1918 года: возвращение турок. – Подготовка к обороне. – Негодование Лоуренса и его намерение. – К месту боя. – «Устрашение» аджейлей. – На позиции и отход. – Оборона резервной линии. – Охват вражеских позиций и атака. – Бесславие. – Рапорт-на-

смешка 174
Глава CIV. Победа кавалерии над флотом. – Нарушение плана. – Заточение в Тафиле. – Сквозь непогоду до Гувейры 180
Глава CV. В обратный путь – Борьба с эдомитской зимой. – В ледяной яме. – По призрачным улицам Шобека. – Отдых в замке. – Кровавая тропинка. – Неудивительное чудо 184
Глава CVI. Разведка у долины Иордана. – Недоразумение с Зейдом. – Сокрушение. – Отъезд в Беэршеву. – «Надлом» воли 188
Глава CVII. Намерения военного министерства и Элленби. – Предложение Лоуренса. – Окончательный план. – Возвращение Лоуренса к действию 193
Глава CVIII. Смерть в своей длительности 196
Глава CIX. Разногласия в армии. – Подавленность Лоуренса. – Сохраненная жизнь. – Волны памяти. – Поражение англичан у Аммана. – Разведка Лоуренса в Аммане 198
Глава CX. Бой у Фарайфры. – Счастье умереть. – Преклонение перед любовью 202
Глава CXI. Действия в районе Маана: успехи Джаафара, Мавлюда и Нури Саида. – Явление с иконы. – Веселое сражение при Тель Шахме. – Появление Юнга 206
Глава CXII. Недоразумения в британских действиях. – Немецкий прорыв 21 марта. – Вторая неудача англичан в Трансиордании. – «Средства для победы». – Оживление в действиях арабов. – Цели на лето 211
Глава CXIII. Успехи Назира у Хезы. – Лоуренс в расположении Назира. – Идея Лоуренса о переводе войск из Хиджаза. – Новые возможности для британского наступления. – Упрямство Хуссейна 217
Глава CXIV. План решающего наступления. – Неожиданная угроза для арабов и схема отвлекающего маневра. – План Лоуренса для атаки на Дераа и спор с Юнгом 220
Глава CXV. Умонастроение Лоуренса: Подвластность Идее. – «На чужой сцене». – Ощущение нереальности. – Озаренное окно 225
Глава CXVI. Задачи на август. – С англичанами в Вади Рум. – Тоска по дому. – Блаженство не быть и освобождение случаем. – Двойное пламя: речь перед руалла. – Набор сторонников. – Самообвинение 228
Глава CXVII. Успех Бакстона. – Предупреждение Элленби. – Попытка спасти свой народ: тайные переговоры Фейсала. – Разведка дороги до Азрака. – Новая встреча Лоуренса с Азраком

..... 234
Глава CXVIII. Мысли в день рождения: Одиночество и творческое неосуществление 239
Глава CXIX. С Бакстоном из Баира до Азрака и обратно. – Кризис в арабском командовании 244
Глава CXX. Дорога до Азрака. – Блаженство. – Планы: ложная атака на Амман и действительная угроза Дераа. – Сосредоточение сил в Азраке 249
Глава CXXI. Начало агонии 253
Глава CXXII. Выступление из Азрака на Умтайе. – Не дар, но памятник. – Перекрытие линии на Амман. – Разрушения у Тель Арара: перекрытие железной дороги в Палестину и Хиджаз. – Помощь летчика Джунора. – Ранение Лоуренса. – Взятие станции Мезериб 257
Глава CXXIII. Второй раз у Тель Шехаба. – Подрыв моста у Низиба 266
Глава CXXIV. Назойливые посетители. – Вылазка к турецкому аэродрому. – «Не говори, что труд ничтожен...» – Беззащитность перед воздушными налетами. – «Светящаяся атака». – Недолгое возвращение Лоуренса в Азрак 270
Глава CXXV. Разгром 7-й и 8-й турецких армий: Расположение турецких сил. – План англичан и мистификация их действий. – Атака через «прибрежный коридор» и отступление противника. – Шансы на отход последней, 4-й, армии 275
Глава CXXVI. Лоуренс в штабквартире. – Дальнейшие намерения Элленби. – Беззаконность удобства. – Воздушное подкрепление для арабов. – Завтрак между налетов. – «Самый большой самолет». – Очередное разрушение на железной дороге 278
Глава CXXVII. Разведка у Мафрака. – Бегство 4-й армии. – Решение Лоуренса перейти в Шейх Саад. – Столкновение с одним из остатков 4-й армии. – Новое противостояние Лоуренса и Юнга. – Последнее разрушение железной дороги. – О внутренних разногласиях в арабской армии. – Остановка арабской армии в Шейх Сааде и увеличение сил. – Приближение к арабам двух турецких колонн 282
Глава CXXVIII. Тафас, 27 сентября 1918 года 289
Глава CXXIX. Во взятом Дераа: стремление Лоуренса сохранить его во власти арабов. – Регулярное подобострастие и иррегулярная свобода. – Все позади. – К Дамаску 294
Глава CXXX. Разгром 4-й армии. – Один в толпе 298

Глава CXXXI. Освобожденный Дамаск. – Жемчужина победы. – Облако пыли в конце пути. – Лоуренс в индийском плену. – Вступление Лоуренса в Дамаск. – Политическая неожиданность. – Гнев Ауды. – Волны ликования. – Прибытие Шовеля 301
Глава CXXXII. Низложение самозванцев. – Налаживание жизнедеятельности Дамаска. – Блеск фасада и осквернённая тень 305
Глава CXXXIII. Одни начала хороши 308
Глава CXXXIV. Попытка переворота. – «Триумф смерти» 310
Глава CXXXV. Очистительное унижение. – В тени Элленби. – Прибытие Фейсала в Дамаск 313
Глава CXXXVI. Отъезд. – Утраченное. – Между Западом и Востоком. – Без осуществления 316
Глава CXXXVII. Конец войны на Востоке. – Значение арабов в войне и достижения Лоуренса 318
Глава CXXXVIII. Конец Великой войны. Послесмертье 320

ЧАСТЬ V
1918 – 1922
Глава CXXXIX. Начало борьбы Англии и Франции за арабские территории: «Англо-французская декларация». – Основания притязаний Франции и Англии. – Вопрос к Лоуренсу. – Телеграмма Пико из Бейрута 323
Глава CXL. Прибытие Фейсала во Францию. – Директива Бремону относительно Лоуренса и Фейсала. – Сокрытый свет. – Трудность допуска Фейсала к участию в мирной конференции. – Единственный союзник Лоуренса среди европейских делегатов. – Сирийский вопрос. – Переговоры Фейсала и Клемансо. – Роковой шаг Хуссейна. – Возвращение Фейсала в Сирию 326
Глава CXLI. Курьезы времен конференции 330
Глава CXLII. Начало работы над «Семью столпами мудрости». – Катастрофа под Римом 332
Глава CXLIII. Работа над первым вариантом «Семи столпов мудрости» 335
Глава CXLIV. «Фотография из Кархемиша» 336
Глава CXLV. Второй приезд Фейсала в Англию. – Провозглашение Фейсала королем Сирии. – Англия и Франция получают желаемые мандаты. – Свержение Фейсала 338

Глава CXLVI. «Семь столпов мудрости»: второй вариант. – Слабость слова. – История написания и издания. – Неуверенность Лоуренса и вред чужих советов. – Отношение Лоуренса к своей книге и отзывы читателей. – Ценность произведения . 340
Глава CXLVII. Образ Лоуренса в живописи и в жизни. Работы Августа Джона 345
Глава CXLVIII. Г.С.Тьюк и написанный им портрет Лоуренса 348
Глава CXLIX. Лоуренс получает пост советника в управлении по делам Среднего Востока. – Каирская конференция и свобода под мандатом. – Миссия Лоуренса в Хиджаз 350
Глава CL. Уход Лоуренса в армию: стремление и мотивация 354

Послесловие жизни 358
Иллюстрации 389
Примечания 413
Список использованной литературы 436

Cover: a statue of Jesus Christ near the Cathedral Basilica of St. Francis Xavier in Grodno (Belarus)

Text, design, and layout copyright © 2018 by Olga Kawecka

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the author.